

Нобелевская премия по литературе 2013 года

Элис Манро

Друг моей юности

Впервые на русском

PREMIUM

Друг моей юности (сборник)

Элис Манро

Аннотация
Элис Манро. Друг моей юности
Друг моей юности
Пять углов
Менстанг
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
Держи меня, не отпускай
Апельсины и яблоки
Фотографии льда
Добром и милосердием
О, что за дивная краса
  I. Дохлый Глаз
  II. Донный лед
  III. Роз Матильда
Иначе
Пора париков

Аннотация

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она «скупыми, но чудодейственными штрихами намечает контуры судеб или сложные взаимоотношения… это детально прописанные портреты – с легкими тенями и глубокой перспективой…» (The Washington Post Book World).

«В „Друге моей юности“ Манро сполна проявляет этот редкий талант, – писала газета The New York Times Book Review. – Подобно Рэймонду Карверу, она выписывает своих героев так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в персонажах самих себя».

Элис Манро
Друг моей юности

Alice Munro
FRIEND OF MY YOUTH

Copyright © 1990 by Alice Munro
All rights reserved

Серия «Азбука Premium»

© Т. Боровикова, перевод, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®

* * *

В «Друге моей юности» Манро сполна проявляет этот редкий талант: подобно Рэймонду Карверу, она выписывает своих героев так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в персонажах самих себя.

The New York Times Book Review

Манро – одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия – художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!

Джонатан Франзен

Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.

Элизабет Страут

Самый ярый из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.

Джеффри Евгенидис

Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.

Джулиан Барнс

Настоящий мастер словесной формы.

Салман Рушди

Изумительный писатель.

Джойс Кэрол Оутс

Когда я впервые прочла ее работы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.

Джумпа Лахири

Поразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.

Франсин Проуз

Она – наш Чехов и переживет большинство своих современников.

Синтия Озик

Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы – не только нашего времени, но и всех времен.

The New York Times Book Review

«Виртуозно», «захватывающе», «остро, как алмаз», «поразительно» – все эти эпитеты равно годятся для Элис Манро.

Christian Science Monitor

Как узнать, что находишься во власти искусства, во власти огромного таланта?.. Это искусство говорит само за себя со страниц с рассказами Элис Манро.

The Wall Street Journal

Манро неоспоримый знаток своего дела. Скупыми, но чудодейственными штрихами она намечает контуры судеб или сложные взаимоотношения, но это детально прописанные портреты – с легкими тенями и глубокой перспективой, – а не банальная дидактика. Как все великие писатели, она обостряет чувства. Ее воображение бесстрашно.

The Washington Post Book World

Проза Манро скользит сквозь время с проворным изяществом. Поэзия в ней высвечивает действительно серьезную повествовательность единственно верным образом.

San Francisco Chronicle

Великолепно… поразительно… Когда-то давно Вирджиния Вулф назвала Джордж Элиот одним из немногих писателей «для взрослых». То же самое и с полным правом можно сказать сегодня об Элис Манро. Она по-чеховски явственно ощущает своих персонажей.

The New York Times Book Review

Кажется, что Манро складывает все свои рассказы из нескольких тысяч слов и заставляет вас недоумевать, чем же другие прозаики заполняют оставшиеся лишние страницы.

The Philadelphia Inquirer

Блестяще… на самом острие эмоций… Манро замахивается на великие темы: любовь и смерть, страсть и предательство, ожидание и разочарование – тщательно прописанная, непритязательная проза.

The San Diego Union-Tribune

Аскетические и поучительные рассказы Манро о вожделении и потерях, возможно, даже более загадочны, чем всегда, и все же сквозь туман нет-нет да и замаячит нечто родственное надежде.

The New Yorker

Проза Манро интеллектуальна – она аккумулирует все, что в высшей степени необходимо знать читателю, но никогда не попирает и не принижает сути мистерии, которая и есть источник всякого великого искусства.

Chicago Tribune

Рассказы Манро словно пульсары, несколько поразительных чайных ложек весят тонны… вся сложность и богатство нюансов сконцентрированы на нескольких десятках страниц.

The Plain Dealer

Читать рассказы Манро – все равно что входить в густой лес в разгаре лета, настолько они богаты цепляющими деталями, игрой света и тени, полны шелестом неведомого бытия и плодородными запахами, но тем не менее тропа явно намечена и ведет к дивным местам и удивительным открытиям.

Booklist

В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.

San Francisco Chronicle

У Элис Манро памятливый глаз художника. Она владеет почти совершенным пониманием мира ребенка. И у нее невероятное ви́дение канадского пейзажа.

Saturday Night

В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как и начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.

Известия

Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе незаезженны, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны – и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.

Комсомольская правда

Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.

Российская газета

Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» – это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самыми главными для ее героинь остаются дети и мужчины.

Афиша

В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история – еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?

Ведомости

Превосходное качество прозы.

РБК Стиль

Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.

Psychologies

Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает, скорее, Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.

Газета. ру

Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются, – во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…

ELLE

Памяти моей матери

Друг моей юности

С благодарностью Р. Дж. Т.

Когда-то мне часто снилась мать. Детали сна менялись, но удивлялась я каждый раз по-прежнему. Потом эти сны прекратились — наверно, потому, что заключенная в них надежда была слишком прозрачна, а прощение доставалось слишком легко.

В этих снах мне было столько же лет, сколько и наяву, и жизнь моя текла так же, как на самом деле, но я вдруг обнаруживала, что моя мать все еще жива. (На самом деле она умерла, когда мне было чуть за двадцать, а ей — чуть за пятьдесят.) Иногда я оказывалась в нашей старой кухне, и мать раскатывала тесто или мыла посуду в побитом бежевом тазу с красной каемкой. Иногда я сталкивалась с матерью вне дома, в таких местах, где совершенно не ожидала ее увидеть. Например, в вестибюле элегантного отеля или в очереди в аэропорту. Мать выглядела хорошо — не то чтобы моложава, не то чтобы не тронута парализующей болезнью, мучившей ее лет десять перед смертью, но все же неизмеримо лучше,

чем мне помнилось, и это поражало до глубины души. О, у меня чуточку дрожит рука, говорила она, и лицо с одной стороны немеет, так, слегка. Неудобно, но я приноровилась.

И во сне я вновь обретала утраченное наяву — живую мимику, живой голос матери до того, как мышцы ее горла одеревенели, а черты лица свело в скорбную, безличную маску. Как я могла забыть, — думала я во сне, — ее манеру небрежно шутить, не иронично, а весело; ее легкость, нетерпеливость, уверенность в себе? Я сожалела, что так долго ее не навещала, — не прощения у нее просила, а жалела, что держала в памяти какое-то пугало вместо живой женщины. И самым странным во всем сне, самой большой милостью ко мне был ее ответ, вроде бы ничем не примечательный.

Что ж, говорила она, лучше поздно, чем никогда. Я была уверена, что рано или поздно тебя увижу.

Когда мать была молода — мягкое, озорное лицо, пухленькие ножки в блестящих непрозрачных шелковых чулках (осталась ее фотография с учениками), — она поехала преподавать в сельскую школу, расположенную в долине реки Оттавы. Школу Гривз, как ее называли, поскольку

здание, в котором была ровно одна классная комната, стояло на углу надела, принадлежавшего фермерской семье по фамилии Гривз. Для Канады эта ферма была, пожалуй, из лучших: хорошо осушенная земля, из которой не торчали докембрийские валуны; речка, окаймленная ивами; роща кленов, из которых добывали сахар; амбары из цельных бревен и большой, суровый с виду дом, чьи деревянные стены не знали краски, но были открыты непогоде. В долине Оттавы заветренное дерево не сереет, а чернеет, рассказывала мать. Понятия не имею почему, — должно быть, что-то в воздухе. Она часто говорила о долине Оттавы, своей родине — она и сама там выросла, милях в двадцати от школы Гривз, — так, словно излагала незыблемые законы, подчеркивая то, что отличает долину от всех других мест на земле, и удивляясь этим отличиям. Дома́ там чернеют от времени, сироп из тамошних кленов такой вкусный, что никакой другой с ним не сравнится, и медведи ходят едва ли не под окнами ферм. Разумеется, я, попав наконец в те места, была разочарована. Это даже и не долина, собственно говоря, если под долиной подразумевать ложбинку между холмами; это мешанина плоских полей, низких скальных выступов, густых кустов и мел-

ких озер — беспорядочная, кое-как набросанная местность, в которой нелегко найти гармонию. Ее даже описывать трудно.

Бревенчатые амбары и некрашеные дома часто попадались на бедных фермах, но для семьи Гривз это было дело не бедности, а принципа. Деньги у них водились, но не тратились. Моей матери это рассказали соседи. Гривзы тяжело работали. Они были не то чтобы необразованные, но отстали от века. У них не было ни машины, ни электричества, ни телефона, ни трактора. Кое-кто объяснял это их религиозной принадлежностью — Гривзы были камеронианцы, единственные представители этой конфессии в школьном округе, — но на самом деле их секта, которую они сами именовали реформированной пресвитерианской церковью, не запрещала ни моторов, ни электричества, ни каких-либо других подобных изобретений, лишь карточные игры, танцы, кино, а по воскресеньям вообще любые занятия, кроме религиозных и тех, без которых никак нельзя обойтись.

Моя мать не знала, кто такие камеронианцы и почему они так называются. Какая-то чудна́я религия из Шотландии, говорила она чуть свысока — с высоты своего непринужденного, послушно-

го англиканства. Школьные учителя всегда жили у Гривзов, и мать немного пугало, что ей предстоит поселиться в этом доме, обшитом черными досками, где ее ждут нескончаемо тоскливые воскресенья, керосиновые лампы и примитивные суеверия хозяев. Но к тому времени мать была уже обручена и хотела заработать себе на приданое, а не скакать по стране и развлекаться. Она прикинула, что сможет ездить домой каждое третье воскресенье. (В доме Гривзов по воскресеньям можно было разводить огонь для тепла, но не для того, чтобы на нем готовить; запрещалось даже чайник кипятить. Нельзя было даже писать письмо или прихлопнуть муху. Но оказалось, что на мою мать эти правила не распространяются. «Нет-нет, — смеясь, сказала ей Флора Гривз. — Это не для вас. Вы можете жить как привыкли». И скоро мать так подружилась с Флорой, что даже не ездила домой по воскресеньям, как намеревалась раньше.)

Сестры Флора и Элли Гривз были последние, кто остался от всей семьи. Элли была замужем за человеком по имени Роберт Дил; он жил и работал там же, на ферме, но все по-прежнему называли ее фермой Гривз. По тому, как местные жители говорили о сестрах Гривз и Роберте, моя

мать решила, что это люди средних лет, но оказалось, что Элли, младшей, всего лет тридцать, а Флора на семь-восемь лет старше. Роберт Дил по годам был где-то между ними.

Дом был разделен очень неожиданным образом. Супруги жили не вместе с Флорой. Когда они поженились, Флора отдала им гостиную и столовую, передние спальни, лестницу и зимнюю кухню. Ванную комнату делить не пришлось, поскольку ее в доме не было. Флоре досталась летняя кухня с открытыми балками и голыми кирпичными стенами, старая буфетная, переделанная в узкую столовую и гостиную, и две задние спальни, одну из которых заняла моя мать. Учительниц всегда селили с Флорой, в бедной части дома. Но мою мать это не огорчало. Она тут же поняла, что предпочитает Флору и ее неизменную бодрость тишине передних комнат, царства болезни. На территории Флоры даже позволялись кое-какие развлечения. У нее была доска для крокинола, она и мою мать научила играть.

Дом делили, конечно, в расчете на то, что у Роберта и Элли будут дети и им понадобится место. Но вышло не так. Роберт и Элли были женаты уже больше десяти лет, но так и не обзавелись

потомством. Время от времени Элли беременела, но двое детей родились мертвыми, а остальные беременности кончились выкидышами. Когда мать только приехала, ей показалось, что Элли вроде бы все больше и больше времени проводит в постели. Мать подумала, что, может быть, Элли опять беременна, но об этом никто не упоминал. У этих людей было не принято о таком говорить. По виду Элли — когда она поднималась с постели и ходила по дому — нельзя было ничего понять, так как ее фигура была уже донельзя испорчена: живот растянут, а грудь плоская. Пахло от нее как от лежачего больного, и она все время по-детски капризничала из-за чего попало. Флора ухаживала за сестрой и делала всю работу по дому. Она стирала, прибирала, готовила и себе, и сестре с мужем, а также помогала ему доить коров и сепарировать молоко. Она вставала до рассвета и трудилась без устали. В первую весну после приезда моей матери Флора затеяла грандиозную уборку дома. Она сама лазила по приставной лестнице, снимала штормовые ставни, мыла их и аккуратно составляла в сторонке; выволакивала мебель из одной комнаты за другой, чтобы отскоблить дерево и покрыть пол лаком. Она вымыла каждую тарелку, каждый стакан из тех,

что стояли в посудной «горке» и вроде бы и так были чистые. Она ошпарила кипятком все кастрюли и ложки. Ее обуяла такая энергия, такая жажда действия, что она даже спать толком не могла — мать просыпалась от лязга разбираемой дымовой трубы или от шарканья метлы, завернутой в посудное полотенце и сметающей закопченную паутину. Через вымытые окна, не прикрытые занавесками, лился беспощадный свет. Эта чистота выбивала из колеи. Мать теперь спала на отбеленных хлоркой и накрахмаленных простынях, от которых у нее пошла сыпь. Больная Элли все время жаловалась на запахи лака и чистящих средств. У Флоры руки были стерты до мяса. Но бодрость ее не убывала. В платке, фартуке и мешковатом комбинезоне Роберта, который Флора заимствовала, чтобы лазить по лестницам, она была похожа на клоуна — игривая и непредсказуемая.

Моя мать назвала ее крутящимся дервишем.

— Флора, ты прямо крутящийся дервиш, — сказала она, и Флора притормозила. Она захотела узнать, что это такое. Мать не смутилась и объяснила, хоть и боялась оскорбить набожную Флору. (Впрочем, набожную — не совсем точное слово. Неукоснительно исполняющую заветы, так бу-

дет точнее.) Но Флора, конечно, не оскорбилась. Флора строго соблюдала все правила, но в ней не было ни мстительности, ни самодовольной зоркости, всюду видящей обиды. Она не боялась язычников — она всю жизнь жила среди них. Ей понравилась мысль, что она дервиш, и она пошла рассказать сестре.

— Знаешь, как учительница меня сейчас назвала?

Флора и Элли были обе темноволосые, темноглазые, высокие, узкоплечие, длинноногие. Элли, конечно, превратилась в развалину, а вот Флора сохранила идеально прямую спину и грацию движений. Мать рассказывала, что Флора умела держаться по-королевски — даже когда ехала в город на телеге. В церковь ездили на двуколке или на санях, но Флоре и Роберту часто приходилось возить в город мешки с шерстью — на ферме держали овец — или с овощами, на продажу, а потом доставлять домой закупленную провизию. До города было несколько миль, и ездили туда нечасто. Роберт сидел впереди и правил — Флора тоже прекрасно умела править лошадью, но это дело полагалось выполнять мужчине. Флора стояла позади в телеге, держась за мешки. Она ехала стоя всю дорогу до города и обратную

дорогу домой, легко сохраняя равновесие. На голове у нее была черная шляпа. Флора выглядела почти нелепо, но смешной не была. Матери думалось, что Флора похожа на цыганскую королеву: темноволосая, смугловатая — словно чуточку загорелая, — гибкая, смелая и безмятежная духом. Конечно, ей недоставало браслетов и ярких одежд. Моя мать завидовала стройности Флоры и ее высоким скулам.

Вернувшись осенью, к началу второго школьного года, мать узнала, что́ не так с Элли.

«У моей сестры опухоль», — сказала Флора. Слово «рак» тогда не произносили.

Мать слышала это и раньше. В округе ходили подозрения. Она перезнакомилась уже со многими окрестными жителями. Особенно она подружилась с молодой женщиной, работающей на почте, — потом эта женщина станет одной из подружек невесты у нее на свадьбе. Историю Флоры, Роберта и Элли — или ту ее часть, что была известна всем, — пересказывали в разных версиях. Мать не считала, что слушает сплетни, — она была начеку, готовая немедленно прекратить любые враждебные слова в адрес Флоры; такого она не потерпела бы. Но никто не злословил о Флоре. Все говорили, что она вела себя как святая.

Даже в крайностях, например, когда разделила дом, — это был поступок святой.

Роберт начал работать у Гривзов за несколько месяцев до смерти отца Элли и Флоры. Девушки уже были с ним немного знакомы — по церкви. (О, эта церковь, восклицала мать; она побывала там единожды, из любопытства. Мрачное здание за много миль от дома, на другом конце городка; ни орга́на, ни пианино, в окнах простые стекла — никаких витражей; дряхлый священник и его многочасовая проповедь; регент, камертоном задающий тон для хорового пения.) Роберт приехал из Шотландии и пробирался на запад Канады. В округе он остановился у каких-то родственников или знакомых, членов все той же малочисленной конгрегации. Нанялся к Гривзам — вероятно, для того, чтобы подработать. Вскоре он и Флора обручились. Они не могли посещать танцы и карточные вечера, но ходили на долгие прогулки. Дуэньей — неофициальной — при них служила Элли. Она тогда была шальной, задорной девчонкой — длинноволосой, нахальной, еще полной детства и сил, бьющих через край: она не ходила, а скакала. Она взбегала по склонам, сшибала палкой свечки коровяка, вопила и гарцевала, изображая конного воина. Или просто коня. Ей

тогда было лет пятнадцать-шестнадцать. Никому, кроме Флоры, она не подчинялась, да и Флора обычно только смеялась ее выходкам; она слишком привыкла к сестре и потому не задумывалась, все ли у той в порядке с головой. Они удивительно сильно любили друг друга. Элли — с длинным худым телом, длинным бледным лицом — была копией Флоры. Такие копии часто видишь в семьях, и из-за какого-то случайного изъяна, или сильно бросающейся в глаза черты, или цвета волос красота одного человека становится заурядностью или даже некрасивостью у другого. Но Элли не завидовала красоте сестры. Она обожала расчесывать и закалывать волосы Флоры. Они с удовольствием мыли друг другу головы. Элли вжималась лицом в шею сестры, как жеребенок-стригунок, играющий с матерью. Поэтому, когда Роберт сделал предложение Флоре (или она ему — никто не знал, как именно обстояло дело), Элли прилагалась к ней в обязательном порядке. Она не выказывала враждебности к Роберту, но таскалась за влюбленными и подстерегала их на прогулках; выскакивала на них из-за кустов или бесшумно подкрадывалась сзади, чтобы подуть им на шеи; люди все видели. И слышали о ее шутках. Она вечно подстраивала дурацкие шутки, и

порой ей влетало за это от отца, но Флора всегда ее защищала. Элли то подсовывала Роберту в постель чертополох; то, накрывая на стол, клала ему вилку и нож наоборот; то подменяла доильные ведра, чтобы Роберту досталось дырявое. Он все это терпел — возможно, ради Флоры.

По приказу отца Флора и Роберт назначили дату бракосочетания через год. Когда отец умер, они не стали переносить свадьбу на более ранний срок. Роберт по-прежнему жил у Флоры и Элли. Никто не знал, как заговорить с Флорой о том, что это неприлично или выглядит неприлично. Она бы только спросила почему. Вместо того чтобы приблизить день свадьбы, Флора отодвинула его — со следующей весны на раннюю осень, чтобы со дня смерти отца успел пройти полный год. Год от похорон до свадьбы — такой срок она сочла пристойным. Она полностью верила в терпение Роберта и собственную чистоту.

Она, конечно, вольна была верить во что угодно. Но зимой поднялся переполох. Элли тошнило, она рыдала, убегала, пряталась на сеновале, выла, когда ее находили и вытаскивали, спрыгивала с самого верха на пол, носилась кругами, каталась в снегу. Она потеряла рассудок. Флора была вынуждена позвать врача. Она сказала ему, что у

сестры прекратились месячные, — возможно, она сходит с ума от застоя крови? Роберту пришлось поймать Элли и связать ее, и вдвоем с Флорой они уложили Элли в кровать. Она отказывалась есть, лишь изо всех сил мотала головой и ревела. Похоже было, что она так и умрет бессловесной. Но каким-то образом истина вышла наружу. Не от доктора — он не смог подобраться к больной для осмотра, так она брыкалась. Наверное, Роберт сознался. И до Флоры наконец, сквозь весь ее возвышенный образ мыслей, дошла истина. Теперь свадьба была неминуема — правда, не та, которую планировали вначале.

Ни торта, ни новых нарядов, ни поездки на медовый месяц, ни поздравлений. Лишь стыдливый, наспех, визит в дом священника. Кое-кто из соседей, увидев имена в газете, решил, что редактор спутал сестер. Они подумали, что речь идет о Флоре. Свадьба «вдогонку» — для Флоры! Но нет. Это Флора погладила костюм Роберту, потому что кто-то его должен был погладить, и вытащила Элли из кровати, и вымыла, и привела в пристойный вид. Это Флора, больше некому, сорвала цветок герани из подоконного ящика и пришпилила к платью сестры. И Элли не стала его сдирать. Теперь она была кротка, не билась и

не плакала. Она позволила себя одеть и выдать замуж и с того дня больше не буйствовала.

Флора поделила дом. Она своими руками помогала Роберту возводить нужные перегородки. Ребенок родился в срок — никто и не думал притворяться, что он недоношенный, — но мертвым, после долгих, раздирающих схваток. Возможно, Элли навредила плоду, когда прыгала с балки в амбаре, каталась в снегу и колотила себя. Но даже если бы она ничего такого не делала, люди ожидали бы каких-нибудь последствий — с этим ребенком или, возможно, со следующим. Господь наказывает за браки «вдогонку» — в это верили не только пресвитерианцы, но вообще почти все. Господь карает за похоть — посылает мертворожденных, идиотов, детей с заячьей губой, сухоруких, колченогих.

В этом случае кара оказалась длительной. У Элли случились два выкидыша, потом еще один мертворожденный ребенок и опять выкидыши. Она постоянно ходила беременная — многодневные приступы рвоты, головные боли, судороги, головокружение. Выкидыши были так же мучительны, как роды в срок. Элли не могла работать по дому и ферме. Она и ходила-то держась за стулья. Немота у нее прошла,

теперь она стала жалобщицей. Если приходили гости, она принималась рассказывать об особенностях своих головных болей, или о своем последнем обмороке, или даже — не стесняясь присутствия мужчин, незамужних девушек и детей — расписывать кровавые детали того, что она именовала «неудачами». Когда гости меняли тему или срочно уволакивали детей, она дулась. Она требовала новых лекарств, поносила доктора и пилила Флору. Она обвиняла Флору в том, что та нарочно, назло громыхает тарелками, когда моет посуду, что дергает ее — Элли — за волосы, когда их расчесывает, что из скупости подменяет настоящее лекарство патокой, разведенной в воде. Но что бы она ни говорила, Флора ее утешала. Любому, кто побывал в доме Гривзов, было что об этом порассказать. Флора приговаривала: «Где же моя девочка? Где моя Элли? Это не моя Элли, это какая-то злюка сюда забралась на ее место!»

Зимними вечерами Флора помогала Роберту с работой на ферме, а потом возвращалась в дом, мылась, переодевалась и шла на другую половину читать сестре перед сном. Моя мать иногда напрашивалась с ней, захватив шитье — повседневное или что-нибудь из приданого. Кровать Элли была в большой столовой, где на столе

стояла керосиновая лампа. Мать сидела с одного края стола и шила, а Флора сидела с другого края и читала вслух. Иногда Элли говорила: «Мне не слышно». А если Флора приостанавливалась отдохнуть, Элли говорила: «Я еще не сплю».

Что же читала Флора? Книги о жизни в Шотландии — не классику, а истории про шалопаев и комичных старушек. Единственное заглавие, оставшееся в памяти у матери, было «Масенький Макгрегор». Мать не очень хорошо понимала со слуха и не могла смеяться, когда Флора смеялась, а Элли тихо подвизгивала, — бóльшая часть этих книг была на шотландском диалекте, или же Флора читала с густым шотландским акцентом. Мать удивлялась, что Флора умеет так читать — говорила она обычно совсем по-другому.

(Но ведь, наверно, Роберт говорил именно так? Может быть, именно поэтому мать никогда не передавала мне его слов; он никогда не участвовал в описываемых ею сценах. Он ведь должен был присутствовать, сидеть там же, в комнате. Она одна во всем доме отапливалась. Я представляю себе Роберта черноволосым, с мощными плечами, сильным, как тяжеловоз, исполненным такой же красоты — меланхоличной, скованной в движениях.)

Потом Флора говорила: «На сегодня всё». И брала другую книгу, старую, написанную каким-то проповедником, их единоверцем. В книге было такое — моя мать ничего подобного в жизни не слыхала. Что именно? Она не могла объяснить. Всё это, вся их ужасная старая вера. От этой книги Элли засыпала, или же притворялась спящей, после пары страниц.

Вероятно, мать имела в виду сложную расстановку избранных и про́клятых, бесконечные споры о духовной прелести и о необходимости свободы воли. Обреченность и зыбкое, неуловимое спасение души. Мучительное, непобедимое, но для иных умов — неотразимое нагромождение переплетенных, противоречащих друг другу догм. Мою мать оно не привлекло. Ее вера была легкой, ее дух — в то время — сильным. Идеи ее никогда не интересовали.

Ну что это за чтение для умирающей, спрашивала она (про себя). То был единственный случай, когда она допускала хоть намек на критику в адрес Флоры.

Ответ — если по-настоящему веришь, то это и есть самое подходящее чтение — матери, видимо, в голову не пришел.

Весной приехала сиделка. Так тогда было

заведено — умирать полагалось дома, а распоряжалась этим приглашенная сиделка.

Сиделку звали Одри Аткинсон. Она была кореназта и носила корсеты — жесткие, как обручи от бочки. Волосы цвета медных подсвечников были завиты «марсельской волной», а рот — скупых от природы очертаний — ущедрен помадой. Сиделка въехала во двор на машине — своей собственной, темно-зеленой, двухместной, блестящей и элегантной. Вести об Одри Аткинсон и ее автомобиле разлетелись быстро. Возникли вопросы. Откуда у нее деньги? Может, какой-нибудь богатый дурак переписал на нее завещание? Может, она злоупотребила своим влиянием на больного? Или просто стянула пачку денег из-под матраса? Как ей можно доверять?

Впервые в истории фермы Гривз во дворе оставили на ночь автомобиль.

Одри Аткинсон говорила, что ее никогда еще не звали ухаживать за умирающими в такой примитивный дом. По ее словам, у нее не укладывалось в голове, что так вообще можно жить.

«И ладно бы они были бедные, — говорила она моей матери. — Они ведь не бедные. Это я бы еще поняла. И ведь дело даже не в их религии. Тогда в чем? Им просто все равно!»

Поначалу она подлизывалась к моей матери, будто само собой разумелось, что они союзницы в этом богом забытом месте. Она разговаривала с матерью так, словно они ровесницы, две утонченные, интеллигентные женщины, идущие в ногу с жизнью и умеющие получать от нее удовольствие. Сиделка обещала матери научить ее водить машину. Предлагала ей сигареты. Умение водить было бóльшим искушением, чем сигареты. Но мать отвергла предложенное — сказала, что подождет, пока муж ее научит. Одри Аткинсон переглядывалась с моей матерью за спиной Флоры, поднимая розовато-оранжевые брови, и мать приходила в ярость. Она ненавидела сиделку гораздо сильней, чем Флора.

«Я понимала, что она за человек, а Флора — нет», — рассказывала мать. Она имела в виду, что уловила исходящий от Одри запашок дешевки — может быть, даже питейных заведений, непорядочных мужчин, неблаговидных сделок. А Флора, будучи не от мира сего, ничего этого не замечала.

Флора снова затеяла великую уборку. Она вешала занавески на распялках, выколачивала ковры, взлетала на стремянку, атакуя пыль на карнизах. Но сиделка Аткинсон все время меша-

ла ей жалобами.

«Скажите, пожалуйста, нельзя ли хотя бы чуточку поменьше бегать и греметь? — оскорбительно вежливо говорила сиделка. — Я прошу только ради своей пациентки». Она всегда называла Элли «моя пациентка» и делала вид, что больше некому защитить Элли и потребовать уважительного к ней отношения. Но сама относилась к ней не очень-то уважительно. «Алле-оп», — говорила она, втаскивая бедняжку повыше на подушках. Еще она сообщила Элли, что не будет терпеть нытье и скулеж. «Это вам никакой пользы не приносит, — говорила она. — И я от этого точно быстрее не приду. Так что учитесь себя контролировать». Она ахала при виде пролежней Элли — демонстративно, словно они ложились на семью дополнительным позорным пятном. Она требовала мазей, лосьонов, дорогого мыла — в основном, разумеется, для защиты собственной кожи, которая, по ее утверждению, страдала от жесткой воды. (Откуда этой воде быть жесткой, сказала сиделке моя мать, желая постоять за честь дома, раз больше некому. Откуда этой воде быть жесткой, если она дождевая, прямиком из бочки?)

Еще сиделка Аткинсон требовала сливок — она

велела оставлять немного, не все сдавать на молокозавод. Она собиралась готовить питательные супы и пудинги для своей пациентки. Она и впрямь готовила пудинги и желе, из порошковых смесей, каких в доме сроду не бывало. Мать была уверена, что сиделка всё это съедает сама.

Флора по-прежнему читала сестре, но теперь — лишь короткие отрывки из Библии. Когда она заканчивала и вставала, Элли пыталась за нее цепляться. Она рыдала и иногда очень странно жаловалась. Она говорила, что на дворе стоит рогатая корова и хочет пробраться в дом и забодать ее, Элли.

«У них часто бывают подобные мысли, — заметила на это сиделка Аткинсон. — Не потакайте ей, а то вам ни днем ни ночью покоя не будет. Они все такие, только о себе и думают. Когда я с ней одна, она себя очень хорошо ведет. Никаких забот от нее. Но как только вы заходите, опять все начинается сначала — стоит ей вас увидеть, и она расстраивается. Вы ведь не хотите прибавлять мне работы, правда? Вы меня пригласили, чтобы я взяла дело в свои руки, верно ведь?»

«Элли, ну Элли, миленькая, мне нужно идти», — успокаивала Флора сестру. А сиделке она сказала: «Я понимаю. Конечно, вам надо держать все в

своих руках, и я вами восхищаюсь, я восхищаюсь вашей работой. Для нее нужно столько терпения и доброты».

Мать гадала — то ли Флора действительно так слепа, то ли она этой незаслуженной похвалой хочет сподвигнуть сиделку Аткинсон на то самое терпение и доброту, которых у той не было. Но сиделка Аткинсон была слишком толстокожа и самодовольна, с ней подобные фокусы не проходили. «Да уж, работа у нас нелегкая, — ответила она. — Нам не то что медсестрам в больнице, имто все готовенькое приносят». Больше она ничего не сказала — ей было некогда: она пыталась поймать в радиоприемнике передачу «Фантазийный бальный зал».

Мать была занята выпускными экзаменами и июньскими мероприятиями в школе. Еще она готовилась к своей свадьбе, назначенной на июль. За ней заезжали на машинах подруги и везли на примерку платья, на вечеринки, выбирать карточки для приглашений, заказывать свадебный торт. Расцвела сирень, вечера удлинялись, прилетели и загнездились птицы, и мать расцветала в лучах всеобщего внимания, готовая вот-вот пуститься в увлекательное приключение — брак. Ее платье должны были украсить аппликацией из

шелковых роз. Фата будет крепиться на шапочку, расшитую жемчужным песком. Мать принадлежала к первому поколению молодых женщин, которые сами заработали и скопили деньги себе на свадьбу, гораздо более пышную, чем всё, что могло позволить себе поколение их родителей.

В последний вечер перед свадьбой за матерью заехала подруга (та самая, с почты), чтобы увезти ее совсем — вместе с вещами, книгами, наготовленным приданым, подарками от учеников и других людей. Девушки смеялись и суетились, грузя вещи в машину. Флора вышла и помогла им. «Похоже, это самое замужество — морока еще больше, чем я думала», — улыбаясь, сказала она. И подарила моей матери нарядный шарф, который сама втайне связала крючком. Разумеется, не обошлось без сиделки Аткинсон — она вручила невесте флакон одеколона с распылителем. Флора стояла на склоне у дома и махала вслед. Ее пригласили на свадьбу, но она, конечно, сказала, что не может прийти — сейчас такое время, что ей нельзя «выходить на люди». Последний образ Флоры, сохранившийся в памяти матери, — энергично машущая одинокая фигура, одетая для генеральной уборки, в фартук и бандану, на зеленом склоне у черной стены дома, в

вечернем свете.

«Ну что ж, может, она хоть теперь получит то, что ей в первый раз не досталось, — сказала подруга с почты. — Может, теперь они смогут пожениться. Она вроде бы еще не слишком стара, чтобы родить. Сколько ей вообще лет?»

Мать подумала, что такие речи применительно к Флоре звучат очень вульгарно, а вслух ответила, что не знает. Но поневоле призналась себе, что сама думает о том же.

После свадьбы, уже войдя хозяйкой в собственный дом, в трехстах милях от жилища Гривзов, мать получила письмо от Флоры. Элли умерла. Она до конца жизни хранила твердость в вере и благодарила Господа за избавление, писала Флора. Сиделка Аткинсон хочет остаться еще ненадолго, до тех пор пока ей не надо будет к следующему пациенту. Было это в конце лета.

Новости о том, что случилось после, пришли не от Флоры. Когда Флора наконец написала — на Рождество, — она, похоже, не сомневалась, что моей матери уже все рассказали.

«Вы наверняка слыхали, — писала Флора, — что Роберт и сиделка Аткинсон поженились. Они живут здесь, на Робертовой половине дома. Они сейчас ее обустраивают, чтобы им было удобнее.

Однако с моей стороны весьма невежливо было назвать ее сиделкой Аткинсон, как я сделала выше. Мне следует называть ее Одри».

Конечно, матери написала подруга с почты, и не она одна. Всю округу потрясла и возмутила новая свадьба Роберта — во второй раз он женился так же тайком, как и в первый (хотя на этот раз, конечно, по совершенно другой причине). Сиделка Аткинсон стала местной жительницей, а Флора проиграла вторично. Никто не видел, чтобы Роберт ухаживал за сиделкой. Все спрашивали, как ей удалось его заманить. Может, она убавила себе лет и обещала родить ему детей?

Но свадьбой сюрпризы не ограничились. Новобрачная немедленно занялась тем самым обустройством, упомянутым Флорой. В доме появилось электричество, потом — телефон. Номер был спаренный, и другие жители округи слышали, как сиделка Аткинсон (по-другому ее так и не стали называть) распекает маляров, клейщиков обоев и службу доставки. Она делала полный ремонт. Она покупала электрическую печку и оборудовала туалет прямо в доме. Кто знает, откуда взялись на это деньги. Может, ее собственные — плоды интрижек у смертного одра и необъяснимых внезапных завещаний. А может,

Роберта, — может, он потребовал свою долю. Долю Элли, которую он и сиделка Аткинсон, бесстыжая парочка, теперь намерены прожигать?

Все улучшения касались только половины дома. Другая половина, Флоры, не изменилась. Ни электричества, ни свежих обоев, ни новых жалюзи. Когда дом покрасили снаружи — в кремовый цвет с темно-зеленой отделкой, — Флорина половина осталась голой. Эту странную демонстративную выходку жители округи встретили с жалостью и неодобрением, потом — по мере того как их сочувствие убывало — стали считать доказательством упрямства и эксцентричности Флоры (неужели трудно купить банку краски и привести дом в божеский вид) и, наконец, увидели в нем повод для смеха. Люди специально ездили издалека, чтобы посмотреть на этот дом.

Каждый раз, когда в округе играли свадьбу, в школе устраивались танцы. На них собирали деньги, чтобы вручить новобрачным, — это называлось «кошель». Сиделка Аткинсон довела до сведения соседей, что не против этого обычая, пускай семья, в которую она вошла, и не признаёт танцев. Кое-кто решил, что идти у нее на поводу — низко, все равно что плюнуть в лицо Флоре. Других снедало любопытство, и они не могли

пропустить такое событие. Им хотелось посмотреть, что станут делать новобрачные. Будет ли Роберт танцевать? В каком платье придет молодая? Жители округи слегка потянули дело, но в конце концов танцевальный вечер состоялся, и моей матери доложили во всех подробностях.

Новобрачная пришла в том платье, в котором венчалась, — во всяком случае, она так сказала. Но кто наденет такое платье ради венчания в доме священника? Наверняка оно было куплено специально для этого вечера. Снежно-белый атлас, вырез сердечком, нелепо молодежный фасон. Жених вырядился в новый темно-синий костюм, и она вставила ему цветок в петлицу. На них стоило посмотреть. Прическа новобрачной — прямо от парикмахера — слепила глаз оттенками начищенной меди. Молодая была так накрашена, что казалось — стоит ей в танце прижаться к плечу партнера лицом, и оно целиком останется у него на пиджаке. Конечно, она танцевала. Она прошлась по разу с каждым из присутствующих, кроме мужа — он сидел, втиснувшись в одну из парт, отодвинутых к стене. Она прошлась по разу с каждым — и каждый утверждал, что обязан потанцевать с новобрачной, якобы таков обычай, — а затем вытащила Роберта на все-

общее обозрение, чтобы он получил деньги и поблагодарил всех собравшихся. Дамам же она намекнула в дамской комнате, что чувствует себя нехорошо — по обычной причине, как положено после свадьбы. Никто ей не поверил, и в самом деле ее надежды (если она действительно питала какие-то надежды) не оправдались. Кто-то из женщин подумал, что она лжет — намеренно, по злобе, чтобы оскорбить, считая их доверчивыми дурочками. Но никто не обличил ее, никто не был с ней груб — может, потому, что было ясно: она прекрасно может нагрубить в ответ и дать такой отпор, что противнику не поздоровится.

Флора на танцы не пришла.

«Моя золовка не танцует, — сказала сиделка Аткинсон. — Она застряла в прошлом». Она приглашала всех посмеяться над Флорой, которую всегда называла своей золовкой, хоть и не имела на то права.

Узнав все это, мать написала Флоре. Но, видимо, уехав из тех мест и закружившись в вихре, центром которого была она сама, новобрачная, мать забыла, что за человек адресат ее письма. Она выражала сочувствие и гнев, она позволила себе резкие слова в адрес женщины, которая — как это виделось матери — нанесла Флоре тяжелый удар.

Но в ответном письме от Флоры говорилось: не очень понятно, где моя мать черпает сведения, но, по-видимому, от злонамеренных людей, или она неверно поняла услышанное, или же поспешила и сделала необоснованные выводы. События в семье Флоры никого не касаются, и ни в коем случае не следует ее жалеть или испытывать гнев за нее. Флора была и есть счастлива и удовлетворена своей жизнью, ее не затрагивают поступки и желания других людей, и она не считает нужным в них вмешиваться. Она желала моей матери всяческого счастья в браке и выражала надежду, что мать скоро займется своими собственными семейными обязанностями и перестанет беспокоиться о бывших знакомых.

Это прекрасно написанное письмо задело мою мать, как она выразилась, за живое. Сообщение между ней и Флорой прекратилось. Мать и впрямь погрузилась в обыденные заботы и в конце концов стала пленницей в собственной семье.

Но она не забывала Флору. В последние годы она завела привычку рассуждать о том, кем могла бы стать и что сделать, сложись ее жизнь по-иному, и говорила: «Будь я писательницей — а я думаю, что могла бы ею стать; да, я могла бы

стать писательницей, — я бы написала историю жизни Флоры. И знаешь, как я ее озаглавила бы? „Старая дева“».

«Старая дева». Мать произнесла эти слова с серьезностью и сентиментальностью, которые резанули мне слух. Я знала (или думала, что знаю), что она хочет выразить этим заглавием. Величие и тайна. Легкая насмешка, переходящая в уважение. Мне было тогда лет пятнадцать-шестнадцать, и я думала, что вижу мысли матери насквозь. Я видела, что она могла бы сделать — что уже сделала — с Флорой. В интерпретации матери Флора стала бы ходячим благородством, символической фигурой, которая принимает предательство, измену, все прощает и отходит в сторону — и не единожды, а дважды. Без единого слова жалобы. Флора бодро трудится, убирает дом, выгребает навоз из хлева, выносит кровавые ошметки из постели сестры. И как раз тогда, когда будущее, кажется, открылось перед ней, когда Элли собиралась вот-вот умереть, Роберт — попросить прощения, а Флора — замкнуть ему уста, принеся себя в гордый дар, — во двор непременно должна была въехать Одри Аткинсон и снова заградить Флоре жизненный путь, на сей раз еще более необъяснимо и бесповоротно. Флора

вынуждена терпеть покраску и электрификацию дома, всю эту зажиточную суету за стеной. Модная музыка по радио — «Фантазийный бальный зал», «Эймос и Энди». Конец шотландской шутливой прозе и древним проповедям. Флора, конечно, видела, как они уезжают на танцевальный вечер — ее бывший суженый и жестокая, глупая, ни капельки не красивая женщина в белом атласном свадебном платье. Они смеются над Флорой. (И конечно же, она отписала ферму Элли и Роберту, так что теперь все досталось Одри Аткинсон.) Неправда торжествует. Но это ничего. Ничего. Избранные облачены в ризы терпения и смирения, и их осиявает уверенность, что никакие внешние смуты не поколеблют их душевный мир.

Именно в таком свете мать преподнесла бы все это, думала я. Она шла собственным крестным путем и на этом пути приобрела склонность к мистицизму. Иногда она таинственно, торжественно понижала голос, и это задевало меня, казалось сигналом, что опасность грозит лично мне. Непроницаемый туман благочестивых банальностей, питаемый неоспоримой моральной властью матери-калеки, грозил наползти и задушить меня. Если это случится, мне конец. Мне приходилось сохранять остроту языка и цинизм.

Я спорила, я осаживала мать, когда она чересчур раздувалась от собственной значительности. В конце концов я и эти попытки оставила и лишь молча противостояла ей.

Все эти красивые слова означают, что я была никаким утешением и так себе компаньонкой для женщины, которой, считай, не к кому больше было прибегнуть.

Я смотрела на историю Флоры по-своему. Я не говорила себе, что «могла бы написать» роман, но что я напишу его. И в совершенно другом ключе. Я видела насквозь замысел матери и вставила в свой рассказ то, что она выкинула из своего. Я нарисую свою Флору столь же черными красками, сколь мать свою — белоснежными. Она радуется, когда с ней обходятся плохо, и любуется собственным всепрощением. Она подглядывает за жалкими руинами, в которые превратилась жизнь ее сестры. Пресвитерианская ведьма со своей зловредной книгой. Дать ведьме отпор, процвести под ее сенью может лишь столь же безжалостная, невинная рядом с ней в своей грубости, толстокожая сиделка. И ведьме дали отпор: похоть плоти и обычная жадность помогли одолеть ее, запереть на ее половине дома с керосиновой лампой. Флора съеживается, сдает,

кости ее твердеют, суставы деревенеют; и — о, вот оно, вот оно, я дивлюсь элегантности найденной мной концовки, — она сама становится калекой, скрюченной артритом, едва способной пошевелиться. Вот теперь Одри Аткинсон берет всю власть и требует себе весь дом целиком. Она хочет, чтобы Роберт снес перегородки, воздвигнутые им при участии Флоры перед женитьбой на Элли. Одри отведет Флоре комнату и будет о ней заботиться. (Одри Аткинсон не хочет прослыть чудовищем, — может, она и вправду никакое не чудовище.) И однажды Роберт переносит Флору — первый и единственный раз в жизни он несет ее на руках — в комнату, приготовленную его женой, Одри. И вот, водворив Флору в хорошо освещенный, хорошо протопленный угол, Одри Аткинсон принимается чистить освободившиеся комнаты, жилье Флоры. Одри вытаскивает на двор охапку книг. Опять весна, время генеральной уборки, — когда-то этим занималась сама Флора, а теперь ее бледное лицо виднеется из-за новой тюлевой занавески. Она выползла из своего угла, она видит голубое небо с высокими облаками, плывущими над мокрой весенней землей, жадных ворон, разбухшие ручьи, розовеющие ветви деревьев. Она видит дым, идущий

из мусоросжигателя во дворе, где горят ее книги. Вонючие старые книжки, как назвала их Одри. Слова, страницы, зловещие черные корешки. Избранные, про́клятые, зыбкая надежда на спасение, страшные муки — все летит дымом к небу. Этим мой сюжет кончался.

Но самой загадочной личностью во всей истории, как ее рассказывала моя мать, был Роберт. Он ни разу не сказал ни слова. Он обручается с Флорой. Он гуляет с ней вдоль реки, когда Элли выскакивает на них из кустов. Он находит у себя в кровати подсунутые ею колючки. Он стругает и сколачивает доски, чтобы разделить дом. Он слушает (или не слушает), как Флора читает. И наконец, он сидит, втиснувшись за парту, пока вульгарная женщина, недавно обвенчанная с ним, танцует с другими мужчинами.

Это — те его поступки, что ведомы людям. Но ведь втайне всю историю затеял именно он. Он «сделал это» с Элли. Он «делал это» с тощей дикой девчонкой, будучи обрученным с ее сестрой, а потом много лет «делал это» с женой, когда от нее осталось лишь истерзанное тело, не встающее с постели, не способное выносить ребенка.

Вероятно, он «делал это» и с Одри Аткинсон, но результаты были не столь катастрофичны.

Слова «делал это» — самое сильное выражение, на какое была способна моя мать (и Флора также, я полагаю), — меня лишь завораживали. Я не чувствовала положенного отвращения и негодования. Я отказывалась слышать в этих словах предупреждение. Даже судьба Элли не отпугивала меня. Особенно когда я думала об их первом соитии — отчаянной схватке, борьбе, разрываемой одежде. В те дни я украдкой жадно разглядывала мужчин. Я любовалась их запястьями, шеями, клочком волос на груди, видным из-под случайно расстегнувшейся рубашки, даже ушами, даже ногами в ботинках. Я не ждала от них никаких разумных поступков — лишь жаждала, чтобы их необузданная страсть поглотила меня. Роберта я видела примерно в том же свете.

В моей версии Флора была злодейкой именно из-за того, что делало ее святой в версии матери, — отказа от утех плоти. Я сопротивлялась любым наставлениям матери на этот счет: я презирала ее манеру многозначительно понижать голос, ее мрачные предостережения. В то время в тех местах, где росла мать, половая жизнь была для женщин путешествием, полным опасностей. Мать знала, что от этого можно умереть. И потому уважала добродетель, стыдливость,

холодность — все, что могло защитить женщину. И я сызмальства боялась именно этой защиты, деликатной тирании, которая, как казалось мне, простиралась во все области жизни, навязывая женщинам чинные чаепития, белые перчатки и прочие безумные побрякушки. Мне нравились непристойные слова и отчаянные поступки, я распаляла себя мечтами о безрассудстве мужчины, о его полной власти надо мной. Странное дело: взгляды матери совпадали с популярными прогрессивными воззрениями ее эпохи; мои же соответствовали идеям, популярным в мое время. Все это — несмотря на то что обе мы считали себя независимыми от общества в своих взглядах, и притом жили в захолустье, далеком от веяний современной мысли. Можно подумать, что тенденции, глубже всего сидящие в нас, самые личные и неповторимые, прилетели по ветру, подобно спорам, ища подходящую почву, где можно пустить корни.

Совсем незадолго до смерти матери — но когда я еще не успела уехать из дома — она получила письмо от настоящей Флоры. Оно пришло из городка, ближайшего к ферме, — того самого, куда Флора когда-то ездила с Робертом, стоя в телеге за мешками шерсти или картофеля.

Флора написала, что больше не живет на ферме.

«Роберт и Одри по-прежнему живут там, — писала она. — У Роберта что-то со спиной, но за исключением этого он вполне здоров. У Одри плохие сосуды и частая одышка. Доктор говорит, что ей нужно худеть, но диеты как-то не помогают. Ферма процветает. Они совсем перестали разводить овец и переключились на молочных коров. Как Вы, вероятно, слышали, для фермера нынче главное — выбить у правительства квоту на молоко, и тогда его дело в шляпе. Старое стойло теперь отлично оборудовано, там доильные аппараты и прочие современные машины, просто чудо. Когда я приезжаю туда в гости, то сама не знаю, где очутилась».

Дальше Флора писала, что уже несколько лет живет в городе и работает продавщицей в магазине. Она, вероятно, упомянула название магазина, но я его забыла. Конечно, она не объяснила, что привело ее к этому решению — то ли ее согнали с собственной фермы, то ли она продала свою долю (видимо, не слишком выгодно). Она подчеркивала, что в хороших отношениях с Робертом и Одри. Она упомянула, что находится в добром здравии.

«Я слышала, что Вам в этом отношении повезло меньше, — писала она. — Я случайно встретилась с Клетой Барнс, бывшей Клетой Стэплтон, которая когда-то работала на почте, и она мне сказала, что у Вас какие-то проблемы с мышцами и речь тоже пострадала. Мне весьма печально было это услышать, но в наши дни врачи творят чудеса, и я надеюсь, что они и Вам смогут помочь».

Это письмо тревожило обилием недомолвок. В нем ничего не было про Господню волю и про то, что болезни посылаются нам свыше. Флора не написала, ходит ли все еще в ту же церковь. Кажется, мать так и не ответила на это послание. Ее прекрасный, разборчивый учительский почерк отошел в прошлое — теперь ей было трудно даже держать ручку. Она все время начинала письма и не заканчивала. Я находила их по всему дому. «Дражайшая моя Мэри», — начинались они. «Дорогая Руфь». «Милая моя малышка Джоанна (хоть я и знаю, что ты уже давно не малышка». «Моя дорогая старая подруга Клета». «Моя прекрасная Маргарет». Это все были подруги ее учительских лет, институтские, школьные. Ее бывшие ученицы. У меня друзья по всей стране, говорила она вызывающе. Милые, дорогие друзья.

Мне запомнилось одно письмо с обращением

«Друг моей юности». Я не знаю, кому оно предназначалось. Все эти женщины были друзьями ее юности. Я не помню письма, которое начиналось бы: «Моя дорогая, бесконечно уважаемая мною Флора». Я всегда смотрела на эти листки, стараясь прочитать обращение и те несколько фраз, которые мать смогла вывести, и, поскольку боль печали была бы для меня невыносима, эти письма меня раздражали — вычурным языком, неприкрытой мольбой о любви и жалости. Мать получала бы больше любви и жалости, думала я (имея в виду — больше любви и жалости от меня), если бы держалась отстраненно и с достоинством, а не тянулась к людям, стараясь бросить на них свою искривленную тень.

Флора тогда уже перестала меня интересовать. Я вечно выдумывала сюжеты и к этому времени, вероятно, вынашивала в голове новый.

Но позже я вспоминала о ней. Я гадала, в какой магазин она устроилась. Скобяная лавка или «Все за пять и десять центов», где ей пришлось носить рабочий комбинезон? Или аптека, где она стояла за прилавком в униформе, похожей на медсестринскую, или дамские платья, где она должна была выглядеть модно? Возможно, ей пришлось изучать разные модели блендеров,

или бензопил, или фасоны комбинаций, или марки косметики, или даже виды презервативов. Она работала целый день в электрическом свете, жала на кнопки кассового аппарата. Может быть, она сделала себе перманент, стала красить ногти, губы? Она должна была снять жилье — квартирку с кухонькой, окнами на главную улицу, или комнату в пансионе. Как ей удалось сохранить свою камеронианскую веру? Чтобы добираться до церкви где-то на выселках, она должна была купить машину, научиться водить. А раз научившись, она могла ездить не только в церковь, но и в другие места. Например, в отпуск. Снять на неделю коттедж на озере. Научиться плавать. Побывать в другом городе. Она могла есть в ресторане — даже в таком, где подают спиртные напитки. Она могла подружиться с разведенными женщинами.

Она могла встретить мужчину. Например, вдового брата какой-нибудь подруги. Человека, не знающего, что она камеронианка, — не знающего даже, кто такие камеронианцы. Не ведающего о ее жизни. Никогда не слышавшего о доме, разделенном пополам, о двух предательствах, о том, что лишь невинность Флоры и врожденное достоинство не дали ей стать всеобщим посме-

шищем. Возможно, он пригласил ее на танцы и ей пришлось объяснять, что она не может пойти. Его это удивило, но не отвратило от Флоры — все ее камеронианские причуды казались ему старомодными и почти очаровательными. Как и всем остальным. Про нее говорили, что она выросла в семье, где исповедовали какую-то странную религию. Что она долго жила на какой-то богом забытой ферме. Она чуточку странноватая, но на самом деле очень милая. И красивая тоже. Особенно с тех пор, как начала делать прическу.

Может, в один прекрасный день я зайду в магазин и увижу ее.

Нет, конечно. Наверняка она уже давно умерла.

Но допустим, я все же зашла в магазин. Может быть, универмаг. Вокруг — деловитая суета, яркие витрины, винтажный модерновый стиль пятидесятых. Допустим, высокая красивая женщина с отличной осанкой подошла, чтобы меня обслужить, и я как-то поняла — несмотря на ее начесанные, покрытые лаком волосы, розовые или коралловые губы и ногти, — поняла, что это Флора. Мне бы захотелось открыть ей, что я знаю ее, историю ее жизни, хотя мы никогда не встречались. Я представляю себе, как пытаюсь ей

это сказать. (Это фантазия, я просто фантазирую.) Я представляю себе, как она слушает — приятная, владеющая собой. Но потом качает головой. Улыбается мне, и в этой улыбке — доля насмешки, слабый отзвук самоуверенной злокозненности. И отчасти — усталость. Она не удивлена моим рассказом, но он ее утомляет. Ее утомляю я, мои представления о ней, все, что я о ней знаю, вообще моя уверенность, что я могу что-то о ней знать.

Конечно, на самом деле я думаю о матери. О той, какой она представала мне в этих снах со словами: «Ничего, у меня просто немножко рука дрожит». Или потрясшее меня непринужденное прощение: «О, я знала, что рано или поздно ты ко мне придешь». О том, как она удивляла меня в этих снах, держась почти бесстрастно. Ее застывшая маска, ее судьба, бóльшая часть ее болезни — всего этого, оказывается, никогда не бывало. Какое облегчение для меня, какое счастье. Но теперь я припоминаю, что вместе с тем была выбита из колеи. Я должна признаться, что чувствовала себя слегка обманутой. Да, оскорбленной, обманутой, обведенной вокруг пальца — этой неожиданной развязкой, избавлением. Совершенно без усилий выйдя из своей прежней темницы, демонстрируя силы и возможности,

каких я у нее и не подозревала, мать меняла не только себя. Она превращала горький комок любви, который я все это время носила внутри, в призрак — во что-то бесполезное и непрошеное, как ложная беременность.

Позже я выяснила, что камеронианцы — наиболее стойкая в убеждениях ветвь так называемых ковенантеров, шотландцев, которые в семнадцатом веке дали Богу обет отринуть молитвенники, епископов, противостоять любому намеку на папизм, любому вмешательству короля. Название конфессии происходит от Ричарда Камерона, поставленного вне закона, или «полевого», проповедника, вскоре казненного. Камеронианцы — они уже давно предпочитают звать себя пресвитерианцами-реформистами — шли в бой, распевая семьдесят четвертый и семьдесят восьмой псалмы[1]. Они порубили в куски высокомерного епископа Сент-Эндрюса, подстерегши его на большой дороге, и проскакали на конях по его телу. Один из их священников, испытывая подъем духа и неколебимую радость по поводу того, что его должны были повесить, провозгласил

[1] Примечания: 1

Соответствуют псалмам 73 и 77 в православной традиции. *(Здесь и далее — примеч. перев.)*

анафему всем остальным священникам в мире.

Пять углов

Нил Бауэр и Бренда пили водку с апельсиновым соком в трейлер-парке на утесах над озером Гурон, и Нил рассказал Бренде историю. Это случилось давным-давно, в городе Виктория в Британской Колумбии, где Нил родился и вырос. Он не намного моложе Бренды, разница меньше трех лет, но иногда Бренде кажется, что они из разных поколений, потому что она-то росла тут, а Нил — на Западном побережье, где все было совсем по-другому, и уехал из дома в шестнадцать лет, чтобы путешествовать и работать по всему миру.

Бренда видела Викторию только на фото — сплошные цветы и лошади. Цветы выплескиваются из корзин, подвешенных на старомодные фонарные столбы, заполняют гроты и украшают парки; лошади тащат телеги, набитые людьми, приехавшими посмотреть город.

— Это все фигня для туристов, — говорит Нил. — Полгорода — фигня для туристов. Я не о ней сейчас.

Он рассказывает про Пять углов, часть города

— или, может, только небольшой район, — где была школа, аптека, китайская зеленная лавка и кондитерская. Когда Нил ходил в школу, кондитерскую держала сварливая старуха с нарисованными бровями. Ее кошка вечно валялась в витрине, греясь на солнышке. После смерти старухи лавка перешла к другим людям, откуда-то из Европы, но не полякам и не чехам: из какой-то другой страны, поменьше, вроде бы из Хорватии — есть такая? Они все поменяли в кондитерской. Выбросили засохшие карамельки, воздушные шары, которые нельзя было надуть, непишущие шариковые ручки и нескачущие «мексиканские скачущие бобы». Перекрасили всю лавку сверху донизу, поставили столики и стулья. В лавке по-прежнему продавались конфеты — теперь они стояли в чистых стеклянных банках, а не в воняющих кошкой картонных ящиках, — и линейки, и ластики. Но еще новые владельцы устроили что-то вроде кафе — они подавали кофе, газировку и домашнюю выпечку.

Пекла жена — очень робкая, суетливая; если зашедший покупатель пытался ей заплатить, она звала мужа по-хорватски — ну или на каком там языке они разговаривали, будем считать, что по-хорватски, — так испуганно, словно этот поку-

патель ворвался к ней в дом и мешает ее частной жизни. Муж хорошо говорил по-английски. Он был маленький, лысый, вежливый и застенчивый и безостановочно курил сигареты, зажигая одну от другой, а жена — крупная, полная, сутулая, вечно в фартуке и кофте. Муж мыл окна, подметал тротуар перед лавкой и принимал оплату, а жена пекла булочки, торты и готовила разные другие вещи, каких в городе раньше не видели, но быстро полюбили, вроде вареников и хлеба с маком.

Две их дочери говорили по-английски, как настоящие канадки, и учились в монастырской школе. Они приходили в лавку в школьной форме ближе к вечеру и принимались за дело. Младшая мыла чашки и стаканы и вытирала столы, а старшая делала все остальное. Она обслуживала столики, сидела за кассой, раскладывала товар на подносах и гоняла мальчишек, которые околачивались в лавке и ничего не покупали. Младшая, разделавшись с мытьем, уходила в заднюю комнату и садилась за уроки, но старшая работала не покладая рук. Если вдруг ей не находилось дела, она стояла у кассы и смотрела за порядком.

Старшую звали Мария, а младшую — Лиза. Лиза была маленькая и миловидная — девочка как

девочка. А вот у Марии годам к тринадцати уже была большая отвисшая грудь, торчащий живот и толстые ноги. Мария носила очки, а волосы, заплетенные в косы, укладывала корзинкой вокруг головы. Выглядела она лет на пятьдесят.

И вела себя соответственно, по-хозяйски распоряжаясь в лавке. Родители, кажется, охотно уступили ей бразды правления. Мать удалилась в задние комнаты, а отец стал помощником и разнорабочим. Мария отлично говорила по-английски, умела обращаться с деньгами, ее ничто не пугало. Дети шептали друг другу: «Фу, эта Мария такая противная, правда?» Но на самом деле они ее боялись. Судя по ее виду, она уже отлично знала, как вести бизнес.

У Бренды и ее мужа тоже свой бизнес. Они купили ферму на южной окраине Логана и заполнили амбар подержанным оборудованием (Корнилиус умеет его чинить), подержанной мебелью и разными другими вещами: посудой, картинами, ножами, вилками, статуэтками, украшениями — в общем, всякой ерундой, в которой любят рыться люди, уговаривая себя, что покупают задешево. Это заведение называется «Мебельный амбар Зендта». Местные в разговорах обычно называют его «магазин подержанной мебели на шоссе».

Бренда с мужем не всегда занимались торговлей. Бренда раньше была воспитательницей в детском саду, а Корнилиус, который на двенадцать лет ее старше, работал в соляных шахтах в Уэлли, на озере. После несчастного случая надо было придумать для него какую-нибудь сидячую работу, и на его компенсацию они купили ферму с истощенной землей и еще крепкими строениями. Бренда уволилась из детского сада, потому что Корнилиус один не справился бы. Он, бывает, часами — а иногда и целыми днями — лежит на диване и смотрит телевизор или просто лежит на полу, превозмогая боль.

По вечерам Корнилиус любит ездить на машине в Уэлли. Бренда никогда сама не предлагает вести — если он не хочет разбередить больную спину, то говорит жене: «Может, сядешь за руль?» Раньше дети тоже ездили с ними, но сейчас они уже старшеклассники — Лорна в одиннадцатом классе, а Марк в девятом — и обычно не хотят. Бренда и Корнилиус ставят фургон у озера и смотрят на чаек, ходящих у кромки воды, на элеваторы для зерна, огромные, подсвеченные зеленым шахты и платформы соляных копей, где когда-то работал Корнилиус, на пирамиды из грубой серой соли. Иногда в порт заходит длинная

озерная баржа. Конечно, летом на озере видны яхты, виндсерферы, кто-то удит рыбу с причала. Летом на доске каждый день пишут время захода солнца: люди специально приезжают полюбоваться закатом. Сейчас октябрь, доска пустая, подсветка причала выключена, но один-два заядлых рыбака еще сидят с удочками. Вода покрыта зыбью и на вид холодная, а в заливе ничто не напоминает о развлечениях.

На берегу, однако, по-прежнему идет работа. Ранней весной прошлого года сюда привезли большие валуны и расставили там и сям, кое-где насыпали песок, соорудили длинную каменистую стрелку — все, чтобы получился укромный, защищенный от ветра пляж. Вдоль пляжа идет проселочная дорога, по которой и приехали Корнилиус и Бренда. Корнилиус забывает про больную спину и хочет посмотреть. Грузовики, экскаваторы, бульдозеры трудились весь день, и теперь, вечером, все еще стоят тут — на время укрощенные, бесполезные чудовища. Здесь работает Нил. Он водит эти огромные машины — перетаскивает валуны с места на место, расчищает пространство и строит дорогу, чтобы на пляж можно было проехать. Нил работает в строительной компании Фордайса из Логана, у

которой контракт на обустройство пляжа.

Корнилиус смотрит на все. Он знает, что́ нагружают на баржи (пшеницу мягких сортов, соль, кукурузу) и куда эти баржи потом пойдут. Он понимает, как углубляют дно в гавани, и каждый раз ходит смотреть на огромную трубу, пересекающую пляж, — через нее качают со дна разжиженный грунт и камни, сроду не видавшие света дня. Корнилиус подходит к трубе и слушает шум внутри — грохот и стон несущихся по ней камней и воды. Он спрашивает, что останется от всего этого благоустройства после суровой зимы, ведь озеро попросту смахнет с места валуны и пляж, а вода, как обычно, подгрызет глинистые обрывы.

Бренда слушает Корнилиуса и думает про Нила. Ей приятно находиться там, где Нил проводит свои дни. Она любит воображать рев машин, их неутомимую силу, мужчин в кабинах — голоруких, небрежно укрощающих эту мощь, словно от природы знающих, зачем весь этот рев, зачем подгрызать линию берега. Их небрежную, благодушную властность. Бренда наслаждается тем, что от их тел пахнет трудом, что они разговаривают на языке труда, поглощены им и не замечают ее. Она счастлива, что заполучила мужчину,

который приходит к ней прямо отсюда.

Если она здесь с Корнилиусом, но давно не видалась с Нилом, ей не по себе, она как потерянная, ей кажется, что этот мир может внезапно обратиться против нее. Сразу после встречи с Нилом это — ее царство. Впрочем, сразу после встречи с Нилом весь мир — ее царство. Накануне свидания, например вчера ночью, она должна была бы радостно предвкушать его, но, по правде сказать, сутки перед каждым свиданием — даже двое-трое суток — кажутся ей слишком опасными, полными возможных промашек и потому приносят не радость, а лишь настороженность и беспокойство. Она ведет обратный отсчет — в буквальном смысле отсчитывает часы. Она склонна заполнять это время похвальными поступками — разными хозяйственными делами по дому, которые давно откладывала, стрижкой газона, реорганизацией «Мебельного амбара», даже прополкой альпийской горки от сорняков. Утром в день свидания время ползет невыносимо медленно, и эти часы полны опасностей. У нее обязательно подготовлена легенда, куда она идет сегодня, но это должно быть какое-нибудь не самое необходимое дело, чтобы не привлекать излишнего внимания. Поэтому всегда есть шанс,

что Корнилиус спросит: «А ты не можешь это сделать ближе к выходным? В какой-нибудь другой день?» Бренду беспокоит даже не то, что она никак не сможет предупредить Нила. Он-то подождет час и поймет, что ей не удалось вырваться. Нет, она думает, что сама этого не вынесет. Что свидание было так близко — и вдруг его отняли. Однако физического томления она в эти часы не ощущает. Даже тайные приготовления — мытье, эпиляция, умащение маслами и духами — не возбуждают ее. Она погружается в ступор от пугающих мелочей, лжи, ухищрений и оживает лишь при виде машины Нила. За пятнадцать минут пути страх, что не удастся улизнуть из дома, сменяется страхом, что Нил не явится на их постоянное место — в укромный тупик, где дорога кончается у болота. В последние часы перед свиданием Бренда начинает жаждать чего-то уже не совсем материального и не столь физического; так что, если свидание не состоится, это будет не как пропущенный обед для голодного человека — скорее как пропущенная важная церемония, от которой зависит жизнь или спасение.

Когда Нил был уже подростком, но еще не дорос до посещения баров и по-прежнему околачивался в кондитерской «Пять углов» (хорваты сохранили

прежнюю вывеску), произошла перемена, памятная всем, кто ее застал. (Так считает Нил, но Бренда говорит: «Уж не знаю — для меня это все происходило где-то еще, не у нас».) Никто не знал, что с этим делать, никто не был готов. В некоторых школах боролись с длинными волосами у мальчиков, другие школы считали, что лучше смотреть на это сквозь пальцы и сосредоточиться на серьезных вещах. И только просили, если волосы длинные, собирать их в хвостик резинкой. А одежда?! Цепи, бусы из зерен, веревочные сандалии, индийский хлопок, африканские узоры, все вдруг стало мягким, свободным, ярким. В Виктории эту перемену, возможно, держали под контролем не так жестко, как в других местах. Она перехлестывала через край. Может, из-за климата люди в тех местах были мягче — все, не только молодежь. Всё окутал вихрь бумажных цветов, дурманящего дыма и музыки (которая, говорит Нил, тогда казалась потрясением основ, а сейчас выглядит совершенно невинно). Эта музыка гремела из окон в центре города, увешанных затрепанными грязными флагами, неслась над клумбами в Биконхилл-парке и цветущим желтым дроком на прибрежных утесах и долетала до пляжей, полных радости, с кото-

рых открывался вид на волшебные вершины Олимпийских гор. Вихрь захватил всех. Университетские преподаватели ходили с цветами за ухом, почтенные матери семейств могли явиться на люди в хипповской одежде. Нил и его друзья, конечно, презирали таких людей — примазавшихся попутчиков, старикашек, лишь кончиком пальца пробующих незнакомые воды. Нил и его друзья относились к миру музыки и веществ предельно серьезно.

В кондитерской они не употребляли, уходили куда-нибудь. Порой добредали до самого кладбища и устраивались там на стене волнолома. Иногда сидели возле сарая, пристроенного сзади к лавке. Войти внутрь они не могли — сарай был заперт на замок. Потом они возвращались в кондитерскую и, охваченные свиняком, пили кока-колу, ели гамбургеры, чизбургеры, булочки с корицей. Насытившись, они откидывались на стульях и созерцали движение узоров на штампованном жестяном потолке, выкрашенном хорватами в белый цвет. Цветы, башни, птицы, чудовища отделялись от потолка и плавали над головами.

— Что же вы принимали? — спрашивает Бренда.

— Все хорошее, кроме случаев, когда товар попадался некачественный. Травку, кислоту, иногда мескалин. Иногда в сочетании. Ничего серьезного.

— А я-то за всю жизнь только треть косяка выкурила на пляже. Я сначала даже не знала, что это, а когда пришла домой, отец отвесил мне оплеуху.

(Неправда. Не отец, а Корнилиус. Это он отвесил ей оплеуху. Они тогда еще не были женаты, Корнилиус работал в шахте в ночную смену, а Бренда сидела на пляже вечерами, уже в темноте, с друзьями-ровесниками. Назавтра после косяка она рассказала Корнилиусу, и он отвесил ей оплеуху.)

В кондитерской они только ели, отвисали, блаженно кайфуя, и играли в дурацкие игры — например, возили детские машинки по столикам. Как-то раз один парень лег на пол, и они поливали его кетчупом. Всем было плевать. Дневные покупатели — домохозяйки, зашедшие купить торт, и пенсионеры, убивающие время за чашкой кофе, — не бывали в кондитерской по вечерам. Мать и Лиза уезжали на автобусе домой, куда-то туда, где они жили. Потом даже отец стал уезжать, где-то сразу после ужина. За главную

оставалась Мария. Ей было все равно, чем занимаются Нил с друзьями, пока они платили за съеденное и ничего не ломали.

Таков был мир веществ, царство парней постарше. Младших они туда не допускали. И не сразу заметили, что у младших тоже что-то есть. Какой-то свой секрет. Мелкие обнаглели и начали задирать нос. Кое-кто из них приставал к старшим, желая купить товар. Стало ясно, что у мальчишек откуда-то берутся деньги.

У Нила был — и сейчас есть — младший брат по имени Джонатан. Сейчас он очень порядочный человек, женат, работает учителем в школе. А тогда Джонатан начал отпускать намеки; и другие мальчишки тоже, они не могли удержать в себе тайну, и скоро все выяснилось. Деньги они получали от Марии. Она платила за то, что они занимались с ней сексом. Это происходило в сарае на задах кондитерской, после того как Мария запирала заведение на ночь. У нее был ключ от сарая.

Кроме того, у нее был ежедневный доступ к деньгам. Она снимала кассу вечером, она вела бухгалтерские книги. Родители ей полностью доверяли. Почему бы нет? Она хорошо считала, она была предана семейному бизнесу. Она лучше

родителей понимала его целиком, от и до. Оказалось, что родители были робки и полны суеверий в том, что касается денег, и не хотели класть их в банк. Деньги хранились в сейфе или просто в железном ящике, откуда их и доставали по мере надобности. Должно быть, родители думали, что нельзя доверять никому, даже банкам, — только членам семьи. Наверно, они считали, что Марию им Бог послал: такая надежная, умная и притом некрасивая, она не станет возлагать надежды или тратить силы ни на что, кроме семейного бизнеса. Прямо-таки столп, на котором держится все заведение.

Мария была на голову выше и фунтов на тридцать-сорок тяжелее мальчиков, которым платила.

Бренда всегда переживает несколько неприятных минут, сворачивая с шоссе на второстепенную дорогу. Если ее увидят на шоссе, она это как-нибудь да объяснит, а вот на проселке ей делать нечего. Фургон приметный, его ни с чем не спутать. Кто-нибудь его здесь увидит, и ее песенка спета. По открытому месту ехать где-то с полмили, дальше начинается лес. Бренда надеялась, что фермеры посадят у дороги кукурузу, она вырастет высокая и будет скрывать машину.

Но фермеры посадили фасоль. Здесь хотя бы не опрыскивают обочины пестицидами; травы, сорняки и колючие плети малины вымахали в рост человека, — правда, фургон им все равно не скрыть. Здесь растут золотарник и ваточник — плоды-коробочки уже полопались, болтаются грозди ярких ядовитых ягод, и все заплетено диким виноградом, он даже на дорогу выползает. И вот наконец Бренда спасена — машина ныряет в туннель лесной дороги. Кедры, тсуги; подальше в лес, где почва более влажная, — пушистые лиственницы; много красных кленов, их листья испещрены желтыми и бурыми пятнами. Здесь нет водоемов, никаких луж с черной водой, даже если заехать совсем глубоко в лес. Им повезло — летом и осенью стояла сушь. То есть Бренде с Нилом повезло, а не фермерам. Если бы год выдался дождливый, Нил и Бренда не смогли бы тут встречаться. Твердые колеи, по которым Бренда осторожно ведет машину, оплыли бы, а пятачок в конце дороги, где можно развернуться, превратился бы в яму с жидкой грязью.

Бренда уже проехала по лесу мили полторы. На дороге попадаются сложные места — одна-две небольшие горки, скорее, кочки, выпирающие из болотистой почвы; узкий бревенчатый мостик

через ручей, где никакой воды не видно, только желтая жеруха, которой забито русло, да крапива по берегам впилась корнями в сухую глину.

Нил ездит на старом синем «меркурии» — этой темной синеве легко прикинуться лужей, бочагом, пятном болотного мрака под деревьями. Бренда щурится, пытаясь разглядеть машину. Она не против приехать на несколько минут раньше Нила — будет время перевести дух, причесаться, проверить макияж, побрызгать шею (а иногда и промежность заодно) одеколоном. Но если приходится ждать дольше, Бренда начинает нервничать. Она боится не диких собак и не насильника, таящегося в кустах, — она еще девочкой собирала здесь ягоды и потому сама выбрала это укромное место для свиданий. Боится она не присутствия, а отсутствия. Отсутствия Нила; опасения, что он ее бросил, вдруг отрекся от нее. От этого подозрения любая местность, любая вещь становится уродливой, опасной и бессмысленной. Деревья, сады, парковочные счетчики, кофейные столики — не важно. Однажды Нил не приехал — заболел; то ли пищевое отравление, то ли самое чудовищное похмелье в его жизни, объяснил он в тот вечер по телефону. Ей пришлось притвориться, что звонит клиент, желающий

продать диван. Бренда навсегда запомнила то ожидание, истекающую по капле надежду, жару, насекомых — был июль — и свое тело, которое исходит по́том на сиденье этого самого фургона, словно признаваясь в собственном поражении.

Он здесь, он приехал первым; только одна фара «меркурия» виднеется в глубокой тени под кедрами. Словно ты только что умирала от жары, вся исцарапанная колючими кустами, искусанная мошкой, — и вдруг погружаешься в прохладную воду; ласковые волны смывают с тебя все беды и уносят в глубину. Бренда ставит фургон, поправляет волосы, чтобы лежали попышнее, и выскакивает наружу; дергает дверь, показывая Нилу, что заперла машину, иначе он заставит ее бежать обратно, совсем как Корнилиус, — «а ты уверена, что заперла?». Бренда идет по небольшому пятну солнечного света, по опавшим листьям, усеявшим землю, и смотрит на себя со стороны: белые брюки в обтяжку, бирюзовый топ, белый ремень на бедрах, сумка на плече. Женщина с аппетитной фигурой, светлой веснушчатой кожей и голубыми глазами. Глаза подведены синими тенями и контуром и призывно сощурены от света. Рыжеватые светлые волосы — вчера она подкрасила корни — играют на солнце, как ле-

пестки цветка. Бренда надела туфли на каблуках — исключительно ради этих нескольких секунд, когда она переходит дорогу и Нил смотрит на нее: пусть ноги кажутся длиннее и бедра качаются призывнее.

Очень, очень часто они занимаются любовью у Нила в машине — прямо здесь, на месте встречи, хотя сами же вечно твердят друг другу, что надо подождать. Подожди, вот доберемся до твоего трейлера. Но скоро слово «подожди» стало у них означать прямо противоположное. Однажды они начали просто на ходу. Бренда стащила трусы, задрала широкую летнюю юбку, не говоря ни слова, не глядя на Нила, — и в результате они остановились прямо у шоссе, чудовищно рискуя. Теперь каждый раз, когда они едут мимо этого места, Бренда говорит что-нибудь типа «только не съезжай с дороги» или «здесь следовало бы поставить предупредительный знак».

«Табличку об историческом событии», — отзывается Нил.

У их страсти есть история — как у семей и у бывших одноклассников. И кроме этого — почти ничего. Они ни разу не ели вместе, не смотрели кино вдвоем. Но они прошли через разные совместные приключения, опасности — настоящие,

не просто секс на обочине шоссе. Они шли на риск, удивляя друг друга, и всегда выигрывали. Во сне иногда бывает такое чувство, что ты уже видела этот сон, что он снился тебе уже не раз, и ты знаешь, что на самом деле все гораздо сложнее. Знаешь, что на самом деле существует целая подземная система, которую называют снами за неимением лучшего слова, и эта система состоит не из дорог и туннелей, она больше похожа на живое тело, растягивается и свивается узлами, непредсказуемая, но предельно знакомая, — и ты знаешь, где ты сейчас и где была всегда. Именно так обстояло дело с Брендой, Нилом и их близостью, как-то вроде этого, и они примерно одинаково видели разные связанные с этим вещи и доверяли друг другу. Пока что.

В другой раз, тоже на шоссе, Бренда заметила приближающийся белый автомобиль — старый «мустанг»-кабриолет с откинутым верхом (дело было летом) — и соскользнула на пол.

— Кто в этой машине? Посмотри и скажи мне, быстро!

— Девчонки, — ответил Нил. — Четыре или пять. Девки в поисках парней.

— Моя дочь. — Бренда снова устроилась на сиденье. — Хорошо, что я была не пристегнута.

— У тебя есть дочь, которая уже водит машину? И у нее «мустанг»?

— Это «мустанг» ее подруги. Лорна еще не водит. Но могла бы, ей шестнадцать лет.

В воздухе ощутимо повисли разные слова, которые он мог бы сказать, но она надеялась, что не скажет. То, что обычно говорят мужчины о молодых девушках, просто не могут удержаться.

— У тебя тоже могла бы быть дочь такого возраста, — продолжала Бренда. — Может, и есть, просто ты не знаешь. И еще она мне соврала. Сказала, что пойдет играть в теннис.

Нил опять не произнес ничего такого, что она ожидала, но не хотела услышать. Что-нибудь про вранье. Из своего жизненного опыта.

Он только сказал:

— Успокойся. Расслабься. Ничего не случилось.

Она не знала и не могла знать, насколько он понимает ее чувства в этой ситуации. Понимает ли он вообще что-нибудь. Они никогда не говорили о ее внешней жизни. Не упоминали Корнилиуса, хотя именно с ним Нил общался, когда впервые пришел в «Мебельный амбар». Он хотел купить велосипед — обычный, дешевый, чтобы ездить по проселочным дорогам. В «Амбаре» тогда не было велосипедов, но Нил ушел не сразу — он

побеседовал с Корнилиусом: о том, какой велосипед хочет, о том, как чинить и совершенствовать такой велосипед, и о том, как они могут найти то, что ему нужно. Он сказал, что заглянет еще раз. И правда заглянул, очень скоро, когда в магазине была только Бренда. Корнилиус ушел в дом, прилечь, у него опять разболелась спина. В этом разговоре Нил и Бренда полностью объяснились, хотя открыто ничего не сказали. Когда он позвонил ей и пригласил выпить с ним — в таверне у дороги, идущей берегом озера, — Бренда точно знала, зачем он ее приглашает, и знала, что ему ответит.

Она сказала ему, что ходит налево первый раз в жизни. Это было правдой в одном смысле и ложью в другом.

В рабочие часы кондитерской Мария не смешивала дело и удовольствие. Она принимала деньги у покупателей, как обычно. Мария держалась по-прежнему: она была здесь главная. Мальчишки знали, что могут из нее что-то выжать, но пока не очень понимали сколько. Доллар. Два доллара. Пятерку. Причем она не зависела от одного конкретного мальчика. Снаружи всегда околачивались несколько приятелей, готовых услужить; заперев лавку, Мария выбирала из них одного и

вела в сарай, а потом уезжала домой на автобусе. Она предупредила мальчишек, чтобы не болтали, а то не видать им больше денег. Некоторое время они ей верили. Поначалу она и пользовалась их услугами нерегулярно и не очень часто.

Так было вначале. Прошло несколько месяцев, и все изменилось. Потребности Марии росли. Мальчишки торговались уже открыто и стали менее уступчивы. Они разболтали всем. Власть Марии таяла — сначала по капле, потом стремительно.

«Мария, а Мария, дай десятку. И мне тоже! Мария, и мне. Давай, давай, ты же меня знаешь».

«Двадцатку, Мария. Дай двадцатку. Ну дай. Двадцать баксов. Мария, ты мне должна. Давай, давай. Ты же не хочешь, чтобы я рассказал. Выкладывай».

«Двадцатку, двадцатку, двадцатку». И Мария раскошеливается. Теперь она ходит в сарай каждый вечер. И хуже того — некоторые мальчишки начинают отказываться. Они требуют деньги вперед. Берут деньги, а потом от всего отпираются. Говорят, что она им не платила. Она платила, и даже при свидетелях, но все свидетели это отрицают. Мотают головами, дразнят ее. «Нет. Ты ему никогда не платила. Я видел. Дай мне денег

сейчас, и я пойду с тобой. Честно, пойду. Дай двадцать долларов».

Теперь и ребята постарше, выведав все у младших братьев, подходят к кассе: «Мария, а мне? Ты ведь и меня знаешь. Дай-ка и мне двадцать». Эти парни не ходят с ней в сарай. Никогда. Думает ли она, что они захотят? Они даже не обещают, просто требуют денег. «Мария, ты же меня давно знаешь». Клянчат, угрожают. «Ведь я тоже твой друг, правда, Мария?»

Нету у Марии друзей.

Ее степенность, зоркость исчезли — теперь она была дика, мрачна, озлоблена. Она кидала на мальчишек взгляды, полные ненависти, но продолжала выкладывать деньги. Раздавала банкноты. Даже не пытаясь поторговаться, поспорить, отказать. Она раскошеливалась в ярости, в безмолвной ярости. Чем сильней ее изводили, тем легче из кассы вылетали двадцатидолларовые бумажки. Но теперь она мало что делала — а может, и вовсе ничего не делала, — чтобы их заработать.

Нил и его друзья нынче все время под кайфом. Постоянно, потому что теперь у них есть деньги. Они созерцают сладостные струи атомов, текущие под пластиковой поверхностью столиков.

Разноцветные души выстреливают у них из-под ногтей. Мария сошла с ума — лавка истекает деньгами, словно кровью. Как это может продолжаться дальше? И чем кончится? Наверняка Мария уже залезла в сейф — в кассе после дня торговли просто не наберется столько. И все это время мать Марии по-прежнему печет булочки и лепит вареники, а отец подметает тротуар и приветствует входящих покупателей. Отцу и матери никто ничего не сказал. Они продолжают жить как раньше.

Им пришлось обо всем выведывать самим. Они нашли неоплаченный Марией счет — что-то вроде этого, кто-то из поставщиков явился с неоплаченным счетом, — и они пошли взять денег в сейфе, чтобы заплатить, и оказалось, что денег там нет. Там, где они держали деньги, — в сейфе, железном ящике или где, — никаких денег не было. И ни в каком другом месте тоже не было. Нигде не было. Так родители Марии обо всем и узнали.

Мария умудрилась раздать всё. Все сбережения семьи, всё понемножку отложенное из прибыли, все оборотные средства. В самом деле всё. Родители больше не могли оплачивать аренду лавки, электричество, счета от поставщиков. Они не

могли больше держать кондитерскую. Во всяком случае, они так решили. Может, у них просто не хватило духу продолжать торговлю.

Лавку заперли. На двери появилось объявление: «Закрыто». Прошел почти год, пока двери открылись снова. В помещении бывшей кондитерской оборудовали прачечную-автомат.

Говорили, что именно мать — крупная, застенчивая, сутулая — настояла на том, чтобы ее дочь судили. Она боялась английского языка и кассового аппарата, но потащила Марию в суд. Конечно, та была несовершеннолетняя, поэтому ее могли только отправить в колонию, а мальчишкам и вовсе ничего не было. К тому же они все врали — каждый говорил, что это не он. Родители Марии, вероятно, устроились на какую-то работу, но не уехали из Виктории, потому что Лиза никуда не делась. Она по-прежнему плавала в бассейне YMCA, а через несколько лет поступила продавщицей в универмаг Итона, в отдел косметики. К этому времени она стала очень гламурная и держалась высокомерно.

У Нила по просьбе Бренды всегда наготове водка и апельсиновый сок. Она где-то читала, что алкоголь вызывает дефицит витамина С, а апельсиновый сок помогает его восполнить. И

еще она надеется, что после водки у нее не будет пахнуть изо рта. Нил вроде бы убирает в трейлере к ее приходу — во всяком случае, судя по бумажному мешку, полному банок из-под пива, газетам, не столько сложенным в стопку, сколько сдвинутым в кучу, и носкам, запинанным в угол. Может, это сосед Нила прибирался. Некто Гэри — Бренда его ни разу не встречала, не видела его фотографий и не узнает, встретив на улице. Узнает ли он ее? Он в курсе, что она сюда приходит, но знает ли он ее имя? Возвращаясь вечером домой, замечает ли он запах ее духов, запах ее похоти? Бренде нравится в трейлере — нравится его полная неприукрашенность, временность. Вещи лежат где придется. Ни занавесок, ни сервировочных салфеток, даже солонки и перечницы нет — соль в коробке, перец в жестянке, как принесли из магазина. Бренде нравится и кровать Нила — застеленная кое-как, грубым пледом, с плоской подушкой. Это не брачное ложе и не одр болезни, оно не сулит утешения и не осложняет жизнь. Эта кровать служит Нилу для похоти и сна, одинаково самозабвенных и крепких. Бренде нравится тело Нила — такое живое и уверенное в своих правах. Она хочет, чтобы Нил даже не требовал от нее, а командовал ею. Она хочет быть

его территорией.

Грязь отчасти беспокоит ее только в туалете, как любая чужая грязь. Жаль, что Нил и его сосед не очень-то стараются мыть унитаз и раковину.

Бренда и Нил садятся за стол, чтобы выпить. Они смотрят в окно трейлера на стальное, рябое, бликующее озеро. Здешние деревья, открытые озерным ветрам, уже почти голы. Костяки берез и тополей, жесткие и блестящие, как солома, обрамляют воду. Через месяц, может быть, выпадет снег. Через два так уж точно. Навигация на морском пути, ведущем из озера в океан, закроется, лодки встанут на прикол до весны, между берегом и открытой водой вырастут горные хребты изо льда. Нил не знает, что будет делать, когда работы на пляже прекратятся. Может, останется в этих местах и попробует найти другую работу. А может, сядет на пособие по безработице, купит снегоход, займется всякими зимними развлечениями. А может, поедет куда-нибудь, поищет работу где-нибудь еще, навестит друзей. У него друзья по всей Северной Америке и за ее пределами. Даже в Перу у него есть друзья.

— Так что было потом? — спрашивает Бренда. — Ты совсем не знаешь, что было потом с Марией?

Нил говорит, что нет, понятия не имеет.

Но Бренда никак не может забыть про эту историю; она не дает ей покоя, как налет на языке, как послевкусие во рту.

— Может быть, она вышла замуж, — говорит Бренда. — Когда ее выпустили. Чтобы выйти замуж, не обязательно быть красавицей. Это уж точно. А может, она даже похудела и стала выглядеть лучше.

— Ага, может, теперь мужики ей платят, а не она им.

— А может, она до сих пор где-нибудь сидит. Где-нибудь под замком.

Бренда чувствует боль между ног. Такое бывает после очередного сеанса. Если она сейчас встанет, то почувствует, как там у нее пульсирует — кровь приливает обратно во все мелкие сосуды, смятые, сдавленные, травмированные. Она будет вся пульсировать, как большая набрякшая потертость.

Бренда делает большой глоток из стакана и спрашивает:

— Так сколько ты у нее вытянул?

— Я от нее вообще ничего не получил. Я знал ребят, что брали у нее деньги. Мой брат Джонатан на ней неплохо заработал. Интересно, что он

сейчас скажет, если ему об этом напомнить.

— А парни постарше? Ты же сам сказал, что парни тоже. Я не поверю, что ты просто так сидел и смотрел и что тебе ничего не досталось.

— А я тебе именно это и говорю. Я ни гроша не получил.

Бренда укоризненно цокает языком, допивает стакан и передвигает его по столу, скептически глядя на мокрые круги.

— Хочешь еще? — Нил забирает у нее стакан.

— Мне пора идти. Уже скоро.

Заниматься любовью можно наспех, в крайнем случае, а вот для ссоры нужно время. Они что, начинают ссориться? У Бренды нервы на взводе, но она ощущает и счастье. Единоличное, спрятанное внутри; не такое, что расплескивается вокруг, окрашивая весь мир в радужные цвета и наполняя тебя благодушным безразличием к собственным словам. Как раз наоборот. Бренда чувствует себя легкой, острой, отдельной от всего остального мира. Когда Нил приносит ей полный стакан, она сразу делает глоток, чтобы закрепить это чувство.

— А ведь тебя зовут так же, как моего мужа, — говорит она. — Странно, как я этого раньше не замечала.

Еще как замечала, просто не упоминала, зная, что Нилу будет неприятно это услышать.

— Корнилиус и Нил — это разные имена.

— Корнилиус — голландское имя. Уменьшительное от него будет Нил.

— Да, но я не голландец, и меня зовут не Корнилиус, а просто Нил.

— Все равно, если бы у него было уменьшительное имя, его звали бы Нил.

— Но у него нет уменьшительного имени.

— А я не говорила, что есть. Я сказала «если бы».

— А если нет, то чего об этом говорить?

Он, должно быть, чувствует то же, что и она, — медленно, неостановимо нарастающий новый восторг, потребность говорить и слышать резкие слова. Какое острое упоение, освобождение — выпустить на волю первый удар, и каким неотразимым соблазном манит лежащее впереди — разрушение. Не останавливаешься, чтобы подумать, почему тебе желанно это разрушение. Желанно, вот и все.

— А нам обязательно пить каждый раз? — вдруг резко говорит Нил. — Мы что, спиться хотим?

Бренда торопливо отхлебывает из стакана и отодвигает его:

— Кому это обязательно пить каждый раз?

Она думает — он имеет в виду, что им следует переключиться на кофе или кока-колу. Но он встает, подходит к одежному шкафчику, открывает ящик и говорит:

— Поди сюда.

— Даже смотреть не хочу, — отвечает она.

— Ты даже не знаешь, что у меня тут.

— Еще как знаю.

Она, конечно, не знает. То есть не конкретно.

— Оно не кусается, вообще-то.

Бренда снова отпивает из стакана и смотрит в окно. Солнце, уже идущее на закат, бросает на стол яркое пятно света, согревая ей руки.

— Ты не одобряешь, — говорит Нил.

— Я не одобряю и не не одобряю, — отвечает она, чувствуя, что теряет контроль над разговором и что ее внутреннее счастье пошло на убыль. — Мне все равно, что ты делаешь. Это твое дело.

— «Не одобряю и не не одобряю», — жеманным голосом передразнивает он. — «Мне все равно, что ты делаешь».

Это сигнал, который обязательно должен подать кто-то из двоих. Вспышка ненависти, чистой злобы, словно лезвие ножа блеснуло. Сигнал,

что теперь можно ссориться в открытую. Бренда делает большой глоток, словно чувствуя, что заслужила его. Ее охватывает мрачное удовлетворение. Она встает и говорит:

— Мне пора идти.

— А если я еще не готов?

— Я сказала, что мне пора, а не тебе.

— Да ну. У тебя что, машина тут?

— Я могу дойти до своей.

— Дотуда пять миль.

— Пять миль вполне можно пройти.

— В таких туфлях?

Оба смотрят на ее желтые туфли, по цвету гармонирующие с желтыми птицами-аппликe на бирюзовой кофточке. И то и другое куплено и надето для встречи с ним.

— Ты эти туфли надела не для того, чтобы в них ходить, — говорит Нил. — Ты их надела, чтобы на каждом шагу вихлять своей толстой жопой.

Она идет по дороге вдоль берега озера, по гравию, терзающему ступни сквозь подметки туфель. Каждый шаг требует внимания, иначе запросто можно подвернуть ногу. В одной кофточке уже холодно. Ветер с озера хлещет сбоку, и каждый раз, как по дороге проезжает машина, особенно грузовик, Бренду бьет жесткая волна

воздуха, швыряя в лицо песок. Конечно, некоторые грузовики притормаживают, и легковушки тоже, и мужчины что-то орут из окон. Одна машина съезжает, буксуя, на гравий и останавливается чуть впереди. Бренда замирает, не зная, что делать, но через некоторое время машина возвращается на асфальт и уезжает, а Бренда опять начинает шагать вперед.

Ничего страшного не происходит, ей ничто не грозит. Она даже не боится уже, что ее увидит кто-нибудь из знакомых. Она ощущает такую свободу, что ей все равно. Она вспоминает первый раз, когда Нил пришел в «Мебельный амбар», — как он обнял за шею Самсона, их собаку, и сказал: «Сторож-то у вас так себе, мэм». Бренда тогда подумала, что это «мэм» — нахальное, фальшивое, словно из какого-нибудь старого фильма с Элвисом Пресли. А то, что он сказал после этого, было еще хуже. Она посмотрела на Самсона и сказала: «По ночам он лучше». А Нил: «Я тоже». Наглый, заносчивый бахвал, подумала она. И не настолько молод, чтобы ему это сошло с рук. После второй встречи ее мнение даже не особо изменилось. Но все, что ей в нем не нравилось, стало лишь камнем на дороге, который нужно миновать. Она могла бы дать понять, что ему не обязательно так

себя вести. Ее задачей было — принять его дары всерьез, чтобы он тоже мог стать серьезным. И спокойным, и благодарным. Но почему она так быстро сочла все его неприятные качества чем-то поверхностным?

Она уже в начале второй мили (ну, может, в конце первой), когда ее догоняет «меркурий». Он притормаживает, съезжая на гравий. Она подходит и садится в машину. Почему бы и нет. Это не значит, что она обязана с ним разговаривать или пробыть с ним больше нескольких минут, которые занимает дорога до болота и ее машины. Его присутствие не обязательно должно для нее что-то значить, как ничего не значит дующий в лицо ветер с песком.

Она крутит ручку, открывая окно полностью, чтобы отгородиться от любых его слов потоком ревущего холодного воздуха.

— Я хочу извиниться за неуместные личные выпады, — говорит он.

— С какой стати? У меня задница и правда толстая.

— Нет.

— Да, — говорит она вполне искренне — скучным голосом, не допускающим дальнейших споров. Нил затыкается на пару миль — до тех

пор, пока они не сворачивают под деревья, на дорогу, ведущую к болоту.

— Если ты подумала, что там, в ящике, были шприцы, то ничего подобного.

— Это не мое дело, что у тебя там.

— Всего лишь оксики и люд. Немножко гаша.

Она вспоминает ссору с Корнилиусом, после которой они чуть не разорвали помолвку. Не тогда, когда он дал ей пощечину за косяк — в тот раз они быстро помирились. Нет, ссора вышла из-за чего-то такого, что вообще никакого отношения к ним не имело. Они заговорили об одном человеке, который работал с Корнилиусом в шахте, и о его жене, и об их умственно отсталом ребенке. Корнилиус сказал, что этот ребенок все равно что овощ: он сидит в этаком загоне, отгороженном в углу комнаты, бормочет что-то и гадит себе в штаны. Ему лет шесть-семь, и он навсегда останется в таком виде. Корнилиус заявил, что, если у людей получился такой ребенок, они имеют право от него избавиться. Он сказал, что сам бы именно так и сделал. Никаких сомнений. Есть очень много способов избавиться от такого ребенка и не попасться, и он уверен, что многие так и поступают. Они с Брендой ужасно поссорились из-за этого. Но все время, пока они ссорились,

Бренда подозревала, что на самом деле Корнилиус ничего подобного не сделал бы. Однако он считал, что обязан это заявить. В разговоре с ней. Говоря с ней, он счел нужным утверждать, что поступил бы именно так. И потому она злилась на него сильнее, чем если бы он был искренне груб и жесток. Он хотел вызвать ее на спор. Хотел, чтобы она протестовала, чтобы пришла в ужас, но зачем? Мужчины вечно стремятся шокировать женщин, требуя ликвидации ребенка-овоща, или принимая наркотики, или ведя машину на манер камикадзе, но зачем все это? Чтобы показать свою крутость, брутальность на фоне бабьей вялой жалостливой добродетели? Или чтобы с финальным рыком таки уступить и поубавить в себе крутости и отвязности? Каков бы ни был ответ, женщинам это в конце концов надоедает.

Когда в шахте произошел несчастный случай, Корнилиуса могло задавить насмерть. Он работал в ночную смену. В мощной стене каменной соли выдалбливают щель, потом сверлят отверстия для взрывчатки, прилаживают заряды; взрыв устраивают раз в сутки, без пяти минут полночь. Огромный пласт соли отделяется от стены и начинает свой путь на поверхность. Корнилиус был обборщиком: его поднимали в клети к по-

толку выработки, и он должен был отбить слабо держащиеся куски и закрепить болты, которые фиксируют потолок, чтобы он не обвалился при взрыве. Какая-то неполадка в гидравлическом приводе, который поднимал клеть, — Корнилиус притормозил, потом ускорил движение и вдруг увидел потолок, что несся на него так быстро, словно захлопывали крышку. Он пригнулся, клеть остановилась, и скальный выступ ударил его в спину.

К этому времени он проработал в шахте семь лет и никогда не рассказывал Бренде, каково там, внизу. Теперь рассказывает. Он говорит, что там как будто отдельный мир — пещеры, колонны, они тянутся на много миль под озером. Если зайти в штольню, где нет машин, освещающих эти серые стены и воздух, наполненный соляной пылью, и выключить лампу на каске, можно постичь настоящую темноту, какой живущие на поверхности Земли никогда не увидят. Машины остаются там, внизу, навсегда. Некоторые машины спускают туда по частям и собирают на месте. Ремонтируют их все прямо там, в шахте. А в самом конце снимают запчасти, которые еще можно использовать, а остальное затаскивают в выработанный тупик и запечатывают, словно

хоронят. Эти подземные машины ужасно шумят, когда работают; их шум и гул вентиляторов заглушают любой человеческий голос. А теперь там, внизу, есть новая машина, которая делает то, что раньше делал Корнилиус. Причем сама, без участия человека.

Бренда не знает, скучает ли Корнилиус по подземелью. Он говорит, что, глядя на озеро, не может не думать о том, что лежит под ним, — о том, что человеку, не бывавшему там, невозможно вообразить.

Нил и Бренда едут по лесной дороге, под деревьями; ветер здесь внезапно почти не ощущается.

— И да, я брал у нее деньги, — говорит Нил. — Сорок долларов. По сравнению с тем, что получили некоторые, это вообще ничто. Я клянусь, сорок долларов, это всё. Ни центом больше.

Бренда молчит.

— Я не собирался исповедоваться, — продолжает он. — Я просто хотел об этом поговорить. И в результате все равно соврал, и сейчас мне от этого противно.

Теперь Бренде лучше слышно, и она замечает, что у него такой же упавший и усталый голос, как у нее. Она видит его руки на руле и думает о том,

что вряд ли смогла бы описать его внешность. На расстоянии — например, когда ждет ее в машине — он кажется ярким размытым пятном света; его присутствие — облегчение и обещание. Вблизи он распадается на отдельные детали: шелковистая или загрубевшая кожа, жесткие, как проволока, волосы или только что сбритая щетина, запахи — его личные, неповторимые или как у всех мужчин. Но в основном энергия — присущее ему качество, заметное в тупых коротких пальцах или в загорелой крутизне лба. Впрочем, энергия — тоже не совсем точное слово: он словно туго налит соком, который поднимается из корней, как у дерева, прозрачный, подвижный. Это и притягивает к нему Бренду — этот сок, ток под кожей, словно это и есть его единая, истинная суть.

Если она сейчас повернется, то увидит его как есть: изгиб загорелого лба, отступающую бахрому курчавых каштановых волос, тяжелые брови, в которых уже кое-где видны седые волоски, глубоко посаженные светлые глаза, рот человека, умеющего получать удовольствие от жизни, обидчивого и гордого. Мальчик-мужчина, уже начинающий стареть, — хотя когда он лежит на Бренде, то кажется ей шальным и легким, в отличие от Корнилиуса, который придавливает

ее по-хозяйски, как тонна одеял. За Корнилиуса Бренда чувствует ответственность. Может, она теперь станет ответственной и за этого тоже?

Нил развернул машину и готов уехать обратно. Бренде пора выходить и садиться в свой фургон. Нил снимает руки с руля, не заглушая мотор, разминает пальцы, потом опять хватается за руль, причем с силой — кажется, с достаточной, чтобы сплющить руль в лепешку.

— Господи, да не вылезай ты! — говорит он. — Не вылезай пока!

Она даже руку на дверь еще не положила, не сделала ни единого движения, чтобы вылезти. Он что, не понимает, что происходит? Может, чтобы это понимать, нужно прожить много лет в браке и наработать опыт ссор. Чтобы знать: то, что тебе кажется полным концом всего — даже если этот конец желанен, — может быть лишь началом новой стадии, продолжением. Вот что происходит сейчас, вот что произошло. Он слегка поблек в ее глазах; возможно, навсегда. Вероятно, и она для него тоже немного поблекла. Она чувствует в нем тяжесть, гнев, удивление. И в себе — то же самое. Она говорит себе, что до сих пор все было просто.

Менстанг

I

Водосбор, лапчатка,
Дикий бергамот —
Наберем охапку,
Встанем в хоровод[2].

Книга называется «Приношения». Золотые буквы на тускло-голубой обложке. Ниже — полное имя автора: Альмеда Джойнт Рот. «Страж», местная газета, именует ее не иначе как «наша поэтесса». В этих словах звучит смесь уважения и презрения как к ее таланту, так и к ее полу — или к их предсказуемому сочетанию. В начале книги — фотография с именем фотографа в углу и датой: 1865. Книга вышла несколько позже, в 1873 году.

У поэтессы продолговатое лицо и длинный нос; выпуклые, меланхоличные темные глаза, что, кажется, вот-вот выпадут и покатятся по щекам, словно огромные слезы; пышные темные волосы уложены вокруг лица ниспадающими валиками и каскадами. В них ясно видна седая прядь, хотя

[2] Примечания: 2

Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Т. Боровиковой.

девушке на фотографии всего двадцать пять лет. Ее нельзя назвать хорошенькой, но, похоже, она из тех, кого возраст не портит; вероятно, она с годами не располнеет. На ней подогнанное вытачками и украшенное галуном темное платье или жакет; V-образный вырез заполнен чем-то белым, пышным, кружевным — не то оборки, не то бант. На голове шляпа — возможно, бархатная; темная, под стать платью. Шляпа, мягкая и ничем не украшенная, отчасти напоминает берет, что намекает на художественные наклонности (или, возможно, застенчивость и упрямую эксцентричность) молодой женщины; длинная шея и склоненная вперед голова показывают также, что она высока, стройна и отчасти неуклюжа. От талии вверх она весьма похожа на юного дворянина каких-то былых времен. Но, возможно, такова была мода той эпохи.

«В 1854 году, — пишет Альмеда Рот в предисловии к своей книге, — отец привез нас — матушку, сестру Кэтрин, брата Уильяма и меня — на дикий (каким он был тогда) канадский запад. Отец мой, шорник по ремеслу, был, однако, весьма образованным человеком; он цитировал по памяти Библию, Шекспира и труды Эдмунда Берка. Дело его процвело в этих только что освоенных

землях; он смог открыть собственную лавку конской упряжи и изделий из кожи и через год — построить весьма удобный дом, в котором я ныне живу (одна). Мне, старшей из детей, было четырнадцать лет, когда мы приехали в эти края из Кингстона, чьи прекрасные улицы я с тех пор не видела, но часто вспоминаю. Сестре было одиннадцать лет, а брату девять. На третье лето нашего пребывания здесь брат и сестра заразились ходившей по городу лихорадкой и умерли с разницей лишь в несколько дней. Милая моя матушка не смогла оправиться от удара, нанесенного нашей семье. Здоровье ее пошатнулось, и по прошествии трех лет умерла и она. Тогда я стала вести дом отца и с радостью выполняла эту работу на протяжении двенадцати лет, пока отец не скончался внезапно однажды утром у себя в лавке.

С ранних своих лет я находила утешение в рифмах и занимала себя — а иногда и утешалась в бедах, коих, я знаю, выпало мне отнюдь не более, чем любому другому страннику в земной юдоли, — неловкими попытками сочинения стихов. И в самом деле, пальцы мои были слишком неуклюжи для вязания крючком, и прекрасные вышивки, часто видимые нами сегодня, — кор-

зины фруктов, голландские мальчики, девы в капорах, поливающие цветы из лейки, — не покорились моему мастерству. И вот взамен как плод своего досуга я предлагаю читателю эти безыскусные куплеты — баллады, поэмы, размышления».

Вот названия некоторых стихотворений и поэм: «Детские игры», «Цыганская ярмарка», «Навещая семью», «Ангелы в снегу», «Шамплен в устье реки Менстанг», «Кончина старого леса», «Садовая смесь». В сборнике есть и другие стихи, покороче — о птицах, полевых цветах, метелях. А также стихотворение, задуманное как комическое, — ряд куплетов, описывающих мысли прихожан в церкви во время проповеди.

«Детские игры»: стихотворение написано от лица девочки, играющей с сестрой и братом. Игра состоит в том, чтобы заманить и перетянуть детей из другой команды на свою сторону. Она играет в сгущающихся сумерках и постепенно понимает, что она давно уже не ребенок и что рядом никого нет. Но она по-прежнему слышит голоса (призрачные) сестры и брата, которые зовут: «К нам, к нам! Меда, к нам!» Вероятно, Альмеду в семье звали уменьшительным «Меда», а может быть, она сократила свое имя, чтобы уложить в стихотворный размер.

«Цыганская ярмарка»: цыгане разбили табор, «ярмарку», недалеко от деревни; они торгуют тканями и побрякушками, и девочка-рассказчица боится, что цыгане ее украдут, заберут у семьи. Но вместо этого семью забирают у нее — забирают такие цыгане, с которыми она уже не может торговаться, да и найти их не может.

«Навещая семью»: визит на кладбище и беседа с покойными — точнее, монолог.

«Ангелы в снегу»: когда-то поэтесса научила брата и сестру «делать ангелов» — ложиться в снег и махать руками, чтобы выходил отпечаток фигуры с крыльями. Но брат всегда был нетерпелив и вскакивал слишком рано; его ангелы выходили кривыми на одно крыло. Исцелятся ли они в раю или так и будут летать, припадая на одно крыло, кругами?

«Шамплен в устье реки Менстанг»: поэма, иллюстрирующая легенду (исторически неточную) о том, что знаменитый путешественник проплыл вдоль восточного берега озера Гурон и высадился возле устья большой реки.

«Кончина старого леса»: список всех деревьев — названия, внешний вид, свойства и применение, — которые росли в первозданном лесу и были срублены, и общие описания фауны этого

леса — медведей, волков, орлов, оленей, водяных птиц.

«Садовая смесь»: вероятно, задумана как парная к поэме о лесе. Перечень садовых растений, привезенных из разных европейских стран, с приложением исторических сведений и легенд. Эта пестрая смесь образует нечто подлинно канадское.

Стихи написаны куплетами или четверостишиями. Встречаются попытки изобразить сонет, но в основном схема рифмовки весьма проста: «абаб» или «абвб». Используется в основном так называемая мужская рифма («река — пока»), хотя встречается и женская («рая — играя»). Знакомы ли нынешние читатели с этой терминологией? Нерифмованных стихотворений в сборнике нет.

II

Где ангелы резвилися, играя,
Мороз рисует ныне розы на снегу.
Взлетят ль они к дверям Господня рая
Или останутся на дольнем берегу?

В 1879 году Альмеда Рот все еще жила на углу улиц Перл и Дафферин, в доме, построенном ее отцом для семьи. Дом стоит и поныне; живет в нем управляющий магазином алкогольных напитков. Стены обшили алюминиевым сайдингом, а некогда открытую веранду остеклили. Дровяной сарай, забор, ворота, уборная во дворе, амбар — все исчезло. Сохранилась фотография 1880-х годов, на которой эти строения еще присутствуют. Дом и забор выглядят несколько обветшалыми, будто нуждаются в покраске, но, может быть, лишь из-за того, что старинная фотография побурела и поблекла. Окна с кружевными занавесками похожи на белые глаза. У дома нет ни одного большого тенистого дерева: высокие вязы, прикрывавшие город от солнца до 1950-х годов, а также клены, чьей тенью мы пользуемся сейчас, в те времена были еще хрупкими саженцами, которые лишь

ограда спасала от пожирания скотом. Без тени все выглядит неуместно открытым: задние дворы, бельевые веревки, поленницы, сколоченные из разномастных досок сараи, амбары и отхожие места кажутся оголенными, какими-то вре́менными. Очень мало домов, перед которыми было бы что-либо похожее на газон, — в основном голая земля с муравейниками, кое-как разровненная и поросшая подорожником. Кое-где на пнях стоят деревянные ящики с петуниями. Гравием посыпана только главная улица; остальные — проселочные дороги, грязные или пыльные, соответственно времени года. Везде заборы, чтобы не забредали животные. Коров привязывают пастись на незастроенных участках или на задних дворах, но иногда они сбегают на волю. Свиньи тоже часто сбегают, а собаки свободно бродят по городу или вольготно спят посреди тротуаров. Город пустил корни, он уже не исчезнет в одночасье, но все еще хранит некоторое сходство с лагерем поселенцев. И в нем, как в лагере, царит суматоха: он полон людей, которые ходят по своим делам как им заблагорассудится; полон животных, оставляющих на земле конские яблоки, коровьи лепешки, собачьи колбаски, так что дамам приходится подбирать подолы; полон

строительного лязга, воплей возчиков «Но-о-о!» и «Тпру!» и шума поездов, прибывающих несколько раз в сутки.

Я читаю об этой жизни в старых выпусках «Стража».

Население города моложе, чем сейчас; таким молодым оно уже никогда не будет. Люди, которым за пятьдесят, обычно не приезжают на новое, практически пустое место. На кладбище уже немало могил, но и покойники молоды — скончались от разных эпидемий или умерли родами. Дети — мальчики — объединяются в шайки и прочесывают улицы. Посещение школы обязательно лишь четыре месяца в году, и в городе множество работы, посильной даже для восьми-девятилетнего ребенка: теребить лен, придерживать лошадей, доставлять на дом покупки, подметать тротуары перед магазинами. Эти мальчики много времени проводят в поисках развлечений. Однажды они увязываются за пожилой женщиной, пьяницей по прозвищу Королева Агги. Они грузят ее в тачку и провозят по всему городу, а потом вываливают в канаву, чтобы протрезвела. Много времени они проводят и на железной дороге, вокруг станции. Они запрыгивают в вагоны, которые тянет маневро-

вый паровоз, носятся между ними, подначивают друг друга; в результате мальчишки регулярно калечатся или гибнут. Еще они следят за незнакомцами, прибывающими в город. Увязываются вслед, предлагают поднести чемодан и показать (за пять центов) дорогу в гостиницу. Если чужак выглядит небогатым, его дразнят и травят. Всех незнакомцев окутывает пелена подозрения, словно облачко мух. Зачем они приехали в город — начать свое дело, торговать чудодейственными снадобьями или патентованными приспособлениями, проповедовать на улицах, уговаривать горожан вложить деньги в какую-нибудь финансовую схему? Все это возможно, и все это случается. Будьте начеку, предупреждает «Страж». Мы живем во времена неограниченных возможностей, но также и в опасные времена. Бродяги, мошенники на доверии, лоточники, стряпчие по темным делам, да и просто воры странствуют по дорогам, особенно — по железным дорогам. Об ущербе становится известно: кто-то вложил деньги и больше их не увидел, у кого-то пропадают брюки с бельевой веревки, дрова из поленницы, яйца из курятника. В жаркую погоду таких инцидентов бывает больше.

И несчастных случаев тоже. В жаркую погоду

лошадь больше склонна понести, переворачивая повозку. Руки защемляет в отжимных валиках при стирке. На лесопилке рабочего разрезало пополам. Мальчик прыгал по бревнам на лесоскладе, бревна покатились, и его задавило насмерть. В жару все плохо спят. Младенцы чахнут от летней хвори. Толстяки страдают одышкой. Умерших приходится хоронить немедля. Однажды на улице появляется человек, который кричит: «Покайтесь! Покайтесь!» — и трезвонит в коровий колокольчик. Но это не чужак, а здешний житель, продавец в мясной лавке. Отведите его домой, заверните в холодные мокрые простыни, дайте лекарства от нервов, держите в постели и молитесь, чтобы рассудок к нему вернулся. Иначе его отправят в приют для душевнобольных.

Фасад дома Альмеды Рот смотрит на Даффорин-стрит, весьма респектабельную улицу. Здесь живут оптовые торговцы, хозяин лесопилки, владелец соляного промысла. Но Перл-стрит, куда выходят задние окна и ворота заднего двора Альмеды, — совсем другое дело. С этой стороны ее дом соседствует с жилищами рабочих. Небольшими, но приличными таунхаусами. Это ничего. Но если пойти дальше по Перл-стрит, то к концу квартала дома становятся похуже, а сле-

дующий — последний перед болотом — квартал и вовсе ужасен. Там, возле болота, называемого трясиной Перл-стрит (и ныне осушенного), никто не станет жить, кроме распоследних бедняков, недостойных и не заслуживающих помощи. Там растут пышные кустистые сорняки и стоят кое-как сколоченные хижины, окруженные кучами отбросов и хлама. Там бегают орды худосочных детей, а помои выплескивают прямо из дверей на улицу. Муниципальные власти пытаются заставить тамошних обитателей строить уборные, но те предпочитают ходить по нужде в кусты. Если сюда забежит шайка мальчишек в поисках приключений, то, скорее всего, найдет чего не искала. Говорят, что даже городской полицейский не рискует заглядывать в конец Перл-стрит в субботу вечером. Альмеда Рот никогда не ходила по Перл-стрит дальше таунхаусов. В одном из них живет Энни, молодая девушка, приходящая к Альмеде убирать дом. Энни, будучи порядочной девушкой, также никогда не ходит в последний по своей улице квартал или к болоту. Ни одна приличная женщина туда ногой не ступит.

Но это же самое болото, лежащее к востоку от дома Альмеды Рот, на восходе солнца являет собой дивное зрелище. Альмеда спит в задней

части дома. Она осталась в той же спальне, которую некогда делила с сестрой, Кэтрин, — для нее немыслимо было бы перебраться в большую переднюю спальню, где когда-то ее мать лежала в постели целыми днями и где потом одиноко властвовал отец. Из окна Альмеда видит, как восходит солнце, как болотный туман наливается светом, как большие деревья, стоящие поближе, будто плавают в этом тумане, а те, что подальше, становятся прозрачными. Болотные дубы, красные клены, лиственницы, гикори.

III

Где Менстанг катит волны на просторе,
Под сению лесов я мыслю о былом.
И о народах, чьих мы не увидим боле
Шатров-вигвамов на брегу крутом.

Одним из чужаков, прибывших в город поездом за последние годы, был Джарвис Полтер, ныне живущий по соседству с Альмедой Рот. Их дома стоят рядом на Дафферин-стрит, разделенные пустым участком, также принадлежащим Полтеру. Его дом проще, чем у Альмеды, ничем не украшен, перед ним нет ни плодовых деревьев, ни цветов. Все понимают, что иначе и быть не может, поскольку Полтер вдовец и живет один. Мужчина может поддерживать дом в пристойном виде, но никогда — если он настоящий мужчина — не станет его украшать. Вступив в брак, мужчина вынужден мириться с разными украшательствами и сантиментами. Брак спасает его от крайностей собственной натуры — от жесткой скупости или чрезмерной роскоши и лени, от зарастания грязью, от манеры подолгу спать и

от злоупотребления всякого рода излишествами — чтением, курением, спиртными напитками, вольнодумством.

Как всем известно, некий почтенный горожанин упорно пользуется водой из общественной колонки, а запас топлива пополняет, подбирая упавшие куски угля у железной дороги. Не сочтет ли он нужным взамен одарить город или железнодорожную компанию некоторым количеством соли?

Таков «Страж», полный застенчивых шуточек, намеков и открытых обличений — сегодня подобное ни одной газете не сошло бы с рук. Речь идет о Джарвисе Полтере, хотя в других местах газета упоминает его с большим уважением как мирового судью, работодателя, усердного прихожанина. Дело в том, что он на виду. Он до определенной степени эксцентричен. Все это может быть следствием одинокой жизни, вдовства. Даже то, что он носит воду в ведре из городской колонки и ходит на железную дорогу собирать упавшие куски угля в ведерко. Он достойный гражданин, дела его процветают. Он высокий (может быть, с небольшим животиком?), в темном костюме и начищенных до блеска ботинках. Борода? Черные волосы с проседью. Вид у него су-

ровый и собранный. Большая бледная бородавка проглядывает посреди одной кустистой брови? Ходят слухи о молодой, красивой, горячо любимой жене, умершей родами или от какого-нибудь ужасного несчастья вроде пожара или крушения поезда. Никаких оснований для этих слухов нет, но они добавляют интереса. Сам Полтер сообщил только, что жена его скончалась.

В эти места Полтер приехал в поисках нефти. Первую в мире нефтяную скважину пробурили в округе Лэмтон, к югу отсюда, в пятидесятых годах девятнадцатого века. Ища нефть, Джарвис Полтер нашел соль. И принялся делать на ней деньги. Идя из церкви домой рядом с Альмедой Рот, он рассказывает ей про свои соляные колодцы. Их глубина тысяча двести футов. В них нагнетают горячую воду, и она растворяет в себе соль. Рассол выкачивают насосами на поверхность земли и заливают в огромные сковороды, под которыми поддерживается постоянный небольшой огонь, так что вода испаряется и остается чистая, прекрасная соль. Товар, на который всегда будет спрос.

— Соль земли, — говорит Альмеда.

— Да, — хмурясь, отвечает он. Возможно, он счел ее слова неучтивыми. Она не хотела его

обидеть. Он заговаривает об иногородних конкурентах, которые все повторяют за ним и хотят захватить рынок. К счастью, у них колодцы не так глубоки или выпарка не столь эффективна. Под этой землей соль лежит повсюду, но ее не так легко найти, как считают некоторые.

Не значит ли это, говорит Альмеда, что здесь некогда плескалось великое море?

Весьма возможно, отвечает Джарвис Полтер. Весьма возможно. Он начинает рассказывать ей о других своих предприятиях — кирпичном заводе, печи для отжига извести. Он объясняет, как все это работает и где можно найти хорошую глину. Он также владеет двумя фермами с участками леса, откуда берет дрова для своих промыслов.

В одно прекрасное воскресное утро мы заметили среди парочек, возвращающихся из церкви, некоего просоленного джентльмена и одну литературную даму — оба уже утратили нежный цвет юности, но еще не прихвачены морозом преклонных лет. Можем ли мы сделать определенные выводы?

«Страж» все время подпускает какие-нибудь намеки.

Могут ли они сделать определенные выводы? Ухаживание ли это? У Альмеды Рот есть деньги

— наследство отца — и собственный дом. Она еще достаточно молода, чтобы родить одного-двух детей. Она хорошая хозяйка, печет причудливые торты с глазурью и затейливо украшенные корзиночки — талант, частый у старых дев. (Почетное упоминание на конкурсе городской осенней ярмарки.) Внешность у нее вполне приятная, и фигура, конечно, гораздо лучше сохранилась, чем у ее замужних ровесниц, не пострадала от деторождения и домашней работы. Но почему женихи обходили ее раньше, когда она только вступила в брачный возраст, в городе, где женщинам положено выходить замуж и рожать? Девушкой она была невесела — возможно, в этом дело. Кончина брата и сестры, а затем матери (которая, кстати говоря, за год до смерти утратила рассудок и слегла в бреду) омрачили ее нрав, так что ее нельзя было назвать приятной собеседницей. И потом, вся эта одержимость чтением, поэзией — в молодой девушке она была изъяном, препятствием к браку, в отличие от зрелой женщины, которой, в конце концов, надо чем-то убивать время. И вообще, она уже лет пять как опубликовала свою книжку, так что, может быть, наконец успокоилась. А может, ее просто поощрял честолюбивый, начитанный отец.

Все считают само собой разумеющимся, что Альмеда Рот видит в Джарвисе Полтере будущего мужа и согласится, если он сделает ей предложение. И она в самом деле о нем думает. Она не хочет строить воздушных замков, чтобы не опростоволоситься. Она хочет дождаться, пока он подаст отчетливый знак. Если бы Полтер по воскресеньям ходил в церковь не только утром, но и вечером, иногда им пришлось бы возвращаться уже затемно. Он нес бы фонарь (уличного освещения в городе еще нет). Он раскачивал бы фонарем, освещая дорогу перед ножками дамы, и заметил бы, какие они узкие и изящные. Он придерживал бы ее под локоть при сходе с тротуара. Но он не бывает у вечерни.

Он также не заходит за Альмедой утром по воскресеньям, чтобы идти на службу вместе. Это было бы равносильно официальному объявлению. Он провожает ее из церкви, проходит мимо своих ворот до ее дома; здесь он приподнимает шляпу и удаляется. Она никогда не приглашает его зайти — для одинокой женщины это немыслимо. Если мужчина и женщина (все равно какого возраста) находятся наедине в закрытом помещении, люди имеют право предполагать что угодно. Спонтанное самовозгорание, приступ

страсти, внезапный блуд. Грубый инстинкт, триумф чувственности. Какие же притягательные перспективы видят друг в друге мужчины и женщины, предполагая подобную опасность! И как часто, зная об опасности, должны они думать о перспективах!

Идя рядом с ним, Альмеда обоняет запахи его мыла для бритья, масла для бороды, трубочного табака; мужские запахи кожи, шерсти и льна от его одежды. Правильная, солидная, тяжелая одежда — совсем как та, что Альмеда когда-то чистила, крахмалила и гладила для отца. Она скучает по этой работе — ей не хватает благодарности отца, его мрачной, но благожелательной тирании. Одежда Джарвиса Полтера, его запахи, жесты — от всего этого у Альмеды экстатически покалывает кожу на ближнем к нему боку и кроткая дрожь пробегает по телу, вздыбливая волоски на руках. Значит ли это, что Альмеда в него влюблена? Она грезит, как он входит в ее — их — спальню в кальсонах, нижней рубашке и шляпе. Альмеда знает, что этот наряд нелеп, но в ее грезах он таким не выглядит; Джарвис серьезен и целеустремлен, как бывает во сне. Он входит, ложится на кровать рядом с Альмедой и собирается заключить ее в объятия. Но ведь,

конечно же, он должен для этого снять шляпу? Альмеда не знает — в этот миг ее охватывает радостная покорность, она подавляет вздох наслаждения. Он будет ее мужем.

Она подметила одну черту у замужних женщин: они часто изобретают своих мужей. Приписывают им предпочтения, мнения, диктаторские замашки. О да, говорят они, мой муж чрезвычайно разборчив. Он не приемлет турнепс ни в каком виде. Он в рот не берет жареное мясо. (Или: он в рот не берет ничего, кроме жареного мяса.) Он требует, чтобы я одевалась только в синее (или коричневое). Он терпеть не может органную музыку. Он считает, что женщина, выходя из дому, обязана надеть шляпу. Он убьет меня, если я хоть раз закурю. Так мужчины — растерянные, не глядящие в глаза — подвергаются переделке, и из них выходят мужья, главы семейств. Альмеда Рот не может представить себя в роли жены, переделывающей мужа. Ей нужен муж, не требующий доделок, уже твердый, решительный, загадочный для нее. Она не ищет родную душу. Ей кажется, что мужчины — за исключением ее отца — лишены чего-то важного, некого любопытства. Конечно, это необходимо, иначе они не смогут выполнять свое жизненное предназначение. Вот

сама она, узнав, что под землей лежит соль, стала бы искать способ добыть и продать ее? Вряд ли. Она бы погрузилась в мысли о древнем море. А Джарвис Полтер не тратит время на бесплодные размышления, и совершенно правильно.

Вместо того чтобы зайти за ней утром перед церковной службой, Джарвис Полтер может прибегнуть к другому, более трудоемкому способу объявить о своих чувствах. Он может нанять лошадь и пригласить Альмеду покататься за городом. Если он так сделает, Альмеда будет одновременно рада и огорчена. Рада быть рядом с ним, сидеть в повозке, когда он правит, на виду у всего мира получать знаки его внимания. А огорчена тем, что загородная прогулка для нее пропадет — все застит его беседа, разговоры, интересные только ему. Альмеда много писала о природе в своих стихах, но на самом деле для встречи с природой нужно упорство: требуется преодолеть немало препятствий. Кое на что приходится закрывать глаза. Навозные кучи, конечно. Заболоченные поля, где торчат высокие обугленные пни и лежат огромные вороха срубленных кустов — их спалят, когда выдастся подходящий день. Блуждающие ручейки спрямлены и превращены в канавы с высокими глинистыми берегами.

Поля и пастбища кое-где огорожены большими неуклюжими древесными комлями; другие — изгородями из жердей. Деревья вырублены везде, вплоть до лесных делянок. На всех делянках лес уже порослевый, вторичный. Ни вдоль дорог, ни вокруг ферм деревьев нет — только молодые чахлые саженцы. Видны скопления сараев из неотесанных бревен (огромные амбары, которые будут преобладать в этих полях в ближайшие сто лет, только начали строить), унылые бревенчатые домишки, через каждые четыре-пять миль попадается жалкое село с церковью, школой, лавкой и кузницей. Голая местность, только что выгрызенная у леса, но уже кишащая людьми. На каждой сотне акров стоит ферма, на каждой ферме живет семья, в каждой семье по десять-двенадцать детей. (Отсюда пойдут — уже пошли — волны переселенцев дальше на север и на запад.) Это правда, что по весне на вырубках можно собирать цветы, но сначала надо пробиться через стада рогатых коров.

IV

Но табор снялся с места,
Цыган простыл и след.
Ах, я б поторговалась,
Да ярмарки уж нет.

Альмеда часто страдает бессонницей, и врач дал ей бром и капли от нервов. Она принимает бром, но от капель у нее начались чрезвычайно яркие, пугающие сны, так что она отложила флакон подальше, на самый крайний случай. Она пожаловалась доктору, что у нее глаза сухие, как горячее стекло, и суставы болят. Не читайте так много, сказал доктор, не сидите над книгами; постарайтесь хорошенько утомить себя домашней работой, совершайте моцион. Доктор считает, что все ее проблемы решатся замужеством. Он верит в это, хотя бóльшая часть пациенток, которым он прописывает свои капли от нервов, замужем.

Альмеда устраивает генеральную уборку у себя дома, участвует в уборке церкви, помогает всем подругам, которые переклеивают обои или готовятся к свадьбе, печет свой знаменитый торт для пикника воскресной школы. В одну жаркую

августовскую субботу она решает сварить желе из виноградного сока. Баночка такого желе — прекрасный подарок к Рождеству или приношение больному. Но Альмеда начала слишком поздно, и к концу дня желе еще не готово. Она только что вывалила горячую массу в марлю, чтобы процедить. Альмеда пьет чай с куском кекса, намазанным маслом (детская причуда), и этого ей достаточно для ужина. Она моет голову у раковины и обтирается влажной губкой, готовясь к воскресенью. Лампу она не зажигает. Она ложится на кровать — окно спальни широко распахнуто, Альмеда прикрылась только простыней, и то лишь до пояса. Она чувствует роскошную усталость. Ей даже чудится легкий ветерок.

Она просыпается среди ночи, жаркой, как печь, и полной опасностей. Она лежит на кровати, истекая потом, и ей кажется, что доносящийся шум — скрежет ножей, пил, топоров и все они злобно сверлят, рубят и пилят ее голову. Но это не так. Окончательно проснувшись, Альмеда узнает звуки, которые слышала и раньше, — сумятоху субботней летней ночи на Перл-стрит. Шум обычно связан с дракой. Обитатели квартала пьяны, кто-то из них протестует, кто-то подбадривает дерущихся, кто-то кричит: «Убивают!»

Однажды там и впрямь кого-то убили. Но не в драке. Зарезали старика, обитателя одной из хижин, — вероятно, из-за нескольких долларов, спрятанных у него под тюфяком.

Она встает и подходит к окну. Ночное небо — чистое, безлунное — усыпано яркими звездами. Прямо перед ней, над болотом, висит созвездие Пегаса. Его когда-то показал ей отец. Альмеда машинально пересчитывает звезды. Теперь она различает отдельные голоса в общем гаме. Кого-то из этих людей, как и ее, разбудил шум. «Заткнитесь! — вопят они. — Заткните глотки, а то я сейчас выйду и шкуры-то вам повыдублю!»

Но никто не затыкается. По Перл-стрит словно катится огненный шар, сыпля искрами, — только он не из огня, а из шума; в стороны разлетаются вопли, смех, визг, проклятия. Искры — это взмывающие над ним отдельные голоса. Постепенно Альмеда начинает различать два голоса. Один — плач с подвыванием, который то нарастает, то затихает, а другой — нескончаемый, пульсирующий на низких нотах поток ругательств: слов, которые у нее ассоциируются с опасностью, преступниками, мерзкими запахами и отвратительными зрелищами. Там кого-то бьют, и этот человек кричит: «Убей меня, убей!» Это жен-

щина, женщину бьют. Она непрерывно вопит: «Убей меня, убей меня!» — порой захлебываясь, словно рот наполняется кровью. Но кажется, что она отчасти дразнит, провоцирует. В этом крике есть что-то театральное. А люди кругом кричат: «Не надо, хватит!» или «Убей ее, убей ее!» — охваченные безумием, словно в театре, на спортивном матче или на боксерском поединке. Да, думает Альмеда, я и раньше замечала: все, что они делают, — это отчасти игра в шарады, неуклюжая пародия, преувеличение, пропущенное звено. Словно любые действия — даже убийство — кажутся людям не совсем реальными, но они бессильны остановиться.

Новый звук, бросили что-то тяжелое — стул или доску? — обрушив поленницу или забор. Новые крики — зрителей, застигнутых врасплох; торопливые шаги — это зрители бросились врассыпную, и шум драки стал заметно ближе. Альмеда видит фигуру в светлом платье — она бежит, скрючившись. Это, видно, та женщина. В руке у нее что-то вроде палки или черепицы, она поворачивается и швыряет это в другую фигуру, темную, бегущую следом.

«Лови ее! — кричат вокруг. — Врежь ей хорошенько!»

Многие зрители отстали; только эти двое видны, они сцепляются, борются, снова расцепляются и наконец врезаются в забор Альмеды. Звуки сливаются в какофонию — кто-то давится, блюет, сопит, слышны удары кулаков. Доносится долгий вибрирующий, полузадушенный вопль боли и самоунижения, окончательной капитуляции. Это может быть любой из дерущихся или оба.

Альмеда пятится от окна и садится на кровать. Что она слышала — убийство? Что делать? Что она может сделать? Надо зажечь фонарь, спуститься вниз и зажечь фонарь. И выйти с ним во двор. Она должна спуститься вниз. И выйти во двор. Фонарь. Она падает на кровать и вжимается лицом в подушку. Только минуту. Вниз по лестнице, фонарь. Она видит себя уже внизу, в задней прихожей, рука отодвигает засов задней двери. Альмеда засыпает.

Она просыпается, вздрогнув, в первых утренних лучах. Ей чудится, что на подоконнике сидит большая ворона и неодобрительно, но безо всякого удивления обсуждает события минувшей ночи. «Проснись и передвинь тачку!» — сердито каркает ворона, и Альмеда понимает, что под тачкой имеется в виду что-то совершенно другое — что-то отвратительное и прискорбное. Она

просыпается окончательно и видит, что никакой вороны на подоконнике нет. Она вскакивает и выглядывает в окно.

К ее забору привалился бледный куль — человеческое тело.

Тачка.

Альмеда кутается в шаль поверх ночной рубашки и спускается на первый этаж. В передних комнатах еще полумрак, жалюзи на кухне опущены. Что-то капает — неторопливо, укоризненно: «Плип. Плоп», напоминая ей разговор с вороной. Но это лишь виноградная масса, вывешенная вечером. Альмеда отодвигает засов и выходит в заднюю дверь. За ночь пауки заплели дверной проем паутиной. Мальвы, тяжелые от росы, обвисли. Она доходит до забора, раздвигает липкие мальвы, смотрит вниз и все видит.

Там лежит тело женщины — на боку, извернувшись, лицо вдавлено в землю. Альмеде его не видно. Зато видна выпавшая наружу голая грудь с вытянутым соском — длинным, как у коровы, — голая ляжка и нога. На ляжке синяк — огромный, размером с подсолнух. За пределами синяка кожа сероватая, как сырая ощипанная куриная ножка. Тело одето во что-то вроде ночной сорочки или платья. Пахнет рвотой. Мочой, спиртным

и рвотой.

Босая, в ночной рубашке и тонкой шали, Альмеда бежит прочь. Она огибает дом, спеша между верандой и яблонями в саду; распахивает калитку и несется по Дафферин-стрит к дому Джарвиса Полтера, ближайшего соседа. Долго колотит ладонью в его дверь.

— Там тело женщины, — говорит она, когда Джарвис Полтер наконец открывает. Он в темных брюках с подтяжками, небрит, всклокочен, рубашка полурасстегнута. — Мистер Полтер, простите за беспокойство. Там тело женщины. У моей задней калитки.

Он гневно смотрит на нее:

— Мертвое?

Изо рта у него разит, лицо помятое, глаза в кровавых прожилках.

— Да. Я думаю, ее убили, — говорит Альмеда. Отсюда ей видна часть его неуютной прихожей. Шляпа на стуле. — Я проснулась ночью. На Перл-стрит был шум. — Она старается, чтобы голос звучал не визгливо и не истерично. — Я слышала эту… пару. Слышала, как дерутся мужчина и женщина.

Он берет шляпу со стула, надевает ее. Закрывает и запирает парадную дверь, кладет ключ в

карман. Они идут по тротуару, и Альмеда видит, что она босая. Ей хочется сказать, что это она во всем виновата, что она должна была выбежать с фонарем, закричать (хотя что проку от лишних криков?), отогнать убийцу. Могла бы сбегать за помощью сразу, а не сейчас. Но она сдерживает себя.

Они не входят во двор ее дома, а сворачивают на Перл-стрит. Тело, конечно, лежит на прежнем месте. Скорченное, полуголое — такое же, как раньше.

Джарвис Полтер не торопится, но и не теряет времени. Он подходит прямо к телу, смотрит на него сверху вниз и толкает в ногу носком ботинка — так толкают лежащую собаку или корову.

— Эй, ты, — говорит он негромко, но твердо и снова тычет носком ботинка.

У Альмеды подкатывает к горлу желчь.

— Живая, — констатирует Джарвис Полтер, и женщина это подтверждает. Она шевелится и слабо стонет.

— Я приведу доктора, — говорит Альмеда. Если бы она коснулась этой женщины — сделала бы над собой усилие и коснулась ее, — то не ошиблась бы так.

— Погодите. Погодите. Давайте посмотрим, смо-

жет ли она встать. Ну-ка, вставай, — обращается он к женщине. — Давай-ка. Раз, два, встала.

Тут происходит нечто поразительное. Тело взгромождается на четвереньки, голова приподнимается — волосы все слиплись от крови и блевотины — и начинает размеренно и сильно колотиться о штакетник Альмеды Рот. Колотясь головой, женщина вновь обретает голос, и ее глотку разверзает вопль, мощный и, кажется, полный мучительного наслаждения.

— Она отнюдь не мертва, — говорит Джарвис Полтер. — И я бы не стал беспокоить доктора.

— Но у нее кровь.

Женщина поднимает к ним заляпанное лицо.

— Это из носа. Не свежая.

Он наклоняется и хватается за отвратительные волосы прямо у корней, чтобы прекратить удары головой.

— Ну-ка, перестань. Хватит. Иди-ка ты домой. Иди, иди домой. Там твое место.

Звук, исходящий изо рта, прекратился. Полтер слегка трясет ее голову, предупреждая, и отпускает волосы.

— Ступай домой!

Отпущенная женщина валится вперед и, цепляясь за забор, поднимается на ноги. Она способна

идти. Она плетется прочь, виляя и временами издавая робкие, нечленораздельные звуки протеста. Джарвис Полтер смотрит ей вслед несколько мгновений, чтобы убедиться, что она уходит. Затем срывает большой лопух и вытирает руки.

— Вот он, ваш труп, ушел своими ногами!

Поскольку ворота заднего двора заперты, Полтер и Альмеда обходят участок снаружи. Передняя калитка распахнута. Альмеде все еще нехорошо. Живот у нее раздулся; ей жарко, ее тошнит.

— Передняя дверь заперта, — слабым голосом говорит она. — Я вышла через заднюю.

Только бы он ушел! Она побежит прямиком в уборную. Но он идет за ней. К задней двери, в прихожую. И обращается к ней грубовато-веселым тоном, какого она от него еще ни разу не слышала:

— Не нужно тревожиться. Это всего лишь последствия неумеренности в алкогольных напитках. Одинокой даме не следует жить так близко к опасному кварталу.

Он берет ее за руку чуть выше локтя. Она не может ответить, поблагодарить его. Если она разожмет зубы, ее тут же стошнит.

В этот момент Джарвис Полтер испытывает к Альмеде Рот то, чего не чувствовал во время всех

чинных прогулок и своих собственных раздумий (о вероятном размере ее капитала, ее несомненной респектабельности и удовлетворительной миловидности). Он не мог представить ее в роли жены. А теперь — может. Его в достаточной степени возбудили ее распущенные волосы — рано поседевшие, но густые и мягкие, — раскрасневшееся лицо, тонкая сорочка, в какой ее никто не должен видеть, кроме мужа. А также необдуманность ее поступка, ее испуг, ее глупость, ее нужда в защитнике?

— Я зайду за вами чуть позже, — говорит он. — Я пойду вместе с вами в церковь.

В это воскресенье, утром, на углу улиц Перл и Дафферин одной дамой, проживающей по соседству, было обнаружено тело некой женщины с Перл-стрит; сначала ее сочли мертвой, но потом выяснилось, что она лишь мертвецки пьяна. От блаженного — или не столь блаженного — забытья ее пробудили настойчивые увещевания мистера Полтера, мирового судьи, соседа вышеупомянутой дамы, призванного ею на помощь. Подобные инциденты, позорные и нарушающие покой горожан, в последнее время стали слишком часты.

V

Я во сне, как в морской глубине,
Укрыта темной волной.
Чудовища мимо плывут,
Здороваются со мной.

Как только Джарвис Полтер уходит и слышится стук передней калитки, Альмеда спешит в уборную. Облегчение, однако, неполно; она понимает, что боль и ощущение раздутости живота вызваны приливом менструальной крови, которая еще не начала течь. Альмеда закрывает и запирает заднюю дверь. Затем, вспомнив слова Джарвиса Полтера о церкви, пишет на клочке бумаги: «Я нездорова и желаю сегодня отдохнуть». Бумагу она вставляет под внешнюю раму оконца передней двери. Эту дверь она тоже запирает. Она дрожит, словно перенесла потрясение или избежала большой опасности. Но все же разводит огонь, чтобы заварить чаю. Она кипятит воду, отмеряет чай, заваривает большой чайник, но от пара и запаха настоя ее мутит еще сильнее. Она наливает себе еще не заварившегося чаю и капает в него темное лекарство от нервов. И садится

пить, не поднимая жалюзи на окне кухни. Посреди кухни подвешен между двумя стульями на ручке от швабры марлевый мешок. Виноградный сок и мезга окрасили марлю в багровый цвет. «Плип. Плоп», — капает в тазик. Альмеда не может на это смотреть. Она уносит чашку, чайник и флакон лекарства в столовую.

Она все еще сидит в столовой, когда за окном начинают цокать копыта. Прихожане едут в церковь, поднимая клубы пыли. Скоро дороги станут горячие, как зола. Альмеда все еще сидит в столовой, когда открывается калитка перед домом и по веранде топают уверенные мужские шаги. У Альмеды такой острый слух, что она, кажется, слышит даже, как он достает бумажку из-под рамы, разворачивает, читает, — слышит, как он мысленно произносит написанное. Снова шаги, теперь они удаляются. Хлопает калитка. Альмеда вдруг представляет себе могильные камни, и этот образ ее смешит. Могильные камни маршируют по улице на маленьких ножках, обутых в ботинки, — длинные тела наклонены вперед, лица сосредоточены и серьезны. Звонит церковный колокол.

Потом часы в доме бьют двенадцать. Значит, прошел час.

В доме становится жарко. Альмеда выпивает еще чаю, снова добавив капель. Она знает, что находится под действием лекарства. Это из-за него — такая невыносимая истома, абсолютный ступор, безоговорочная капитуляция перед окружающей обстановкой. Ничего. По-видимому, это необходимо.

Вот обстановка, что ее окружает, — во всяком случае, некоторые предметы: стены, покрытые темно-зелеными обоями с узором из гирлянд; кружевные занавески и плотные бархатные занавеси цвета шелковицы на окнах; стол, на нем связанная крючком скатерть, на скатерти ваза с восковыми фруктами; розово-серый ковер с узором из букетов голубых и розовых роз; буфет, устеленный вышитыми дорожками, в нем стоят узорчатые тарелки, кувшины и серебряный чайный сервиз. Много вещей, и за всеми нужно следить. Ибо каждый узор, каждый орнамент полон жизни — готов двигаться, течь, меняться. А может быть, и взорваться. Весь день Альмеда Рот занята тем, что следит за ними. Не чтобы помешать изменениям, но желая уловить их, понять, стать их частью. В комнате столько всего происходит, что нет необходимости ее покидать. Даже мысли такой не возникает — ее покинуть.

Конечно, Альмеда в своих наблюдениях не может обойтись без слов. Она может думать, что может, но на самом деле не может. Скоро набухающие, светящиеся узоры начинают подсказывать ей слова — не то чтобы конкретные слова, но поток слов, который изливается где-то и вот-вот должен ей открыться. Даже поток стихов. Да-да, стихов. Или одного стихотворения. Вот то, что нужно, — одна большая поэма, великая поэма, в которой будет всё; о, в сравнении с ней все прочие стихи, всё написанное Альмедой раньше, покажется неважным, пробой пера, маранием бумажек. Звезды, цветы, птицы, деревья, ангелы в снегу, мертвые дети в сумерках — этого далеко не достаточно. Туда необходимо вставить и отвратительную драку на Перл-стрит, и начищенный носок ботинка Джарвиса Полтера, и ощипанное бедро с синяком-подсолнухом. Альмеда уже ушла за пределы человеческого сочувствия, страхов, стремления к домашнему уюту. Она не думает о том, как можно помочь этой женщине или как держать ужин подогретым для Джарвиса Полтера и развешивать его постиранные кальсоны. Виноградный сок перелился через край таза на пол кухни, пятная доски пола. Это пятно уже ничем не вывести.

Ей приходится думать о стольких вещах сразу: о Шамплене, и голых индейцах, и соли глубоко под землей, но кроме соли — еще и о деньгах, о стремлении сделать деньги, вечно зреющем в головах у таких людей, как Джарвис Полтер. И о свирепых зимних метелях, и о тьме невежества, царящей на Перл-стрит. Перемены климата безжалостны, и, если вдуматься, покоя не найти даже в звездах. Все это можно вынести, только если направить в нужное русло, русло поэмы, и слово «русло» тут очень подходит, ведь поэма будет называться — уже называется — «Менстанг». Название поэмы — название реки. Нет, точнее будет сказать, что река, сама река Менстанг, и есть ее поэма — со всеми глубинами, стремнинами, тихими заводями под летними деревьями, скрежещущими глыбами льда по весне, опустошительными весенними разливами. Альмеда заглядывает глубоко, очень глубоко в свою мысленную реку и в скатерть и видит, как плывут по поверхности вязанные крючком розы. Эти розы работы ее матери выглядят нелепо — какие-то комки, совсем не похожи на настоящие цветы. Но то, что они сделали над собой усилие, обрели независимость, плывут, наслаждаются жизнью при всей своей нелепости, приводит Альмеду в

восхищение. Это — знак, вселяющий надежду. «Менстанг».

Она выходит из комнаты только в сумерки — снова в уборную, где обнаруживает кровь: месячные начались. Надо пойти, взять полотенце, пристегнуть гигиеническим поясом, затянуть лямки. Альмеде раньше не приходилось проводить целый день в ночной рубашке — разве что во время болезни. Ее это не особенно беспокоит. По дороге через кухню она вступает в лужу виноградного сока. Она знает, что лужу рано или поздно придется вытереть, но это подождет. Она идет наверх, оставляя багровые отпечатки, обоняя собственную сбежавшую кровь и потное тело, просидевшее весь день в закрытой душной комнате.

Не нужно тревожиться.

Потому что она, конечно же, не думает, что вывязанные крючком розы могут плавать, а могильные камни — маршировать по улице. Она не путает это с реальностью, и вообще ничего не путает с реальностью, и потому знает, что она не сумасшедшая.

VI

Я вижу вас во сне и навещаю днем,
Но вы молчите так сурово.
О матушка, отец, сестра и брат,
Молю, скажите мне хоть слово!

22 апреля 1903 года. В прошлый вторник между тремя и четырьмя часами пополудни скончалась в своей резиденции дама весьма талантливая и утонченная, чье перо в былые дни обогатило местную литературу томиком выразительных, прочувствованных стихов. Очень прискорбно, что в последние годы рассудок этой дамы несколько помутился и она стала вести себя отчасти необычно и вызывающе. Она начала уделять меньше внимания приличиям и уходу за собственной персоной — до такой степени, что стала примелькавшейся эксцентричной фигурой или даже, прискорбно сказать, посмешищем для тех, кто не помнил о ее былом достоинстве и изяществе. Но теперь все недостатки исчезают из памяти, и остаются лишь ее прекрасные опубликованные стихи, ее труды в воскресной школе, ее самоотверженный уход за родителями, благородный

женственный характер, попечение о бедных и непоколебимая вера в Бога. Ее последняя болезнь оказалась милосердно короткой. Она простудилась, забредя в трясину Перл-стрит и промокнув до нитки. (Ходят слухи, что в воду ее загнали уличные мальчишки, и, увы, это предположение нельзя сбрасывать со счетов, ибо отчаянная жестокость некоторых наших юнцов известна, как известно и то, что им доводилось преследовать указанную даму.) Началось воспаление легких, и она умерла. С ней до конца находилась ее бывшая соседка, миссис Берт (Энни) Фрилс, ставшая свидетельницей ее безмятежной, подлинно христианской кончины.

Январь 1904 года. Один из столпов нашего сообщества, живший в городе почти со дня основания и во многом определивший его облик, был внезапно вырван из наших рядов — в прошлый понедельник, когда просматривал корреспонденцию в конторе своей компании. Мистеру Джарвису Полтеру был свойствен живой и энергичный дух предпринимательства, благодаря которому возникло даже не одно, а несколько местных предприятий, обогатив наш город всеми преимуществами развитой промышленности и рабочими местами.

Газета «Страж» постоянно бдит — словоохотливая, уверенная в себе. Ни одна смерть не останется без упоминания. Ни одна жизнь — без оценки.

Я искала Альмеду Рот на кладбище. Я нашла семейное надгробие. На нем была только фамилия: «Рот». Потом я заметила на земле, в нескольких — в шести? — футах от стоячего надгробия две плоские плиты. На одной было написано «Папа», на другой — «Мама». Чуть дальше нашлись еще две плиты, с именами Уильяма и Кэтрин. Камень Кэтрин заплыл землей и зарос травой — пришлось расчищать его, чтобы полностью прочитать ее имя. Ни дат рождения и смерти, ни указания на то, что покойники были горячо любимы. Эти камни устанавливались как памятные знаки для себя, а не для мира. Роз тоже не было — никаких следов розового куста. Но, может быть, его выкорчевали. Кладбищенский смотритель не любит подобных вещей — кусты мешают проезду газонокосилки, — и, если некому протестовать, он их убирает.

А может быть, Альмеда похоронена где-то еще. Когда покупался участок на кладбище — после смерти двух младших детей, — еще ожидалось, что она выйдет замуж и на вечный сон уляжется рядом с мужем. Возможно, здесь просто не

предусмотрели для нее места. Но тут я увидела, что камни расходятся от надгробия веером: два родительских, потом два детских, но детские расположены так, что остается место для третьего, завершающего «веер». Я прошла от камня Кэтрин столько же шагов, сколько было от Кэтрин до Уильяма, и стала дергать траву и голыми руками царапать землю на этом месте. Вскоре я наткнулась на камень и поняла, что была права. Я продолжала работу, и вскоре очистила камень полностью, и прочитала на нем имя: «Меда».

Я проверила, точно ли теперь виден весь камень. Больше никаких букв на нем не было. Значит, ее в самом деле так звали родные. Не только в стихотворении. А может, она взяла это имя из стихотворения и завещала выбить его на своем камне.

Я задумалась о том, что никто в мире, кроме меня, не знает этого, не догадается связать одно с другим. И я последняя, кто смог это сделать. Но, возможно, я и ошибаюсь. Люди любопытны. Любопытных людей мало, но они есть. Они стремятся все разузнать, даже самые неважные мелочи. Они все сопоставят. Вы их видели — они бегают с записными книжками, соскребают землю с надгробий, читают микрофильмы, наде-

ясь уловить тонкую струйку в потоке времени, связать одно с другим, спасти единственную безделушку из мусорной кучи.

Но и они, бывает, ошибаются. Может, и мои догадки неправильны. Я не знаю, принимала ли она лауданум. Многие дамы его принимали. Я не знаю, варила ли она вообще желе из винограда.

Держи меня, не отпускай

Развалины «Лесной церкви». Старое кладбище, здесь в 1298 году Уильяма Уоллеса провозгласили Хранителем Шотландии.

Здание суда, где вершил суд сэр Вальтер Скотт в 1799–1832. Филипхо? 1945.

Серый город. Какой-то старый серый камень, как в Эдинбурге. И еще серовато-бурая штукатурка, более новая. Библиотека в здании бывшей тюрьмы (острога).

Высокие холмы вокруг, даже, скорее, низкие горы. Цвета — бежевый, сиреневый, серый. Темные пятна — похоже, сосновые рощи. Лесопосадки? Лес на краю города — дубы, буки, березы, остролист. Листья уже осенние, коричневые и золотые. Солнце светит, но ветер резкий и влажный, словно из подземелья. Речка симпатичная, чистая.

Один могильный камень совсем ушел в землю, покосился, ни имени, ни даты, только череп и кости. Мимо идут девушки с розовыми волосами, курят.

Хейзел вычеркнула «вершил суд» и вписала «отправлял правосудие». Потом вычеркнула

«сиреневый» — ей показалось, что это слово слишком сентиментально для суровой красоты холмов. Она не придумала, что вписать вместо него.

Она нажала кнопку у камина, желая заказать выпивку, но никто не пришел.

Хейзел мерзла в этой комнате. Когда она заселялась в «Королевский отель» — сегодня днем, — женщина с начесом из золотых волос и гладким треугольным лицом оглядела ее с головы до ног, сообщила время ужина и направила в гостиную на втором этаже, намекнув таким образом, что в жарком и шумном пабе на первом этаже Хейзел не место. Интересно, подумала Хейзел, значит ли это, что постоялицам отеля, порядочным женщинам, не положено посещать паб? Или наоборот, ее, Хейзел, сочли недостаточно респектабельной? Она была в вельветовых брюках, теннисных туфлях и ветровке. Женщина с золотыми волосами — в аккуратном голубом костюме с золотыми пуговицами, тонких белых колготках и туфлях на каблуках, в которых Хейзел умерла бы через полчаса. Хейзел пошла на прогулку и гуляла часа два. Вернувшись, она подумала, не надеть ли свое единственное платье, но решила, что не позволит собой помыкать. Она все же переоделась — в

черные бархатные брюки и шелковую рубашку, чтобы соблюсти приличия. Еще она расчесала и заново уложила волосы, когда-то светлые, теперь полуседые и такие тонкие, что они наэлектризовались от ветра.

Хейзел — вдова, за пятьдесят, школьная учительница биологии в городке Уэлли, в провинции Онтарио. Сейчас она в годичном отпуске. Она из тех женщин, которых можно встретить в любом чуждом для них уголке мира и совершенно не удивиться, — вот она сидит и строчит в блокнотике, чтобы справиться с паникой. Хейзел знала, что по утрам, как правило, настроена оптимистично, а вот по вечерам склонна паниковать. Это не имело никакого отношения к деньгам, билетам, гостиницам и другим проблемам, которые могут возникнуть в путешествии. Нет, ее паника была связана с утерей цели и вопросом: «Что я здесь делаю?» Этим вопросом можно задаться и дома — некоторые так и поступают, — но дома, как правило, его заглушает обыденная суета.

Тут Хейзел заметила дату, которую поставила возле слова «Филипхо»: «1945». Вместо «1645». Она подумала, что, должно быть, написала так под влиянием этой комнаты. Окна из стеклоблоков, бордовый ковер со спиральным узором, кретоно-

вые занавески с красными цветами и зелеными листьями на бежевом фоне. Прямоугольная, пыльная, темная мягкая мебель. Торшеры. Похоже, обстановка не изменилась с тех пор, как Джек, муж Хейзел, бывал в этом отеле во время войны. Наверно, тогда в очаге что-нибудь горело — газ или настоящий огонь, угли на решетке. Теперь очаг пустовал. И пианино, вероятно, было без чехла, и его регулярно настраивали — для танцев. А может, у них был граммофон и пластинки на 78 оборотов. Гостиную заполняли солдаты и девушки. Хейзел представила себе этих девушек с накрашенными темно-красными губами и завитыми кудряшками, одетых в свои лучшие крепдешиновые платья (вырез сердечком или отстежной белый кружевной воротничок). Военная форма мужчин была жесткая, царапала девушкам щеки и голые руки. От нее шел запах — кислый, с дымком, возбуждающий. Хейзел было пятнадцать лет, когда кончилась война, так что она успела побывать лишь на немногих вечеринках подобного сорта. Даже если ей удавалось туда попасть, ее не принимали всерьез, и ей приходилось танцевать с другими девочками, в лучшем случае со старшим братом подруги. Так что запах и текстуру военной формы она, скорее

всего, просто вообразила.

Уэлли — городок-порт на озере. Хейзел выросла там, и Джек тоже, но она его то ли ни разу не видела, то ли не запоминала при встречах, пока он не пришел однажды на танцы в школе, провожая учительницу английского, которая должна была следить, чтобы молодежь хорошо себя вела. Хейзел тогда было семнадцать лет. Когда Джек танцевал с ней, она так нервничала и волновалась, что ее трясло. Он спросил ее, в чем дело, и ей пришлось сказать, что у нее, кажется, начинается грипп. Джек договорился с учительницей английского и отвел Хейзел домой.

Они поженились, когда Хейзел исполнилось восемнадцать. За первые четыре года брака у них родилось трое детей. После — ни одного. (Джек любил говорить приятелям, что в этот момент Хейзел догадалась, отчего получаются дети.) Демобилизовавшись из ВВС, Джек пошел работать в компанию по продаже и ремонту бытовой техники. Компанию держал его приятель, которого не посылали воевать в Европу. Джек проработал там до дня своей смерти. Конечно, ему приходилось изучать новые приборы, например микроволновые печи.

После пятнадцати лет брака Хейзел начала

ходить на курсы, восполняющие то, что она недоучила в школе. Потом поступила на очное обучение в колледж и ездила туда каждый день — пятьдесят миль в одну сторону. Получила диплом и стала учительницей, как собиралась до замужества.

Джек наверняка бывал в этой гостиной. Очень вероятно, что он смотрел на эти занавески, сидел в этом кресле.

Наконец вошел мужчина и спросил, что Хейзел будет пить.

Шотландский виски, сказала она. Он улыбнулся:

— Достаточно просто «виски».

Ну конечно. Она в Шотландии, здесь не нужно специально просить шотландское.

Воинская часть Джека стояла возле Уолверхэмптона, но в отпуск он приезжал сюда. Сначала искать свою единственную родственницу в Британии, кузину матери, некую Маргарет Доби, а потом — навещать ее. Она была не замужем и жила одна. Тогда она была средних лет, значит сейчас очень стара, если вообще еще жива. Вернувшись домой, Джек потерял ее из виду — он был не любитель писать письма. Но он рассказывал о ней, и Хейзел нашла ее имя и адрес, когда

разбирала его вещи. Она написала Маргарет Доби, что Джек умер и что он часто вспоминал свои поездки в Шотландию. Письмо осталось без ответа.

Джек и эта кузина, видимо, пришлись друг другу по душе. Он ночевал у нее — в большом, непротопленном, неухоженном доме, на холмистом наделе фермы, где Маргарет жила с собаками и овцами. Он брал у нее мотоцикл и катался по округе. Он ездил в город, в этот самый отель, чтобы пить, заводить приятелей среди других солдат или драться с ними, ухаживать за девушками. Здесь он встретил дочь хозяина гостиницы, Антуанетту.

Антуанетте было шестнадцать — ее еще не пускали ни на вечеринки, ни в бар. Она тайком бегала к Джеку — свидания на задворках отеля, прогулки вдоль реки. Восхитительная, легкомысленная, мягкосердечная, ветреная девица. «Малютка Антуанетта». Джек говорил о ней с Хейзел и с другими в присутствии Хейзел — так легко, словно знал Антуанетту не в другой стране, а на другой планете. «Твоя булочка-блондинка», — прозвала ее Хейзел. Она представляла себе Антуанетту в чем-то вроде мягкой шерстяной пастельной пижамы и думала, что у нее, наверно,

шелковистые детские волосы и мягкий, словно припухший от поцелуев, рот.

Хейзел тоже была блондинкой, когда познакомилась с Джеком, но ее нельзя было назвать легкомысленной. Она была застенчивой, умной недотрогой. Ее ум не раздражал Джека, в отличие от большинства мужчин, а со всем остальным он быстро справился. То, что она умна, его просто забавляло.

Вернулся давешний собеседник с подносом. На подносе стояли два стакана виски и кувшин с водой.

Он подал напиток Хейзел, а другой стакан взял сам. И уселся в кресло напротив нее.

Значит, это не бармен. Это просто незнакомец, который купил ей виски. Она запротестовала:

— Я позвонила в звонок. Я думала, вы пришли, потому что я позвонила.

— От этого звонка толку никакого, — довольным голосом ответил он. — Нет. Антуанетта сказала, что посадила вас сюда, и я подумал, зайду-ка да спрошу, не хотите ли вы чего-нибудь выпить.

Антуанетта.

— Антуанетта. Это та дама, с которой я беседовала сегодня днем?

Внутри у нее что-то оборвалось: то ли сердце, то ли желудок, то ли дух — что там обычно падает или уходит в пятки.

— Антуанетта, — повторил он. — Это она самая.

— И она управляет отелем?

— Она владелица.

Хейзел думала, что все будет ровно наоборот. Она ожидала, что все уехали куда-нибудь, все здания снесли и всё исчезло без следа. Ничего подобного. Первый же человек, с которым она говорила сегодня днем, оказался Антуанеттой.

Впрочем, она должна, обязана была догадаться, что такая аккуратная женщина, как Антуанетта, не стала бы держать этого типа на должности бармена. Достаточно посмотреть на его мешковатые коричневые штаны и дыру, прожженную в пуловере. Под пуловером — видавшие виды рубашка и галстук. Но мужчина не казался неухоженным, опустившимся. Наоборот, он выглядел как человек, достаточно независимый, чтобы позволить себе легкую небрежность в одежде. Коренастое сильное тело, квадратное красное лицо, пушистые белые волосы окаймляют лоб энергичной щеткой. Мужчина явно обрадовался, что Хейзел приняла его за бармена, — словно ему удалось

сыграть с ней шутку. Будь он ее учеником, она бы мысленно отметила его как возможный источник проблем — не драчун, не отстающий, а умный нахал; такие обычно сидят подальше от учителя и подают невинные на первый взгляд реплики. Безобидная с виду, хитрая, упорная подрывная деятельность — подобное труднее всего пресечь в классе. Вот что вам нужно делать, говорила Хейзел учителям — молодым, неопытным или просто более робким, чем она сама. Найдите какое-нибудь приложение его мозгам. Чтобы ум стал орудием, а не игрушкой. Они скучают оттого, что их мозг не занят.

Но что ей за дело до этого человека? Весь мир — не классная комната. Я тебя раскусила, но не обязана ничего по этому поводу предпринимать, мысленно сказала она.

Она думает о нем, чтобы отвлечься от мыслей об Антуанетте.

Он сказал, что его зовут Дадли Браун и что он поверенный в делах. Еще он сказал, что живет здесь (она решила — это значит «здесь, в отеле») и что его контора находится по соседству на этой же улице. Постоянный жилец отеля — значит вдовец или холостяк. Она решила, что холостяк. В глазах у него мерцала искорка, острая нотка до-

вольства жизнью — у женатых это, как правило, быстро проходит.

Он явно не воевал — слишком молод, несмотря на седину.

— Значит, вы приехали сюда в поисках корней? — Последнее слово он произнес с нарочито американским акцентом.

— Я из Канады, — ответила Хейзел с подчеркнутой любезностью. — Мы не так произносим это слово.

— А, прошу прощения. Боюсь, мы к этому склонны. Мы валим вас всех в одну кучу, вас и американцев.

И тут она принялась рассказывать ему, зачем она здесь. Почему бы и нет? Она рассказала, что ее муж бывал здесь во время войны и что они всегда собирались приехать сюда вместе, но так и не собрались, а потом муж умер, и вот теперь она приехала одна. Это была лишь наполовину правда. Хейзел все время предлагала Джеку сюда съездить, но он всегда отказывался. Она думала, что это из-за нее, что он не хочет ехать сюда с ней. Долгое время принимала это слишком близко к сердцу. А Джек, скорее всего, подразумевал ровно то, что сказал: «Нет, это будет не то же самое».

Но он ошибался, если имел в виду, что не найдет

своих прежних знакомых. Дадли Браун спросил, как звали местную кузину Джека, и Хейзел ответила:

— Маргарет Доби, но она, скорее всего, уже умерла.

Дадли помотал головой и засмеялся:

— О нет, никоим образом, отнюдь нет. Маргарет Доби живехонька. Конечно, она очень старая, но, по-моему, и не думает умирать. Живет на том же наделе, что и всегда, только в другом доме. Она еще вполне крепкая.

— Она не ответила на мое письмо.

— А. Это на нее похоже.

— Но тогда, наверно, она и гостей не принимает?

Хейзел почти хотелось услышать «нет». «К сожалению, мисс Доби стала затворницей. Нет, никаких гостей». Но почему? Она ведь именно за этим приехала в такую даль.

— Ну, если бы вы явились сама по себе, я не знаю, это одно дело, — сказал Дадли Браун. — Кто знает, как она на это посмотрела бы. Но если я позвоню и расскажу ей о вас, а потом мы туда съездим, я думаю, она вас с радостью примет. Хотите? Туда и дорога очень красивая. Выберите любой день, когда не будет дождя.

— Это чрезвычайно любезно с вашей стороны.
— А, туда совсем недалеко ехать.

В столовой Дадли Браун сидел и ел за одним столиком, а Хейзел — за другим. Столовая была хорошенькая, стены выкрашены в синий цвет, глубоко посаженные окна выходили на городскую площадь. Здесь не было ни капли той мрачности, которая ощущалась в гостиной. Еду подавала Антуанетта. Она подносила овощи на серебряных сервировочных блюдах и накладывала их какими-то затейливыми приборами. Она держалась очень корректно, даже высокомерно. Когда она не обслуживала обедающих, то стояла у буфета — с прямой спиной, начеку, волосы жесткие от лака, словно затянутые в сетку, костюм непорочно чист, ноги стройные, ступни совсем не распухли от ходьбы на высоких каблуках.

Дадли сказал, что не будет есть рыбу. Хейзел тоже от нее отказалась.

— Вот видишь, даже американцы, даже американцы не едят эту мороженую гадость, — сказал Дадли. — А ведь казалось бы, они должны быть к ней привычные, у них вся еда замороженная.

— Я канадка. — Хейзел ждала, что он извинится, ведь она уже говорила ему об этом. Но ни он, ни Антуанетта не обратили на нее никакого

внимания. Они принялись спорить привычно-раздраженным тоном — можно было подумать, что они давно женаты.

— Ну а я ничего другого не стану есть. Я в рот не возьму рыбу, если она не была мороженая. И гостям не стану подавать. Может, в прежние времена это было ничего, когда в воде не было столько химии, столько загрязнения. Теперь в рыбе так много всяких вредных элементов, что от них можно избавиться только заморозкой. Верно ведь? — Антуанетта посмотрела на Хейзел, включая ее в разговор. — В Америке такие вещи понимают.

— Я просто хотела мясо, а не рыбу, — сказала Хейзел.

— Поэтому рыбу можно есть, только если она была мороженая, — Антуанетта не обратила на ее слова ни малейшего внимания. — И еще одно: всю лучшую рыбу отбирают для заморозки. То, что остается — отбросы, их-то и продают в свежем виде.

— Ну тогда мне подавай отбросы, — сказал Дадли. — А насчет химии — я рискну.

— Ну и глупо. Я немороженую рыбу и в рот не возьму.

— Ты попробуй достань ее сначала. В этих-то

местах.

Пока звучали эти декреты касательно рыбы, Дадли Браун раза два встретился глазами с Хейзел. Лицо у него было совершенно серьезно, и эта серьезность яснее любой ухмылки выдавала привычную смесь обожания и презрения. Хейзел все глядела на костюм Антуанетты. Он напомнил ей Джоан Кроуфорд. Не фасоном, а идеальным состоянием. Много лет назад Хейзел читала интервью с Джоан Кроуфорд — актриса делилась маленькими хитростями по уходу за волосами, одеждой, обувью, ногтями, чтобы они все время были идеальны. Там что-то было про глажку швов. Никогда не гладьте швы вразутюжку. Похоже, Антуанетта из тех, у кого все это налажено до последней мелочи.

Хейзел, конечно, не думала найти здесь все ту же Антуанетту — ребячливое, шаловливое, прелестное дитя. Даже наоборот. Она воображала — с немалым удовлетворением — оплывшую женщину со вставной челюстью. (Джек часто вспоминал привычку Антуанетты кидать в рот карамельки в промежутках между поцелуями: ему приходилось ждать, пока рассосутся последние остатки сладости.) Благодушная, болтливая, суетливая, банальная старушонка, ковыляющая

вперевалку, — вот какой ожидала Хейзел увидеть Антуанетту. А увидела поджарую, зоркую, глупо-хитрую женщину, накрашенную, наляченную, сохранившуюся — будто под завязку напичканную консервантами. И притом высокую. Пожалуй, ее и в шестнадцать лет вряд ли можно было назвать булочкой.

Но сколько осталось в самой Хейзел от девочки, которую Джек тогда повел домой с танцев? Что осталось от Хейзел Джудри, бледной, писклявой, собиравшей светлые волосы в хвостики двумя заколками в виде розовых целлулоидных бантов, — в Хейзел Кертис? Хейзел тоже была худая, но жилистая, а не хрупкая, как Антуанетта. И мускулистая — от работы в саду, походов, лыжных забегов. Еще от этих занятий у нее высохла, огрубела и покрылась морщинками кожа. И однажды Хейзел просто перестала страдать по этому поводу. Она выбросила все разноцветные кремы, карандаши и волшебные мази, купленные в приступе бравады или отчаяния. Она отпустила волосы — пусть растут какого хотят цвета — и стала закалывать их в узел на затылке. Она взломала скорлупу своей — все более шаткой и все дороже обходящейся — миловидности и вышла на волю. Причем это случилось за много лет до

смерти Джека. Это имело какое-то отношение к тому, что она взяла свою жизнь в свои руки. И другим настойчиво советовала сделать то же самое. Она призывает к действию, активности, целенаправленности. Она охотно рассказывает, что в возрасте тридцати с чем-то лет пережила, как тогда это называлось, нервный срыв. Почти два месяца она не могла выйти из дому. Она раскрашивала картинки в детских книжках-раскрасках. Это было единственное посильное для нее занятие, позволяющее побороть страх и беспредметную скорбь. Потом она взяла себя в руки. И послала за каталогами учебных курсов. Как ей удалось превозмочь себя? Она не знает. Она вынуждена отвечать, что не знает. Она признаётся, что, может быть, ей просто наскучило. Надоело быть развалиной.

Она знает (но собеседникам не говорит), что тогда, встав с кровати, оставила позади часть себя. Возможно, как раз ту часть, которая имела отношение к Джеку. Она тогда не думала, что расстается с этой частью навсегда. И в любом случае у нее не было другого выхода.

Доев ростбиф и овощи, Дадли внезапно встал. Он кивнул Хейзел и сказал Антуанетте:

— Я пошел, детка.

Неужели он правда сказал «детка»? В любом случае слово прозвучало саркастически, как и должны были звучать любые ласковые слова между ним и Антуанеттой. Может быть, он сказал «дева». Здешние жители используют это обращение. Водитель автобуса, на котором Хейзел сегодня ехала из Эдинбурга, назвал ее так.

Антуанетта подала Хейзел абрикосовый флан и тут же принялась выкладывать всю подноготную о Дадли. А еще говорят, что британцы очень замкнутые, — Хейзел знала об этом, по крайней мере, из книг, хотя Джек такого не рассказывал. Значит, они далеко не всегда такие.

— Он пошел повидаться с матерью, пока ее не уложили, — сказала Антуанетта. — В воскресенье вечером он всегда уходит домой рано.

— Разве он здесь не живет? — спросила Хейзел. — То есть в отеле?

— Он что, сказал так? Не мог он такого сказать. У него собственный дом. Замечательный дом. Он там живет, вместе с матерью. Она теперь все время лежит — она из тех, за которыми нужен уход сверху донизу. Он пригласил к ней ночную сиделку, и дневную тоже. Но всегда заходит к ней поболтать в воскресенье вечером, хоть она его и не узнаёт теперь. Он, наверно, имел в виду,

что питается тут, в отеле. Не может же он сиделку заставлять ему готовить. Да она и не станет. Нынешние сиделки не делают ничего сверх. Они требуют, чтобы им перечислили их обязанности, и сверх того пальцем не шевельнут. И с тутошней прислугой та же история. Если им скажешь подмести пол, но не скажешь убрать потом щетку, они ее так и бросят на полу.

Пора, подумала Хейзел. Если сейчас не сказать, потом уже точно не получится.

— Мой муж бывал здесь, в отеле. Он приезжал сюда во время войны.

— Ну, это было давно. Вам кофе сейчас принести?

— Да, пожалуйста. Он приезжал сюда, потому что здесь жила его родственница. Некая мисс Доби. Мистер Браун, кажется, ее знает.

— Она весьма преклонных лет, — сказала Антуанетта — как показалось Хейзел, неодобрительно. — Она живет далеко отсюда, вверх по долине.

— Моего мужа звали Джек. — Хейзел подождала, но ответа не последовало.

Кофе оказался мерзким, и это ее удивило, потому что вся остальная еда была очень хороша.

— Джек Кертис, — продолжала она. — Девичья

фамилия его матери была Доби. Он приезжал сюда в увольнение и останавливался у этой родственницы, а по вечерам бывал в городе. Он приходил сюда, в «Королевский отель».

— Здесь было оживленно во время войны, — сказала Антуанетта. — Во всяком случае, мне так говорили.

— Он часто рассказывал про «Королевский отель» и вас упоминал. Я удивилась, услышав ваше имя. Я не думала, что вы все еще будете здесь.

— Я не жила тут все это время. — Антуанетта произнесла это так, словно само предположение было оскорбительным. — Я жила в Англии, пока была замужем. Оттого я и говорю не по-здешнему.

— Мой муж умер. Он рассказывал про вас. Что ваш отец был хозяином отеля. И что вы были блондинкой.

— Я до сих пор блондинка. У меня волосы всегда были точно такого цвета, как сейчас; я никогда с ними ничего не делала. Я плохо помню военные годы. Я была совсем масенькая. По-моему, я даже еще не родилась, когда началась война. Когда она началась? Я с сорокового.

Два вранья одним духом, можно не сомневаться. Откровенная, гладкая, намеренная ложь. Но

откуда знать, врет ли Антуанетта, что не помнит Джека? У нее нет выбора — ведь наверняка она всем постоянно рассказывает, что родилась только в сороковом.

Следующие три дня шел дождь — то начинался, то переставал. В просветах Хейзел гуляла по городу, глядя на разбухшие кочны капусты в огородах, оконные занавесочки в цветочек, без подкладки, и даже вазы с восковыми фруктами в тесных, вылизанных до блеска гостиных. Хейзел словно думала, что невидима, — так откровенно она замедляла шаг и заглядывала в окна. Она привыкала к домам, стоящим по линеечке. С поворота улицы мог внезапно открыться потрясающий вид на холмы в туманной дымке. Хейзел гуляла вдоль реки и забрела в лес, где росли одни только буки. У них была кора как слоновья шкура и сучки, похожие на подпухшие глаза. Воздух в лесу был напоен каким-то сероватым светом.

Когда шел дождь, Хейзел сидела в библиотеке и читала книги по истории. Она читала о старых монастырях, когда-то стоявших здесь, в графстве Селькирк, о королях, об их владении — Королевском лесе и о стычках с англичанами. Битва при Флоддене. Хейзел немного подготовилась — дома перед отъездом она штудировала «Британскую

энциклопедию». Она знала, кто такой Уильям Уоллес, и еще — что Макбет убил Дункана в честном поединке, а не в постели.

Каждый вечер перед ужином Дадли и Хейзел теперь выпивали по стаканчику виски в гостиной. Перед камином поставили электрический обогреватель. После ужина к ним присоединялась Антуанетта. Они втроем пили кофе. Чуть позже Дадли и Хейзел выпивали еще по стаканчику виски. Антуанетта смотрела телевизор.

— Какая длинная история у этой страны, — вежливо сказала Хейзел. Она пересказывала Дадли часть прочитанного и увиденного. — Когда я впервые увидела название «Филипхо» на вон том здании, через улицу, я не знала, что это означает.

— Раздор родился в Филипхо[3]. — Дадли явно цитировал откуда-то. — А теперь знаете?

— Ковенантеры, — ответила Хейзел.

— А вы знаете, что случилось после битвы при Филипхо? Ковенантеры повесили всех пленных. Прямо здесь, на главной площади, под окнами нашей столовой. А потом перебили всех женщин и детей прямо на поле. С армией Монтроза

---

[3] Примечания: 3

«Раздор родился в Филипхо...» — начало шотландской народной баллады («Баллады Чайлда», № 202A).

путешествовало много семей, потому что в ней служило много ирландских наемников. Конечно, они были католики. Нет, их не всех перебили. Кое-кого отправили под конвоем в Эдинбург. Но по дороге решили отправить в реку с моста.

Все это говорилось добродушно, с улыбкой. Хейзел и раньше видывала такую улыбку, но не могла понять, что она означает. Может, если человек так улыбается, он тебя подначивает — не верить, не признавать, не соглашаться, что жизнь такова и такой пребудет вовеки?

С Джеком трудно было спорить. Он терпел всевозможные глупости от клиентов, детей и, вероятно, самой Хейзел. Но каждый год в День памяти павших он выходил из себя, потому что местная газета печатала очередную скорбную статью про войну.

«В войне выигравших не бывает», — гласил заголовок одной из таких статей. Джек шваркнул газетой об пол:

— Господи Исусе! Неужели они думают, было бы все равно, если бы Гитлер победил?

Еще он сердился, когда видел по телевизору очередной марш мира. Хотя и не говорил ничего — только шипел, глядя на экран, как человек, доведенный до крайности, но держащий себя в

руках. Насколько Хейзел могла понять, он считал, что куча народа — в основном женщин, но и мужчин тоже, со временем их становилось все больше — сговорилась очернить время, которое он считал лучшей порой своей жизни. Эти люди все портили — благочестивым покаянием в грехах, порицаниями и немалой долей откровенной лжи. Никто из них не хотел признать, что на войне иногда бывает весело. Даже в Канадском легионе войну было принято вспоминать с унылым лицом; уже не полагалось говорить, что это были твои лучшие годы и ты не пропустил бы их ни за какие коврижки.

Когда Хейзел и Джек только поженились, они ходили на танцы, в Канадский легион или просто в гости к другим парам, и рано или поздно мужчины начинали вспоминать войну. Джек рассказывал не больше и не дольше других, и в его рассказах война не была одним сплошным подвигом, где ежеминутно приходилось смотреть смерти в лицо. Он обычно травил байки о каких-нибудь забавных случаях. Но тогда он стоял выше всех — ведь на фронте он был пилотом бомбардировщика; мало кто так купался в уважении и восхищении, как они. Он отлетал два полных срока, то есть совершил пятьдесят боевых

вылетов. Даже женщины знали, что это значит.

Хейзел сидела тогда с другими молодыми женами, и они слушали, смиренные и гордые, и еще — с головой, затуманенной от страсти (Хейзел, во всяком случае). Их мужья были туго налиты подлинной мужественностью. Хейзел жалела женщин, вынужденных довольствоваться менее достойными спутниками жизни.

Лет через десять-пятнадцать те же самые женщины сидели с застывшими лицами, переглядывались или даже сбегали под каким-нибудь предлогом (Хейзел сама так делала временами), когда мужчины пускались в воспоминания. Кружок рассказчиков поредел и продолжал редеть. Но Джек по-прежнему был заводилой. Его рассказы стали подробнее, созерцательнее, — можно сказать, он обрел второе дыхание. Теперь он вспоминал шум американских самолетов на соседней, американской авиабазе, мощный рев, когда они разогревались на рассвете, а потом взлетали, три по три, и летели над Северным морем целыми эскадрильями. Летающие крепости. Американцы бомбили днем, и их самолеты никогда не летали на задание в одиночку. Почему?

«У них было плохо с навигацией, — объяснял Джек. — Ну то есть они как-то ориентировались,

но не так, как мы». Он гордился этой лихостью (а может, лихачеством), но не вдавался в детали. Он рассказывал, как самолеты королевских ВВС теряли друг друга из виду почти мгновенно и дальше летели в одиночку на протяжении шести-семи часов. Иногда голос, дававший им указания по радио, оказывался немецким: с идеальным английским произношением он сообщал ложную информацию, заманивая в смертельную ловушку. Джек рассказывал о том, как вражеские самолеты возникали словно бы ниоткуда, скользя над тобой или под тобой, и о том, как наши самолеты гибли во вспышке света — будто во сне. Совершенно не так, как в кино, — ничего упорядоченного, организованного, сплошной хаос и бессмыслица. Иногда в шуме двигателей или где-то за этим шумом ему чудился хор множества голосов или инструментальная музыка, странная, но знакомая.

Потом он словно возвращался с небес на землю — в обоих смыслах — и травил очередную байку о походах в увольнение, о пьянках, драках у паба во время затемнения, грубоватых розыгрышах, которые они устраивали друг другу в казармах.

На третий вечер Хейзел решила, что пора напомнить Дадли о поездке к мисс Доби. Неделя

проходила, а Хейзел немного привыкла к здешним местам, и мысль о визите ее уже не так пугала.

— Я позвоню утром, — сказал Дадли. Кажется, он обрадовался напоминанию. — Спрошу, удобно ли ей будет. И погода вроде налаживается. Завтра или послезавтра поедем.

Антуанетта в это время смотрела телевизор — какую-то передачу, в которой мужчины и женщины выбирали друг друга по сложным правилам для будущего свидания «вслепую», а через неделю возвращались в студию, чтобы рассказать, как все прошло. Если выяснялось, что свидание выдалось просто ужасное, Антуанетта хохотала в голос.

Когда-то она бегала к Джеку в одной ночнушке, накинув сверху пальто. Папаша выдубил бы ей шкуру, говаривал Джек. Обоим нам выдубил бы.

— Я вас повезу к мисс Доби, — сказала Антуанетта за завтраком. — У Дадли сегодня дел по горло.

— Конечно-конечно, это ничего, если Дадли занят, — ответила Хейзел.

— Уже все договорено. Но мы выедем чуть пораньше, чем собирался Дадли. Я думала — сегодня утром, чуть попозже, до обеда. Мне только надо кое о чем распорядиться.

И вот около половины двенадцатого они выехали в машине Антуанетты. Дождь перестал, тучи сменились белыми облаками, дубы и вязы отряхивали ржаво-золотую листву от капель вчерашнего дождя. Дорога шла между низкими каменными стенами. Она пересекала прозрачную речку с очень быстрым течением.

— У мисс Доби хороший дом, — сказала Антуанетта. — Симпатичное небольшое бунгало. Оно стоит на углу старой фермы. Когда она продавала ферму, то оставила себе угол участка и построила небольшое бунгало. Ее другой, старый дом весь обветшал.

Хейзел хорошо представляла себе этот старый дом. Она так и видела большую кухню, кое-как оштукатуренную, голые окна без занавесок. Железный шкаф для мяса, печка, скользкое кресло, набитое конским волосом. Обилие ведер, всяких инструментов, ружей, удочек, масленок, керосиновых ламп, корзин. Радиоприемник на батарейках. На стуле без спинки сидит крупная, крепкая женщина в брюках — чистит ружье, режет на куски картофель для посадки или потрошит рыбу. Она абсолютно все делала сама, рассказывал Джек, — вот Хейзел и представляет себе такую картину. Джек на этой картине тоже

есть. Он сидел на ступеньках кухонного крыльца в дни, пронизанные солнечными лучами и подернутые дымкой, как сегодня — только тогда трава и деревья были зеленые, — и убивал время, играя с собаками или пытаясь отчистить навоз с туфель, позаимствованных у мисс Доби.

— Джек однажды взял поносить туфли мисс Доби, — сказала Хейзел Антуанетте. — Видимо, у нее были большие ноги. Она всегда носила мужскую обувь. Не знаю, что случилось с собственной обувью Джека. Может, у него были только сапоги. В общем, он надел ее туфли на танцы и пошел в этих туфлях к реке. Не знаю зачем…

Конечно на свидание. Вероятно, с Антуанеттой.

— …И все их промочил и испачкал. Он был так пьян, что даже не разулся и не разделся, когда ложился спать, — упал на кровать поверх одеяла и отключился. Мисс Доби ему ни слова не сказала. Назавтра он опять пришел поздно, залез в кровать в темноте, и тут ему прямо в лицо выплеснулось ведро холодной воды! Мисс Доби устроила механизм из веревок и гирь, так что, когда Джек лег и сетка кровати под ним просела, ведро опрокинулось и вода вылилась прямо на него, чтобы проучить.

— Она, должно быть, сочла, что оно того стоит, — сказала Антуанетта. Затем объявила, что они остановятся пообедать. Хейзел думала, что у Антуанетты мало времени и они специально выехали пораньше, чтобы поскорей управиться с визитом. Но, очевидно, теперь они должны были помешкать, чтобы не приехать слишком рано.

Они остановились в пабе с известным именем. Хейзел читала о поединке, состоявшемся здесь; все это было описано в старинной балладе. Но теперь паб выглядел совершенно обычно, владел им англичанин, и в пабе шел ремонт. Владелец подогрел им сэндвичи в микроволновке.

— В моем доме этой штуки не будет, — сказала Антуанетта. — От них одна ирригация.

Она заговорила о мисс Доби и девушке, которая за ней присматривает.

— Конечно, она уже никакая не девушка. Ее зовут Джуди Армстронг. Она была из этих, как они называются, сирот. Поступила в услужение к матери Дадли. Поработала у нее, а потом попала в беду. И в результате родила. Обычное дело. После этого она уже не могла оставаться в городе, и хорошо, что мисс Доби как раз перестала справляться и ей понадобился кто-то, чтобы за ней ходить. Джуди с ребенком переехали туда, и оказалось,

что такое положение дел всех устраивает.

Они тянули время в пабе, пока Антуанетта не решила, что Джуди и мисс Доби готовы их видеть.

Долина постепенно сужалась. Дом мисс Доби стоял у дороги, и прямо за ним круто поднимались холмы. Перед домом росла живая изгородь из глянцевых лавров и какие-то мокрые кусты, то ли с красными листьями, то ли усыпанные красными ягодами. Дом был оштукатурен снаружи, и в штукатурку там и сям вделаны камни — как будто строитель пригородного дома решил проявить оригинальность.

В дверях стояла молодая женщина с роскошными волосами — сверкающие рыжие волны спадали на плечи. Ее одежда выглядела странновато для этого времени дня — что-то вроде вечернего платья из тонкой шелковистой коричневой материи, продернутой золотой металлической нитью. В этом платье женщина, должно быть, мерзла: она обхватила себя руками, придавливая грудь.

— Вот и мы, Джуди, — проговорила Антуанетта бодро, как говорят с глухим или гневливым человеком. — Дадли не смог приехать. Он был занят. Вот женщина, про которую он тебе рассказал по телефону.

Джуди, краснея, пожала Хейзел руку. Брови у нее были очень светлые, почти невидимые, отчего темно-карие глаза выглядели беззащитными. Казалось, Джуди чем-то расстроена — то ли выбита из колеи приездом гостей, то ли просто стесняется яркого буйства собственных распущенных волос. Но ведь она сама расчесала их и выставила на всеобщее обозрение.

Антуанетта спросила, здорова ли мисс Доби.

Джуди попыталась ответить, но помешал комок в горле. Она откашлялась и проговорила:

— Мисс Доби весь этот год не хворала.

Они стали раздеваться, и снова вышла неловкость: Джуди не знала, в какой момент забрать снятые пальто и как указать гостьям, куда идти. Но Антуанетта перехватила инициативу и сама двинулась, показывая путь, по коридору к гостиной — скопищу пестрой мягкой мебели, медных и фарфоровых украшений, пампасной травы, павлиньих перьев, засушенных цветов, часов, картин и подушек. Посреди всего этого на стуле с высокой спинкой сидела спиной к окну старуха и ждала гостей. Старая, но не иссохшая. С толстыми руками и ногами и пышным ореолом густых белых волос. Смуглая, как яблоко сорта рассет, с большими фиолетовыми мешками под

глазами. Но сами глаза были блестящие, подвижные, словно в них проглядывал ум, но лишь когда сам того хотел, — что-то металось, будто быстрая, дерзкая белка, за корой тяжелого, темного, старого, бородавчатого лица.

— Так это вы, значит, та женщина, которая приехала из Канады, — сказала мисс Доби Антуанетте. У нее был сильный голос. На губах — темные пятна, похожие на иссиня-черные виноградины.

— Нет, это не я, — ответила Антуанетта. — Я из «Королевского отеля», и мы с вами уже знакомы. Я приятельница Дадли Брауна.

Она вытащила из сумки бутылку вина, мадеры, и преподнесла ее, словно верительную грамоту:

— Вы ведь такое любите, правда?

— Из самой Канады, — сказала мисс Доби, беря бутылку. Оказалось, она до сих пор носит мужскую обувь — сейчас на ней были незашнурованные мужские ботинки.

Антуанетта повторила свои слова погромче и представила Хейзел.

— Джуди! Джуди, ты знаешь, где бокалы! — сказала мисс Доби. Джуди как раз вошла с подносом. На нем были составленные друг на друга чашки и блюдца, чайник, блюдо с нарезанным кексом из

сухофруктов, молоко и сахар. Требование бокалов явно сбило ее с курса, и она растерянно озиралась, пока Антуанетта не выручила ее, забрав поднос.

— Джуди, я думаю, она хочет сначала попробовать вино, — подсказала Антуанетта. — Как мило! Этот кекс ты сама пекла? Можно, я захвачу кусочек для Дадли, когда мы поедем обратно? Он так любит кекс из сухофруктов. Он поверит, что ты пекла специально для него. Хотя этого не может быть, ведь он позвонил только сегодня утром, а на кекс из сухофруктов нужно гораздо больше времени. Но он об этом не догадается.

— Теперь я знаю, кто ты, — сказала мисс Доби. — Ты из «Королевского отеля». Вы с Дадли Брауном так и не поженились?

— Я уже замужем, — раздраженно ответила Антуанетта. — Я бы оформила развод, но не знаю, где мой муж.

Она быстро изгладила раздражение из голоса, так что последние слова прозвучали мягко — видимо, чтобы успокоить мисс Доби:

— Может быть, со временем.

— Так вот, значит, зачем ты ездила в Канаду, — сказала мисс Доби.

Вошла Джуди, неся бокалы. У нее заметно дрожали руки, так что вино ей явно нельзя было

доверять. Антуанетта высвободила бутылку, в которую вцепилась мисс Доби, и посмотрела бокал на свет.

— Джуди, принеси, пожалуйста, салфетку, — велела Антуанетта. — Или посудное полотенце. Только, смотри, чистое!

— Мой муж Джек, — Хейзел решительно вмешалась в разговор, обратившись к мисс Доби, — мой муж, Джек Кертис, был военным летчиком. Он навещал вас во время войны.

Мисс Доби все отлично расслышала:

— С какой стати ваш муж меня навещал?

— Он тогда не был моим мужем. Он был совсем молодой. Он ваш кузен. Из Канады. Джек Кертис. Кертис. Но к вам, наверно, много разных родственников приезжало за все эти годы.

— К нам никто никогда не приезжал. Мы слишком далеко от проторенной дороги, — твердо сказала мисс Доби. — Я жила дома с матушкой и батюшкой, потом только с матушкой, а потом одна. Я перестала разводить овец и устроилась на работу в городе. Я работала на почте.

— Это правда, она работала на почте, — глубокомысленно подтвердила Антуанетта, раздавая бокалы с вином.

— Но я сроду не жила в городе, — продолжала

мисс Доби со скрытой, мстительной гордостью. — Нет, я каждый день ездила туда, всю дорогу отсюда дотуда, на мотоцикле.

— Джек рассказывал про ваш мотоцикл, — сказала Хейзел, пытаясь разговорить старуху.

— Тогда я жила в старом доме. Теперь там живут ужасные люди.

Мисс Доби подняла стакан, чтобы ей долили вина.

— Джек брал ваш мотоцикл покататься, — сказала Хейзел. — И ездил с вами на рыбалку, а когда вы чистили рыбу, собаки сжирали рыбьи головы.

— Фу, — сказала Антуанетта.

— Я только рада, что я его отсюда не вижу, — продолжала мисс Доби.

— Это она про дом, — объяснила Антуанетта, как бы извиняясь. — В нем живет невенчанная пара. Они отремонтировали дом, но они друг с другом не женаты.

И, словно одно естественно вытекало из другого, она обратилась к Джуди:

— Как поживает Таня?

— Хорошо поживает, — ответила Джуди. Джуди не пила вина. Она приподняла тарелку с кексом и поставила на место. — Она теперь ходит в при-

готовительную школу.

— Она ездит на автобусе, — сказала мисс Доби. — Автобус приезжает и забирает ее прямо от двери.

— Очень мило, — отозвалась Антуанетта.

— И обратно привозит, — продолжала мисс Доби с большим чувством. — Привозит обратно, прямо к дому.

— Джек рассказывал, что у вас был пес, который ел овсянку, — не сдавалась Хейзел. — И еще однажды он позаимствовал у вас туфли. Джек, то есть, позаимствовал. Мой муж.

Мисс Доби словно бы некоторое время размышляла над этим. Потом сказала:

— Таня рыжая.

— У нее волосы матери, — ответила Антуанетта. — И глаза карие, тоже от матери. Она вылитая Джуди.

— Она незаконная, — сказала мисс Доби, будто отметая прочь несущественную шелуху. — Но Джуди ее правильно воспитывает. Джуди хорошая работница. Я рада, что у них есть крыша над головой. Попадаются-то всегда невинные.

Хейзел думала, что эти слова будут для Джуди последней каплей — что она вскочит, убежит на кухню. Вместо этого она, кажется, пришла

к какому-то решению. Она встала и принялась раскладывать по тарелкам кекс. С ее лица, шеи и груди в вырезе вечернего платья не сходил пунцовый румянец. Кожа горела, словно от ударов. Джуди наклонялась с тарелкой к каждой из женщин по очереди, и лицо у нее было совершенно детское, полное ярости, горечи, ненависти — лицо ребенка, изо всех сил сдерживающего рвущийся наружу вой.

Мисс Доби обратилась к Хейзел:

— Вы умеете декламировать?

Хейзел не сразу поняла, что значит «декламировать». И ответила, что не умеет.

— Я могу продекламировать, если желаете, — сказала мисс Доби.

Она поставила пустой стакан, приосанилась и сдвинула ступни вместе:

— Простите, что я не встаю.

Она заговорила — поначалу натужно, запинаясь, но вскоре в голосе появилось упорство, и ритм захватил ее. Ее шотландский акцент усилился. Кажется, для нее главным было не читать с выражением, передавая смысл, а усилием марафонца отбарабанить все в правильном порядке — слово за словом, строчку за строчкой, строфу за строфой. От натуги ее лицо еще больше потем-

нело. Но все же она читала не без выражения; не так, как Хейзел помнилось по школе, где их мучили тупой зубрежкой «для развития памяти». Это, скорее, напоминало выступление крупного ученого на школьном концерте: нечто вроде добровольного прилюдного акта мученичества, в котором каждое ударение, каждый жест предопределены и отрепетированы.

Постепенно Хейзел начала разбирать слова. Какая-то ерунда про эльфов, эльфы украли какого-то юношу, а девушка по имени Прекрасная Дженет его полюбила. Прекрасная Дженет дерзила собственному отцу, заворачивалась в зеленый плащ и бежала на свидание с возлюбленным. Потом, кажется, наступил Хеллоуин, и в глухую ночь мимо Дженет проехала кавалькада эльфов. Отнюдь не воздушных созданьиц, а злобных, враждебных человеку существ; проезжая в ночи, они подняли ужасный лязг и звон.

На пустошь Дженет ночью пришла
И смело стала ждать.
Все ближе, ближе стук копыт —

То всадников череда![4]

Джуди взяла блюдо с кексом к себе на колени и съела большой кусок. Потом еще один — все с тем же гневным, непрощающим лицом. Чуть раньше, когда она наклонилась, раскладывая кекс, до Хейзел донесся запах ее тела — не то чтобы неприятный, но все же запах, нечастый в эпоху мытья и дезодорантов. Запах шел горячей волной из ложбинки между раскрасневшимися грудями молодой женщины.

Антуанетта, не стараясь двигаться тихо, раздобыла маленькую бронзовую пепельницу, вытащила из сумочки сигареты и закурила. (Она сказала, что позволяет себе три сигареты в день.)

И первым промчался гнедой жеребец,
За ним проскакал вороной,
А с третьего, белого, седока
Стащила она долой.

Хейзел решила, что спрашивать про Джека больше нет смысла. Кто-нибудь из здешних жителей наверняка его помнит — видел его на

---

[4] Примечания: 4

Здесь и далее до конца рассказа — цитаты из шотландской народной баллады «Тэм Лин» (вариант баллады Чайлда № 39A). Название рассказа взято оттуда же.

мотоцикле или однажды вечером разговорился с ним в пабе. Но как найти этих свидетелей? Антуанетта, вероятно, не лжет, утверждая, что забыла его. У нее своих забот хватает, судя по всему. Что же до мисс Доби, ее рассудок явно порхал, как ветерок, — сплошные капризы и причуды. Сейчас ее занимала исключительно судьба питомца эльфов:

В аспида обратили его
Эльфы своим заклятьем,
Но рук не разжала Дженет, ведь он —
Отец ее дитяти.

В голосе мисс Доби зазвучала нотка мрачного удовлетворения, — возможно, дело идет к концу. Что такое «васпида»? Не важно. Дженет завернула возлюбленного в свой зеленый плащ — «нагого, как мать родила», королева эльфов оплакала потерю, и как раз когда слушатели испугались, что история примет новый поворот — ибо голос мисс Доби окреп и слегка ускорился, будто готовясь к марш-броску, — декламация кончилась.

— Господи Исусе, — сказала Антуанетта, убедившись, что это действительно так. — Как только у вас все это в голове помещается? Вы с Дадли — парочка под стать друг другу!

Джуди принялась с лязгом расставлять чашки и блюдца. Антуанетта подождала, пока Джуди начнет разливать чай, и остановила ее:

— Милая, он, наверно, уже сильно настоялся. Боюсь, для меня это слишком крепко. И вообще, нам пора ехать обратно. Мисс Доби теперь нужно отдохнуть.

Джуди безропотно забрала поднос и ушла на кухню. Хейзел последовала за ней, неся тарелку с кексом.

— Мне кажется, мистер Браун хотел приехать, — тихо сказала она молодой женщине. — Мне кажется, он не знал, что мы выедем так рано.

— А как же, — ответила та, ожесточенная, пунцовая, выплескивая чай из чашек в раковину.

— Вы бы не сочли за труд открыть мою сумочку и достать мне еще одну сигарету? — попросила Антуанетта. — Мне просто необходимо выкурить еще одну. Если я сама за ней полезу, то погляжу вниз, и меня точно стошнит. У меня начинается мигрень от этих монотонных завываний.

Небо опять потемнело, и по машине застучал мелкий дождик.

— Ей, наверно, одиноко живется, Джуди то есть, — сказала Хейзел.

— У нее есть Таня.

Последнее, что сделала Антуанетта перед отъездом, — сунула Джуди несколько монет. «Для Тани», — сказала она.

— Она, может быть, хочет выйти замуж, — продолжала Хейзел. — Но как ей встретить подходящего человека в тех местах?

— Думаю, ей где угодно будет нелегко встретить подходящего человека. В ее-то положении.

— В наше время это не так важно. Девушки сначала рожают, потом выходят замуж. Кинозвезды и обычные девушки. Практически каждый день. Это не так важно.

— Я бы сказала, что в наших местах это важно. У нас тут кинозвезд нету. Мужчина еще десять раз подумает. Он обязан помнить о своей семье. Это будет оскорбление его матери. Даже если она уже не понимает, что вокруг происходит. И если твоя профессия — работать с людьми, тоже приходится о таких вещах думать.

Она съехала на обочину. Сказала: «Извините», вылезла из машины и пошла к низкой каменной стенке. Наклонилась вперед. Неужели плачет? Нет. Ее тошнит. Плечи сгорблены и сотрясаются. Она блевала, аккуратно перегнувшись через стенку, на опавшие листья дубов. Хейзел открыла

дверцу машины и двинулась к Антуанетте, но та остановила ее взмахом руки.

Беспомощный, донельзя интимный звук рвоты, тишина вокруг, туман и дождь.

Антуанетта наклонилась вперед и постояла, опираясь на стенку. Потом выпрямилась, вернулась к машине и вытерлась бумажными носовыми платками — дрожащей рукой, но очень тщательно.

— У меня это бывает, — объяснила она, — головные боли и тошнота.

— Хотите, я сяду за руль? — предложила Хейзел.

— Вы не привыкли водить по левой стороне.

— Я аккуратно поеду.

Они поменялись местами — Хейзел была удивлена, что Антуанетта согласилась. Они ехали медленно. Антуанетта почти все время сидела с закрытыми глазами, зажимая руками рот. Под розовым тональным кремом просвечивала серая кожа. Но на подъезде к городу Антуанетта открыла глаза, отняла руки от лица и сказала что-то вроде: «Вот Катехо».

Они ехали мимо низины, луга у реки.

— Это здесь, — Антуанетта говорила быстро, словно желая успеть до очередного приступа рво-

ты, — здесь та девушка идет на свидание, теряет девственность и все такое.

Луг был бурый, заболоченный, окруженный домами — судя по виду, социальным жильем.

Хейзел с удивлением поняла, что помнит целый куплет. Она будто снова услышала голос мисс Доби, вколачивающий каждое слово:

Плащ зеленый можно соткать,
Кольца златые – купить,
Но раз утратив девичью честь,
Ее уж не воротить!

У мисс Доби в запасе тонна слов — что угодно похоронит под обвалом.

— Антуанетта нездорова, — сказала Хейзел Дадли Брауну, войдя вечером в гостиную. — У нее сильная головная боль. Мы сегодня ездили в гости к мисс Доби.

— Она сообщила мне об этом запиской. — Дадли начал расставлять стаканы, виски и воду.

Антуанетта лежала в постели. Хейзел помогла ей улечься — Антуанетта была слишком слаба и сама не управилась бы. Она легла в комбинации, попросив мокрое полотенце для лица, чтобы стереть остатки макияжа и не испачкать

подушку. Потом попросила другое полотенце, на случай если ее стошнит. Следуя указаниям Антуанетты, Хейзел повесила ее костюм — все тот же, чудесным образом сохранивший идеальную чистоту, — на плечики, обитые мягким. Спальня Антуанетты была узкая, спартанского вида. Окно выходило на оштукатуренную стену соседнего банка. Антуанетта спала на койке с железной рамой. На комоде стояли всевозможные пузырьки для окраски волос. Расстроится ли Антуанетта, когда поймет, что Хейзел их видела? Вероятно, нет. Может, она уже забыла про ту ложь. А может, будет и дальше повторять то же самое — как королева: что она скажет, то по определению становится правдой.

— Она распорядилась насчет ужина, — сказала Хейзел. — Всё поставят на буфет, и мы будем сами себе накладывать.

— Давайте сначала сами себе выпьем. — Дадли принес бутылку виски.

— Мисс Доби не смогла припомнить моего мужа.

— В самом деле?

— Там была девушка. Точнее, молодая женщина. Которая смотрит за мисс Доби.

— Джуди Армстронг, — сказал Дадли.

Хейзел хотела посмотреть, удержится ли он от расспросов, сможет ли заставить себя переменить тему. Он не смог:

— У нее все те же дивные рыжие волосы?

— Да. А вы думали, она их сбрила?

— Девушки бог знает что вытворяют со своими волосами. Я уже насмотрелся. Но Джуди не из таких.

— Она подала очень неплохой темный кекс из сухофруктов, — сказала Хейзел. — Антуанетта сказала, что захватит для вас кусочек. Но, видимо, забыла. Мне кажется, она уже заболевала, когда мы уезжали.

— Может, кекс был отравлен, — предположил Дадли. — Как часто бывает в сказках.

— Джуди сама съела два куска, и я ела, и мисс Доби тоже. Так что не думаю.

— Может, яд был только в порции Антуанетты.

— Она как раз не ела кекса. Только пила вино и еще выкурила сигарету.

Дадли, помолчав, спросил:

— Как же мисс Доби вас развлекала?

— Она продекламировала нам поэму.

— О да, она может. Только они правильно называются баллады, а не поэмы. Вы помните, какую именно?

Хейзел первым делом пришли в голову строки про девичью честь. Но она отвергла их — слишком прямолинейно-злобные — и поискала другие.

— «Сперва окунешь меня в молоко»? — вопросительно произнесла она. — «Потом водой окатишь»?

— «Но держи меня, и не отпускай, я отец твоего дитяти»! — вскричал довольный Дадли.

Эта цитата оказалась столь же нетактичной, как и первая, но Дадли вроде бы не обиделся. Он с явным облегчением откинулся в кресле, задрал подбородок и принялся декламировать — те же стихи, что раньше мисс Доби, но он читал их спокойно, наслаждаясь словами, с чувством. Теплый, печальный, роскошный мужской голос. Акцент его усилился, но Хейзел, уже раз прослушав балладу, теперь почти против воли разбирала каждое слово. Эльфы украли мальчика, он вел жизнь, полную приключений и приятностей, — например, не чувствовал боли, — но с годами все сильней боялся, что придется «уплатить десятину аду», и жаждал человеческого общества. Поэтому он соблазнил смелую девушку и научил, как его освободить. Она должна крепко схватиться за него и держать — что бы ни случилось, в какой бы ужас ни обратили его эльфы, — держать, пока

арсенал их колдовских приемов не истощится и они не отпустят пленника. Конечно, Дадли читал старомодно и, конечно, чуточку посмеивался над самим собой. Но лишь на поверхности. Декламировать — все равно что петь. Можно излить свою тоску, не боясь стать посмешищем.

И вот в объятьях ее человек —
Нагой, как мать родила,
Дженет плащом укрыла его
И так навеки спасла.

Вы с мисс Доби — парочка, под стать друг другу.

— Мы видели то место, куда она ходила с ним встречаться, — сказала Хейзел. — На обратном пути. Антуанетта мне показала. Это в низине, у реки.

Она подумала: какое чудо — быть здесь, среди сплетения жизней этих людей, видеть то, что видит она, их хитроумные замыслы, их раны. Джека она здесь не нашла, в конце концов оказалось, что его здесь нет, но здесь была она сама.

— Картерхо? — презрительно-оживленно произнес Дадли. — Это вовсе не в низине! Антуанетта сама не знает, что говорит. Это на высоком берегу,

над рекой. Там, где в колосьях ведьмины кольца. Это из-за грибка. Будь сегодня полнолуние, мы могли бы съездить посмотреть.

Хейзел что-то почувствовала — словно кошка прыгнула ей на колени. Секс. Она чувствовала, как глаза у нее округляются, кожа сильнее обтягивает скулы, руки и ноги складываются в позу внимания. Но сегодня не полнолуние — это второе, что она поняла из слов Дадли. Он подлил им обоим виски, но не для того, чтобы ее соблазнить. Вся вера, вся энергия, вся ловкость, вся забывчивость, нужная, чтобы провернуть хоть маленькую интрижку, — Хейзел знала, у нее было целых две интрижки, одна в колледже и одна на конференции учителей, — все это для них уже позади. Они позволят взаимному влечению пройти, как волна, и схлынуть. Антуанетта не стала бы возражать, в этом Хейзел была уверена. Антуанетта стерпела бы интрижку с женщиной, которая все равно скоро уедет, — ничего не значащей женщиной, всего лишь американкой или чем-то вроде. Согласие Антуанетты — еще одна причина, по которой они друг от друга отпрянули. Причина стать осмотрительнее, чистоплотнее.

— А девочка, — тихо спросил Дадли, — она там была?

— Нет. Она ходит в приготовительную школу.

Как мало нужно, подумала Хейзел, чтобы я оставила колкости и начала его утешать, — всего лишь рассказать стишок.

— В самом деле? У нее удивительное имя. Таня.

— Не такое уж и странное, — сказала Хейзел. — По нынешним временам.

— Я знаю. Теперь у всех какие-то заграничные имена ни с того ни с сего: Таня, Наташа, Эрин, Соланж, Кармен. И фамилий ни у кого нету. Эти девушки с волосами разноцветными, как петуший хвост, я их вижу на улицах. Это они выбирают такие имена. Это они — матери.

— У меня одну внучку зовут Бритни, — сказала Хейзел. — А еще я слышала про девочку, которую назвали Капучино.

— Капучино! Что это за имя такое? Еще назвали бы Фетучини. Кассероль! Киш-Лорен!

— Наверняка и такие есть.

— Шлезвиг-Гольштейн! Отличное имечко!

— Но когда вы ее видели последний раз? Таню?

— Я ее не вижу, — ответил Дадли. — Я туда не езжу. У нас финансовая договоренность, но я туда не езжу.

А следовало бы, хотела сказать Хейзел. Следовало бы взять и поехать, не строя дурацких планов,

которые Антуанетте ничего не стоит разрушить, как сегодня. Однако он заговорил первым. Он подался к ней и произнес с пьяноватой искренностью:

— Что мне делать? Я не могу сделать счастливыми сразу двух женщин.

Эти слова можно было бы счесть легковесными, полными самолюбования. Отговоркой.

Но они правдивы. Хейзел вдруг остановилась. Они правдивы. С первого взгляда кажется, что у Джуди все права — из-за ребенка, одиночества, прекрасных волос. Но почему Антуанетта должна проиграть — лишь из-за того, что раньше вышла на дистанцию, умеет просчитывать, умеет переносить предательство, искусно прихорашивается? Антуанетта наверняка полезна, хранит верность и — возможно — наедине умеет быть нежной. Она даже не просит, чтобы мужчина отдал ей все сердце, целиком. Она, может быть, даже закрывает глаза на редкие тайные визиты. (Хотя потом ей каждый раз бывает плохо; она отворачивается к стене, и ее тошнит.) А вот Джуди ничего подобного не потерпела бы. Ее бы раздирали страсти — прямо из баллады; сплошные обещания, клятвы и проклятия. Он бы не вынес такого страдания, выплесков гнева. Так, может,

Антуанетта сегодня обманула его — для его же блага? Должно быть, она так на это и смотрит. И он, возможно, тоже так на это посмотрит — только не сразу. А может, и сейчас — после того, как баллада всколыхнула и тронула его сердце.

Джек однажды тоже что-то такое сказал. Не про двух женщин, но про то, как сделать женщину — он имел в виду Хейзел — счастливой. Она вспомнила его точные слова. «Я мог бы сделать тебя очень счастливой». Он имел в виду, что может довести ее до оргазма. Тогда мужчины это говорили, когда пытались уболтать женщину, и смысл был именно такой. Может, они до сих пор так говорят. А может, в наши дни уже выражаются более прямо. Но Хейзел до Джека никто такого не говорил, и она изумилась, поняв его слова буквально. Они показались ей чересчур смелыми, самонадеянными — ослепительное обещание, но не много ли он на себя берет? Тогда она попыталась увидеть себя как человека, которого можно *сделать счастливым*. Вся она, весь сложный узел стремлений, волнений, который называется «Хейзел», — неужели его можно просто взять и *сделать счастливым*?

Однажды — лет через двадцать после того разговора — она ехала по главной улице Уэлли и

заметила Джека. Он стоял у окна в магазине бытовых приборов и глядел на улицу. Он не смотрел в сторону Хейзел, не видел ее машину. В то время Хейзел училась в колледже. Она была очень занята — учебой и разными другими делами: нужно было посещать лекции, делать домашние задания, лабораторные работы, работу по дому. Поэтому она замечала что-то вокруг себя, только остановившись на пару минут — как сейчас она остановилась у светофора, ожидая зеленого света. И заметила Джека — такого стройного и моложавого в слаксах и пуловере. Такого седого и бесплотного. У нее не было ничего похожего на отчетливое предчувствие, что он умрет там, в магазине. (Он и впрямь там умер — повалился на прилавок посреди разговора с клиентом; но это было много лет спустя.) Она не вглядывалась, не пыталась увидеть целостную картину того, какой стала его жизнь: два-три вечера в неделю в Легионе, остальные — на диване, с ужина до ночи. Он смотрел телевизор и пил. Три-четыре порции за вечер. Он никогда не буйствовал, не шумел, не отключался. Перед сном споласкивал стакан у кухонной мойки. Жизнь, полная обыденных домашних дел, рутины, смены времен года, стандартных любезностей. Тогда Хейзел увидела

лишь его неподвижность, взгляд, который можно было бы назвать призрачным. Она почувствовала, что его красота — особая красота ветерана Второй мировой, гордое бесстрастие, склонность к остротам — никуда не делась, но вся сила из него ушла. Призрачную красоту души — вот что увидела тогда Хейзел сквозь стекло.

Она могла бы попробовать пробиться к нему тогда — с тем же успехом, что и сейчас. Полная ранящих надежд, пыла, обвинений. Тогда она не позволяла себе этого — переключалась на мысли об экзаменах или о списке покупок. А если попытаться теперь, то будет словно пробуешь на ощупь ампутированную руку или ногу. Почти незаметное движение, укол боли, обрисовывающий в воздухе утраченную форму. Этого было бы довольно.

Она сама уже слегка опьянела и вдруг подумала: не сказать ли Дадли Брауну, что, может быть, он именно делает этих двух женщин счастливыми. Что она под этим подразумевала? Может, то, что благодаря ему у них есть на чем сосредоточиться. Каменная преграда в сердце мужчины, которую каждая из них надеется когда-нибудь обойти. Жесткий узел у него в душе, который они надеются развязать. Неподвижность, которую

они надеются встряхнуть. Пустота, о которой они надеются заставить его пожалеть. От этого не так просто отмахнуться, даже если ты вроде бы научилась об этом не думать. Можно ли сказать, что это и значит — сделать тебя счастливой?

Между тем — а что делает мужчину счастливым?

Наверное, что-нибудь совсем другое.

Апельсины и яблоки

— Я нанял красотку из Шотауна, — сказал отец Мюррея. — Дилэни, но вроде бы не испорчена. Я поставил ее в «Мужскую одежду».

Дело было весной 1955 года. Мюррей только что окончил университет. Он вернулся домой и сразу понял, какая судьба его ожидает. Эта судьба была видна всем, четко написана на потемневшем, обтянутом лице отца, день ото дня всходила у него в животе горьким хлебом, который должен был убить его еще до зимы. Через полгода Мюррей станет главным, займет место в маленьком кабинете — наблюдательном пункте, что висит, как птичья клетка, под потолком универмага, в глубине, над отделом линолеума.

Универмаг тогда еще назывался «Универсальный магазин Зиглера». Ему было примерно столько же лет, сколько самому городу. Здание — трехэтажное, краснокирпичное, с фамилией владельца, выложенной серыми кирпичами, наклонным шрифтом, который всегда казался Мюррею неуместно задорным и каким-то восточным, — было построено в 1880 году на месте

старого, деревянного. Они уже не торговали продуктами и скобяным товаром, но другие отделы остались: мужская, дамская и детская одежда, «тысяча мелочей», обувь, декоративные ткани, товары для дома, мебель.

Мюррей пошел взглянуть на красотку. Она сидела, как в клетке, за рядами упакованных в целлофан мужских рубашек. Барбара. Она была высокая и «хорошо развитая», как сказал отец Мюррея с некоторым сожалением, понизив голос. Густые черные волосы не кудрявились и не лежали плоско — они взмывали, словно плюмаж на гребне рыцарского шлема, вверх от широкого белого лба. Брови тоже были черные и густые и блестели. Позже Мюррей узнал, что она мажет их вазелином, а на переносице выщипывает.

На матери Барбары держалась вся их семейная ферма где-то в глуши. Когда мать умерла, семья переехала в Шотаун, поселок из кое-как сколоченных хижин на окраине Уэлли. Отец Барбары перебивался случайным заработком, а двое братьев скоро занялись нехорошими делами, связанными с чужими машинами, а также взломом и проникновением. Один потом пропал. Другой женился на девушке, которая держала его на коротком поводке, и остепенился. Именно он

стал захаживать в магазин и околачиваться там, якобы навещая Барбару.

— Держите с ним ухо востро, — сказала Барбара другим продавцам. — Он придурок, но вещи у него к рукам так и прилипают.

Мюррей узнал об этом и был впечатлен отсутствием у Барбары сестринских чувств. Он сам был единственным ребенком — не то чтобы избалованным, но взлелеянным — и чувствовал, что связан множеством пут: обязательств, порядочности, любви. Едва вернувшись домой после университета, он должен был обойти весь универмаг, здороваясь со служащими, многие из которых знали его еще ребенком. Проходя по улицам Уэлли, он обязан был улыбаться и поддерживать светские беседы — любезный, как кронпринц.

Брата Барбары поймали с парой носков в одном кармане и упаковкой крючков для занавесок — в другом.

— Как вы думаете, зачем ему понадобились крючки для занавесок? — спросил Мюррей у Барбары. Ему было не по себе и хотелось поскорей обернуть эту историю в шутку, показав Барбаре, что поступок брата не поставят ей в вину.

— А мне откуда знать, — ответила Барбара.

— Может быть, ему нужна помощь психолога, — сказал Мюррей. В университете он прошел несколько курсов социологии, так как одно время надеялся стать священником Объединенной церкви[5].

— Может быть, ему нужна виселица, — сказала Барбара.

Тогда Мюррей в нее и влюбился (если до этого еще не успел). Вот благородная девушка, подумал он. Смелая черно-белая лилия из ирландской трясины, Лорна Дун, только погрубей на язык да хребет у нее покрепче. Маме она не понравится, подумал он. (Вот тут он был абсолютно прав.) Таким счастливым он не был с того самого дня, как потерял веру. (Впрочем, «потерял» — не совсем точное слово. Скорее похоже было, что он вошел в комнату, давно запертую, или открыл ящик комода и обнаружил, что его вера вся высохла, осталась лишь кучка пыли в углу.)

Он всегда говорил, что сразу положил глаз на Барбару, но не прибегал ни к каким хитростям, чтобы ее заполучить, — лишь открыто обожал

---

[5] Примечания: 5

Объединенная церковь Канады — канадская протестантская церковь. Образовалась в 1925 году в результате слияния большей части Пресвитерианской церкви Канады с Методистской церковью и рядом других церковных организаций.

ее. Способность к обожанию проявилась у него еще в школе, вдобавок к добродушию и склонности дружить с аутсайдерами. Но у него был достаточно крепкий внутренний стержень — и достаточно положительных качеств, — чтобы самому не стать шестеркой. Мелкие тычки и пинки он переносил спокойно.

Когда был парад в честь Дня Доминиона и Барбаре предложили участвовать в конкурсе на королеву парада — для этого она должна была ехать на платформе Союза предпринимателей города, — она отказалась.

— Я с вами совершенно согласен, — сказал Мюррей. — Конкурсы красоты — это унизительно.

— Это всё бумажные цветы, — объяснила Барбара. — Я от них чихаю.

Сейчас Мюррей и Барбара живут на «Базе отдыха Зиглера», милях в двадцати пяти к северо-западу от Уэлли. Земля здесь неровная, холмистая. Фермеры бросили ее возделывать в начале двадцатого века, и она опять заросла. Отец Мюррея купил двести акров, построил примитивную хижину и называл это место своим охотничьим лагерем. Когда Мюррей потерял универмаг в Уэлли, и большой дом, и маленький дом на участке за универмагом, он приехал сю-

да с Барбарой и двумя их маленькими детьми. Он водил школьный автобус, чтобы заработать немного живых денег, а все остальное время работал руками: строил восемь новых домиков и модернизировал старый, который должен был стать центральным зданием базы и жилищем для его семьи. Он научился плотничать, класть кирпичи, тянуть электропроводку и монтировать сантехнику. Он валил деревья. Он запрудил ручей, вычистил русло и привез песок, чтобы сделать пруд для плавания и пляж. По очевидным причинам (как он выражался) финансами занималась Барбара.

Мюррей говорит, что это обычная история. Заслуживает ли она названия классической?

— Мой прапрадед основал бизнес. Мой дед привел его к славе. Мой отец сохранил его. А я его потерял.

Он не стесняется об этом рассказывать. Не то чтобы он выскакивал из засады, хватал человека за лацкан и выкладывал ему всю душу. Отдыхающие привыкли видеть его за работой. Он то чинит причал, то красит лодку, то привозит продукты, то копает канавы, и вид у него такой знающий и спокойный, такой бодрый и так глубоко погруженный в очередное дело, что они решают: вот

бывший фермер, который переквалифицировался во владельца турбазы. Терпение и дружелюбие без любопытства, крепкое тело (не спортивное, но сильное и выносливое), загорелое лицо, мальчишеская внешность при седеющих висках — все как будто бы выдает сельского жителя. Но одни и те же гости приезжают на турбазу из года в год, и порой они становятся друзьями, которых в вечер отъезда приглашают на семейный ужин. (Среди постоянных гостей считается большим достижением подружиться с величественной Барбарой. Иным это так и не удается.) И вот тогда у них появляется возможность узнать историю Мюррея.

— Мой дедушка поднимался на крышу нашего здания в Уэлли, — рассказывает Мюррей. — Поднимался на крышу и швырял вниз деньги. Каждую субботу, после обеда. Четвертаки, десятицентовики, никели — так тогда называли пятицентовики. Внизу собирались толпы. Люди, основавшие Уэлли, любили блеснуть. Они были не слишком образованные. Неотесанные. Они думали, что строят второй Чикаго.

Потом случилось кое-что еще, рассказывает он. Явились дамы, священники, школы. Долой салуны, да здравствуют приемы в саду. Отец Мюррея был членом приходского совета в церкви

Святого Андрея; он был кандидатом от партии консерваторов.

— Тогда говорили «баллотироваться» вместо «выдвигать свою кандидатуру». Универмаг к тому времени стал солидным учреждением. В нем десятилетиями ничего не менялось. Старые прилавки с закругленным стеклянным верхом. Мелочь переправляли в металлических цилиндрах по трубам пневмопочты, протянутым под потолком. Весь город был такой, до самых пятидесятых годов. И вязы тогда еще не погибли. Но уже начали умирать. Летом по окружности всей городской площади натягивали козырьки из старой парусины.

Когда Мюррей решился на модернизацию, то пошел ва-банк. Был 1965 год. Все здание покрыли белой штукатуркой, окна заложили. Остались только маленькие элегантные окошечки вдоль улицы, на уровне глаз, словно для того, чтобы выставлять в них драгоценности Британской короны. Фамилия «Зиглер» — только она одна — теперь была размашисто написана поперек штукатурки летящим почерком, розовым неоном. Старые прилавки, высотой по пояс, выбросили, паркетные полы покрыли ковролином, установили бестеневое освещение и кучу зеркал.

Над лестницей сделали огромный световой люк со стеклянной крышей. (Она протекала, ее приходилось чинить, и, не дождавшись второй зимы, люк заделали.) Деревья в кадках, декоративные бассейны и что-то вроде фонтана в дамской комнате.

Безумие.

В это время к югу от городка построили большой торговый центр. Может, Мюррею следовало переехать туда? Но он уже был по уши в долгах. Кроме того, он стал ярым сторонником развития бизнеса в центре города. Он не только изменил облик универмага Зиглера, он и сам изменился — теперь он был заметной, громкой фигурой на муниципальной арене. Он состоял в разных комитетах. В том числе — в строительном. Так он и узнал, что один человек из Логана, перекупщик и застройщик, получает правительственные гранты на реставрацию старинных зданий, а на самом деле сносит их, оставляя лишь кусок фундамента и заделывая его в свои новые, уродливые, плохо построенные многоквартирные доходные дома.

— Ага, коррупция! — вспоминает Мюррей. — Надо, чтобы народ узнал! Я произнес гневный монолог, который напечатали в газете. Я чуть ли не на перекрестках проповедовал. О чем я думал?

Неужели я думал, что люди этого не знают? С тем же успехом я мог бы подписать себе приговор. Я и подписал себе приговор. Я так надоел всем своими публичными проповедями и так веселил ими публику, что меня выпнули из комитета. Я потерял репутацию. Так мне сказали. И магазин я тоже потерял. Он достался банку. И большой дом, построенный моим дедом, и маленький домик на том же участке, где мы жили с Барбарой и детьми. Банк не мог отобрать эти дома, но я их продал, чтобы рассчитаться, — так я решил и так сделал. Хорошо, что моя мать не дожила до этого краха.

Пока Мюррей все это рассказывает, бывает, что Барбара извиняется и уходит. Иногда она идет принести еще кофе. Иногда просто говорит, что сейчас вернется. Иногда берет собаку, Сэди, и идет гулять к пруду, среди бледных берез и тополей, под сенью канадских елей. Мюррей не считает нужным объяснять гостям ее отсутствие, хотя и прислушивается (незаметно для них), ожидая ее возвращения. Любому, кто становится другом семьи, предстоит понять, как Барбара дозирует общение и уединение. Также им предстоит понять, что Барбара не хочет никем работать. На самом деле, конечно, она очень много работает. Она готовит всю еду, она управляет турбазой. Но

когда люди выясняют, сколько всего она читала — и что при этом она никогда не училась в университете, — они иногда говорят, что ей следовало бы пойти поучиться, получить диплом.

— Зачем? — отвечает Барбара.

И выясняется, что она не хочет быть учительницей, научным работником, библиотекарем, редактором, режиссером документальных фильмов, литературным критиком. Писать статьи она тоже не хочет. Список того, что Барбара не хочет делать, — длиной с человеческую руку. Судя по всему, она хочет заниматься именно тем, чем занимается сейчас, — читать, ходить на прогулки, есть и пить с удовольствием, по временам терпеть общество гостей. И те, кто не ценит ее качеств — ее манеры уходить в себя, ее ленивого и праздного вида (у Барбары всегда ленивый и праздный вид, даже когда она готовит роскошный обед на тридцать персон), — недолго пробудут в числе гостей, чье общество Барбара терпит.

Пока Мюррей проводил модернизацию, брал займы и участвовал в муниципальной жизни, Барбара читала. Она всегда читала, но тогда чтение стало занимать у нее все больше и больше времени. Дети как раз пошли в школу. Бывали

дни, когда Барбара вообще не выходила из дому. У ее кресла всегда стояла чашка кофе и лежала стопка пыльных толстых книг из библиотеки. «В поисках утраченного времени». «Иосиф и его братья». Какие-то русские писатели второго плана, про которых Мюррей сроду не слыхал. Его мать говорила, что Барбара совсем помешалась на чтении. Неужели она не боится вносить в дом все эти библиотечные книги? Мало ли кто их держал в руках.

Читая такие тяжелые книги, Барбара и сама отяжелела. Не то чтобы прямо растолстела, но прибавила фунтов двадцать — двадцать пять. Они равномерно распределились по ее высокой фигуре, которая никогда не была особенно хрупкой. Лицо у нее тоже изменилось — лишняя плоть сгладила четкие линии, так что лицо стало мягче и в каком-то смысле моложе. Щеки раздулись, губы изогнулись так, что казалось — Барбара что-то скрывает. Иногда у нее лицо становилось — и сейчас иногда становится — точно как у поглощенной собой, весьма своенравной маленькой девочки. Теперь она читает тоненькие томики — чешских, японских, румынских писателей, — но не похудела от этого. Волосы у нее тоже по-прежнему длинные и такие же черные, как раньше,

только не у лица — там они побелели, будто на голову наброшен клочок тюля.

Мюррей и Барбара едут на машине вниз, с холмов на равнину, с вьющихся горных дорог — на плоскую сеть прямоугольников, которой расчерчена пахотная земля. Едут они в Уэлли, и по особой причине. Две недели назад Барбара обнаружила у себя уплотнение в ягодице. Она вытиралась, выйдя из пруда, — последнее купание сезона, последний теплый день в году. Комочек был твердый, размером со стеклянный шарик. «Не будь я такая толстая, я бы его раньше нашла», — сказала она без особого сожаления и тревоги. Они с Мюрреем говорили про этот узелок, как говорят про больной зуб — неприятность, с которой надо поскорее разобраться. В больнице в Уэлли уплотнение удалили. Образец ткани направили на анализ.

— Неужели бывает рак ягодицы? — спросила Барбара у врача. — По-моему, это ужасно унизительно.

Врач сказал, что опухоль может быть блуждающей — злокачественные клетки, возникшие в какой-то другой точке тела. Письмо в бутылке. И возможно, оно останется закупоренным — мы так и не узнаем происхождения этих нехороших

клеток. Если они в самом деле окажутся нехорошими.

— Будущее не откроется нам, пока мы этого не узнаем, — сказал врач.

Вчера позвонила секретарша доктора и сказала, что результаты пришли. Завтра после обеда Барбара должна явиться к врачу, в его кабинет в Уэлли.

— И все? — спросил Мюррей.

— Что все?

— Это все, что она сказала?

— Это секретарша, она и не может больше ничего сказать.

Они едут между двумя стенами кукурузы. Стебли высотой футов восемь-девять. Еще день-два, и их начнут убирать. К середине дня солнце уже стоит невысоко и подсвечивает стебли сбоку, обращая их в медное золото. Мюррей и Барбара едут в этом размеренном сиянии милю за милей.

Вчера ночью они засиделись: смотрели очень старый фильм — «Тропинка одинокой сосны». Мюррей видел его еще ребенком в кинотеатре «Рокси» в Уэлли. Все, что он помнил, — это как Бадди убили и Генри Фонда мастерит ему гроб из сосны.

Думая об этом, Мюррей начинает напевать:

«Как сосну, сосну срубили, в лесопилке распилили». И прерывает сам себя:

— Я всегда думал, что эта песня из того фильма.

Барбара подхватывает:

— «Распилили в лесопилке, сделать гроб для моей милки!..» Только, пожалуйста, не надо слюнтяйства.

— Я не слюнтяй, — говорит Мюррей. — Я просто забыл слова.

— Не жди меня в приемной. Там ужасно. Иди на пляж и там подожди меня. Я спущусь по Закатной лестнице.

Их путь лежит мимо фермы, где когда-то Беатрис Савицки держала лошадей. У нее одно время была школа верховой езды. Но недолго. Потом Беатрис стала брать лошадей на передержку, и тут, видимо, дело у нее пошло хорошо, поскольку она продолжала этим заниматься и жить на ферме; лишь четыре-пять лет назад она продала бизнес и, вероятно, куда-то перебралась. Они не знали, куда она могла перебраться; они встречали ее в городе несколько раз, но не заговаривали с ней. Проезжая мимо ее фермы и видя лошадей в поле, Мюррей или Барбара могли сказать: «Интересно все-таки, где сейчас Виктор». Они это говорили

не каждый раз, как ехали мимо, но где-то раз в год один из них произносил эти слова, а другой отзывался: «Бог знает», или еще что-нибудь в том же роде. Они совсем перестали так говорить, когда Беатрис уехала и лошади исчезли.

Когда Виктор Савицки впервые пришел в универмаг, он распугал продавщиц, как кот голубей, — так Мюррей рассказывал Барбаре. Вообще-то, многие продавщицы из тех, что достались Мюррею по наследству вместе с универмагом, и вправду напоминали голубей — седовласые старые девы, которым девство не помешало набрать вес и обзавестись выдающейся грудью. Легко было представить, как с появлением Виктора на этих грудях проступает холодный пот. Одна продавщица прибежала топоча по пандусу, ведущему в кабинетик Мюррея, и сообщила, что пришел иностранец и никто не может понять, что ему нужно.

Нужна ему была рабочая одежда. И не так уж тяжело было разобрать, что он говорит. (В конце концов, он несколько лет прожил в Англии.) Продавщиц в универмаге Зиглера напугал не польский акцент Виктора, а его внешность. Мюррей немедленно отнес Виктора к тому же классу человеческих существ, к которому принадлежа-

ла и Барбара, но внешность Виктора он считал гораздо более поразительной и тревожащей. Глядя на Барбару, он мог думать: такая женщина — редкость. Но все же она была женщиной, ему хотелось с ней переспать. (К этому времени они были женаты семь лет.) Виктор же привлекал его взгляд, как статное, гладкое животное — например, жеребец-паломино, смелый, но нервный, робкий, несмотря на поднятую им суматоху. Хочется сказать что-нибудь успокаивающее, но почтительное и погладить блестящую золотистую шею, если он позволит.

— Рабочая одежда, — повторил Мюррей.

Виктор был высокий, тонкокостный, словно отполированный. В кофейне отеля «Британская биржа», куда Мюррей с Виктором завели привычку ходить, к ним однажды подошла официантка и спросила:

— Вы не могли бы мне ответить на один вопрос? А то мы тут делаем ставки. Какой у вас рост?

— Мой рост шесть футов и пять дюймов[6], — ответил Виктор.

— Всего лишь? А мы-то думали, не меньше семи

---

[6] Примечания: 6
Около 196 см.

футов[7].

Кожа у него была светло-оливковая, волосы — русые, глаза — ярко-голубые. Глаза были слегка выпуклые, и веки на них как будто не поднимались до конца. Зубы — крупные, желтые, как и пальцы, от никотина. Курил он все время. Он курил, удивленно разглядывая рабочие комбинезоны в универмаге Зиглера. У них у всех штанины были слишком коротки для него.

Он рассказал, что они с женой, англичанкой, только что купили ферму на окраине городка. Мюррей хотел поговорить с Виктором не на виду у глазеющих продавщиц и повел его через дорогу, в кофейню отеля «Британская биржа» — так они оказались там в первый раз. Мюррей знал, о какой ферме говорит Виктор, и был о ней невысокого мнения. Но Виктор объяснил, что они не намерены возделывать землю. Они собирались держать лошадей и открыть школу верховой езды. Виктор спросил Мюррея, будет ли такая школа иметь успех. Достаточно ли в округе девочек из богатых семей?

— Я так думаю, для школы верховой езды обязательно нужны девочки из богатых семей. Это

---

[7] Примечания: 7
Около 213 см.

они всегда увлекаются лошадьми.

— Вы можете дать объявления в городских газетах, и девочки будут приезжать на лето.

— Ну конечно. В лагерь. Лагерь верховой езды. Здесь и в Соединенных Штатах они всегда ездят летом в лагерь, правильно?

Виктор явно пришел в восторг от этой идеи. Ему все казалось одинаково нелепым и одинаково приемлемым. Местные зимы: правда ли, что снег в этих местах лежит с октября по май? Правда, что дома заносит до подоконников? Можно ли пить некипяченую воду из колодца, или от этого можно заболеть брюшным тифом? Какие деревья лучше всего рубить на дрова для печки?

Позже Мюррей не мог вспомнить, какие вопросы Виктор задавал в первый день. И была ли грань между вопросами из повседневной жизни и более общими или более личными. Ему казалось, что не было — что они шли вперемешку. Когда Виктору что-то приходило в голову, он спрашивал. Когда были построены эти здания? Какая религия в этих местах главная и насколько серьезно люди верят? Кто этот важный мужчина, кто эта печальная женщина? Где люди работают? Есть ли тут агитаторы, вольнодумцы, большие богачи, коммунисты? Какие преступления совер-

шаются в городе, когда здесь последний раз было убийство, часта ли супружеская неверность? Играет ли Мюррей в гольф, есть ли у него яхта, называют ли его служащие в магазине «сэр»? (Не часто, нет, и нет.) Голубые глаза Виктора блестели воодушевлением, каков бы ни был вопрос, каков бы ни был ответ. Он вытянул длинные ноги, так что они торчали из кабинки, и сцепил руки на затылке. Он наслаждался новыми сведениями и новой обстановкой. Скоро Мюррей уже рассказывал о том, как его дед швырял монеты на улицу, о темных костюмах и подбитых шелком жилетах отца, о собственной давней мечте стать священником.

— Но вы им не стали?

— Я потерял веру. — Говоря это, Мюррей каждый раз вынужденно улыбался. — Это значит…

— Я знаю, что это значит.

Являясь к Мюррею в универмаг, Виктор не спрашивал разрешения ни у кого из продавцов, а сразу поднимался наверх, в кабинет, проходил по пандусу в подвешенную под потолком комнатку. Стены у нее были из кованого железа, примерно в рост Мюррея — пять футов девять дюймов[8].

---

[8] Примечания: 8
Около 175 см.

Виктор каждый раз пытался войти незаметно, но, конечно, его присутствие уже успевало взбудоражить универмаг, рассылая кругом волны настороженности, возбуждения, опаски. Мюррей обычно заранее знал о приходе Виктора, но делал вид, что не знает. Виктор устраивал ему сюрприз — возносил сверкающую голову над краем стены, опираясь на нее подбородком между заостренными декоративными наконечниками пик. И сам ухмылялся этому дурацкому зрелищу.

Мюррею это было невыразимо лестно.

У Виктора, конечно, была своя история. Он был на десять лет старше Мюррея; война застала его девятнадцатилетним студентом в Варшаве. Он учился водить самолет, но еще не получил лицензию пилота. Однако в то утро, когда немцы вошли в Польшу, он с друзьями отправился на летное поле, и они — практически в виде дурацкой юношеской выходки — подняли в воздух несколько самолетов, а потом улетели на них в Швецию. Оттуда Виктор перебрался в Англию и поступил в Польские воздушные силы — подразделение британских ВВС. Он сделал много вылетов, и его самолет сбили над Францией. Он выбросился с парашютом; прятался в лесах, ел сырую картошку с полей, ему помогло французское Сопротивление,

и он добрался до испанской границы. Он вернулся в Англию. И к своему огромному разочарованию, услышал, что ему больше не позволят летать. Он слишком много знает. Если его самолет снова собьют, если его захватят в плен, будут допрашивать — он слишком много знает. Он не мог найти себе места, был так разочарован, так всем надоел, что его еще раз послали на задание, более-менее секретное, — в Турцию. Он должен был стать частью сети, которая помогала полякам, и не только им, бежать через Балканы.

В это время Мюррей и его ровесники клеили модели самолетов; они оборудовали нечто вроде кабины пилота в школьном велосипедном сарае — там они могли играть в бомбежку Германии.

— Неужели ты во все это веришь? — спросила Барбара.

— Поляки действительно угоняли самолеты в Швецию из-под носа у немцев, — упрямо отвечал Мюррей. — И действительно случалось так, что пилотов сбивали над Францией и им удавалось сбежать.

— Ты думаешь, такому приметному человеку, как Виктор, удалось бы сбежать? Думаешь, такого приметного человека послали бы на тайное задание? Для этого нужно выглядеть как Алек

Гиннесс.

— Может, он не возбуждает подозрений именно потому, что он такой заметный, — сказал Мюррей. — Может, все думают, что человеку с такой внешностью никто никогда не поручит тайного задания, и именно потому его никто не заподозрит.

Тогда он впервые подумал, что цинизм Барбары бездумный и раздражает его. Ее цинизм был подобен некой причуде или нервному тику.

Этот разговор у них случился после того, как Виктор и Беатрис пришли в гости на ужин. Мюррей давно хотел познакомить Виктора с Барбарой. Представить их друг другу, можно сказать — выхвалиться каждым из них перед другим. Но когда такая возможность представилась, оба показали себя не с лучшей стороны. Оба вели себя отчужденно, с прохладцей, нервно, иронично.

Назначенный день в конце мая выдался необычно холодным и дождливым. Дети — Фелисити было пять лет, Адаму три — весь день играли дома, путались у Барбары под ногами, громили только что убранную ею гостиную и недостаточно утомились к моменту, когда пора было укладываться спать. Долгий светлый весенний вечер тоже не помогал делу. Дети то просили

пить, то заявляли, что у них болит животик, то начинали жаловаться на собаку, что чуть не покусала Фелисити на прошлой неделе. Наконец Адам ворвался в гостиную — в одной пижамной рубашонке, с криками: «Хосю бубу, хосю бубу!» «Бубой» он когда-то называл булочку, но давно уже вырос из этого детского словечка. Весьма вероятно, это представление вдохновила (и, возможно, даже отрепетировала с братом) Фелисити. Мюррей сгреб его в охапку, отнес в детскую и отшлепал по попе, очень кстати оказавшейся без штанов. Для ровного счета он шлепнул и Фелисити, а потом вернулся в гостиную, потирая руки — в ненавистной ему роли добродушного папаши, наказывающего детей для их же пользы. Дверь детской осталась закрытой, но из-за нее еще долго доносился упорный мстительный вой.

В этот вечер все с самого начала пошло не так. Открыв дверь, Мюррей экспансивно воскликнул: «Каштан роняет свечи, и цветы боярышника по ветру летят!»[9] — имея в виду погоду и ожидая, что Беатрис оценит цитату из английского поэта. Виктор, рассеянно улыбаясь, отозвался: «Что? Что вы сказали?» А Беатрис ответила: «Это сти-

[9] Примечания: 9

Из стихотворения А. Э. Хаусмана (1859–1936). Цитируется в переводе Г. Кружкова.

хи» — таким тоном, словно кто-то спросил: «Кто это там бежит через дорогу?» — а она ответила: «Это сурок».

Всегдашняя живость Виктора сегодня была как-то приглушена. Его широкая ухмылка, блестящие глаза, смех казались неуместными и вымученными, бессильными. Даже кожа потускнела и цветом напоминала оконную замазку. Мюррей подумал, что Виктор похож на принца из когда-то читанной им сказки. У принца были глаза из драгоценных камней, но их выковыряли, чтобы продать и на эти деньги помочь беднякам. Потом принц отдает с той же целью свою кожу из сусального золота. Маленькая ласточка, последний верный друг, одна не покидает его, когда он остается без глаз.

Весь дом пропах готовкой. Барбара зажарила в духовке свинину. Еще она сделала картошку по новому рецепту — порезала на тонкие ломтики и запекла в форме, намазанной маслом. Картошка показалась Мюррею чересчур жирной и притом сыроватой. Другие овощи были переварены — Барбара зашивалась в кухне и все время отвлекалась на детей. Пирог с орехами пекан был для такого ужина слишком тяжелым десертом, а его корочка чересчур зарумянилась. Беатрис

даже не попробовала пирог. Она и картошку не доела, оставила на тарелке. Она не смеялась над катастрофическим выступлением Адама. Вероятно, подумала, что детей надо хорошенько дрессировать и держать на коротком поводке — как лошадей.

Мюррею пришло в голову, что все его знакомые женщины, обожающие лошадей, ему неприятны. Узость взглядов, воинствующая праведность и отсутствие чувства юмора. И еще они, как правило, нехороши собой. Лицо у Беатрис было розовое, словно ободранное. Волосы — тусклые, седеющие, с плохой стрижкой. Губы она не красила — для женщины того времени это было необычно и означало либо крайнюю религиозность, либо презрение и безразличие к общественным установкам. Мешковатое серо-бурое платье со свободным же поясом говорило о том, что Беатрис не возлагает никаких надежд на этот вечер и не собирается делать ради него никаких уступок.

Барбара, напротив, была в сатиновой юбке желтого, оранжевого и медного цветов, туго перетянутой черным поясом, в черной блузке с глубоким вырезом. В ушах — крупные дешевые серьги-обручи. Одним из свойств Барбары, которых Мюррей не понимал и которыми не гордился

— в противовес тем ее свойствам, которых он не понимал, но гордился ими, — была ее любовь к дешевым зазывным тряпкам. Низкие вырезы, тугие пояса, тореадорские брючки в облипку. Проходя по улицам города, она выставляла свое тело, щедро одаренное природой, в тогдашнем модном стиле, точнее — в одном из тогдашних модных стилей: не Одри Хепберн, а Тины Луиз. Это вызывало у Мюррея неловкость — сложную и трудноописуемую. Ему казалось, что эта черта Барбары не вяжется с ее серьезностью, отстраненностью, язвительностью. Его мать могла бы предсказать такое поведение Барбары. («Я уверена, что она хорошая девушка, но мне кажется, ей кое-чего не хватает в смысле образования», — сказала тогда мать, и даже Мюррей понял, что речь идет не о школьных оценках и не о начитанности.) Еще больше его беспокоило то, что это поведение не вязалось также с сексуальным темпераментом Барбары, или тем, что Мюррей знал о ее темпераменте — а он полагал, что знает об этом все. На самом деле Барбара была не очень страстная. Иногда ему казалось, что она изображает страсть, которой не чувствует. По его мнению, откровенные одежды Барбары намекали именно на это и мешали обсуждению.

Эта одежда выражала какую-то неуверенность в себе, неумеренность, вызов. Мюррей смирялся со всеми недостатками Барбары — ее нетерпимостью, неуступчивостью, — но не хотел видеть ее глуповатой или жалкой.

Посреди стола стоял букет сирени в вазе. Он мешал подавать еду и сыпал мусором — опавшими цветами — на скатерть. Сирень все больше и больше раздражала Мюррея, и наконец он не выдержал.

— Барбара, эти цветы обязательно должны быть на столе? — Тоном настоящего мужчины, хозяина в своем доме. — Они все заслонили, даже разговаривать мешают.

На самом деле к этому времени разговор за столом полностью прекратился.

Барбара наклонилась, бесстыдно показав декольте. Без единого слова она подняла букет, осыпав блюдо с мясом и скатерть дождем из цветков сирени. Одна серьга Барбары свалилась с уха и попала в яблочное пюре.

Тогда им следовало бы засмеяться. Но никто не смог. Барбара наградила Мюррея мрачным взглядом. Он подумал, что можно уже расходиться — что ничего не изменится, если они встанут из-за стола, оставив не нужную никому еду и

вялую беседу. И разойдутся своей дорогой.

Виктор ложкой выловил серьгу из яблочного пюре, обтер своей салфеткой и, слегка поклонившись Барбаре, положил у ее тарелки. Он сказал:

— Я все пытался понять, какую героиню книги вы мне напоминаете.

Барбара прицепила серьгу обратно на ухо. Беатрис смотрела мимо головы мужа, или сквозь нее, на элегантные, но недорогие обои — кремовые медальоны на фоне цвета слоновой кости, — выбранные когда-то матерью Мюррея для сторожки садовника.

— Катерину Ивановну Верховцеву, — сказал Виктор. — Это невеста…

— Я знаю, — прервала его Барбара. — Я считаю, что она просто болячка.

По тому, как резко она оборвала фразу, Мюррей знал, что она хотела сказать «болячка в жопе».

— Это все Беатрис, — сказал Мюррей, помогая Барбаре мыть посуду. Он уже извинился перед ней за сирень. Он сказал, что это Беатрис выбила его из колеи, всем им испортила вечер.

— Виктор сам не свой в ее присутствии. Его светильник спрятан под спудом.

Он представил себе, как Беатрис пикирует на Виктора, чтобы загасить его светильник. Ее тор-

чащие острые кости. Ее отсыревшие юбки.

— Мне ни один из них не сдался, — сказала Барбара. Именно тогда у них вышел этот разговор о приметной внешности и тайных заданиях. Но в конце концов они допили вино, хохоча над выходкой Адама и Фелисити.

Виктор начал приходить к ним по вечерам. Видимо, тот званый ужин не оставил у него впечатления, что с их дружбой что-то не так. Кажется, это даже помогло ему освоиться. Во всяком случае, теперь он мог говорить о своем браке — не жаловаться и не объяснять, а просто говорить: «Беатрис хочет…» или «Беатрис считает, что…» — и знать, что его во многом поймут.

Через некоторое время он стал рассказывать им больше.

— Беатрис недовольна, что я не приготовил амбар под конюшню. Но мне надо сначала сделать сток, и плитку еще не привезли. Поэтому атмосфера на ферме сейчас не очень дружелюбная. Но стои́т прекрасное лето. Я счастлив здесь.

В конце концов он сказал:

— Деньги — у Беатрис. Вы понимаете? Она и вызывает музыканта. Нет, я, кажется, неправильно сказал.

Именно это Мюррей и предполагал.

— Он женился на ней ради денег и теперь вынужден отрабатывать, — сказала Барбара. — Но ему дают время ходить по гостям.

— Не может же он работать весь день и весь вечер, — ответил Мюррей. — Он больше не приходит днем пить кофе.

Так они теперь говорили о Викторе: Барбара отпускала шпильки, Мюррей его защищал. Это стало у них игрой. Мюррей был рад, что Барбара не встречает Виктора в штыки; она не выказывала неудовольствия, когда он приходил по вечерам.

Обычно он появлялся, когда Мюррей убирал на место газонокосилку, или подбирал разбросанные игрушки, или сливал воду из детского бассейна-лягушатника, или переставлял дождевальную установку на газоне у матери. (Мать, как обычно, уехала на часть лета далеко, в долину Оканаган.) Виктор неизменно предлагал помощь, двигаясь как растерянный, добрый робот. Потом они ставили два деревянных садовых кресла посреди заднего двора и усаживались. Они слышали, как Барбара возится в кухне, не зажигая света, — она говорила, что от лампочек ей жарко. Закончив, она принимала душ и выходила во двор босая, с голыми ногами, с запахом лимонно-

го мыла от мокрых длинных волос. Мюррей шел в дом и готовил три порции джина с тоником, со льдом и лаймом. Он вечно забывал, что Барбара не кладет лаймы в холодильник, и кричал ей из окна, спрашивая, где они, — может, она забыла их купить? Виктор слезал с кресла и растягивался на траве; его сигарета мерцала в полумраке. Они смотрели в небо, пытаясь увидеть спутник — все еще редкое и удивительное зрелище. До них доносился шум поливальных установок, порой далекие вопли, полицейские сирены, смех. Это из телевизора — телевизионные звуки неслись из открытых окон и сетчатых дверей по всей улице. Иногда двери хлопали — люди ненадолго покидали телевизор и бодро, но неуверенно окликали через забор соседей, которые точно так же сидели и пили у себя на заднем дворе или смотрели в небо. Чувствовалось, что рядом идут другие жизни — слышные, но отдельные; они плыли, не пересекаясь, под сенью кленов и вязов, растущих перед домами, в расчищенных пространствах задних дворов, как люди в одной комнате, переговариваясь, плывут, готовые вот-вот погрузиться в сон. Звон невидимых кубиков льда в стакане — медитативный, утешительный.

Иногда все трое играли в игру, которую Бар-

бара то ли изобрела, то ли где-то подхватила и переиначила. Игра называлась «Апельсины и яблоки», и Барбара обычно занимала ею детей во время долгих поездок на машине. Играющие должны были делать выбор — от простого до очень сложного. Для начала, например: арахисовая паста или овсяная каша? Потом нужно было выбрать между арахисовой пастой и яблочным пюре — уже сложнее. Труднее всего было сделать выбор между двумя очень приятными или очень неприятными вариантами или между двумя вещами, по какой-то причине совершенно несравнимыми. Выигрыш был невозможен. Удовольствие от этой игры заключалось в изобретении мучительных дилемм или в муках выбора, а заканчивалась она, когда кто-нибудь кричал: «Сдаюсь! Я больше не могу! Это ужасно глупо. Я даже думать об этом не хочу больше».

Что лучше: вареный свежий кукурузный початок или домашнее клубничное мороженое?

Что лучше: нырнуть в прохладное озеро в ужасно жаркий день или сначала долго пробиваться в метель через замерзшее болото, а потом войти в натопленную кухню, где печется хлеб?

Что ты предпочитаешь: заниматься любовью с женой Хрущева или с женой Эйзенхауэра?

Что ты выберешь: съесть кусок холодного застывшего свиного жира или сидеть и слушать торжественную речь на обеде в Киванис?[10]

Дела на ферме шли так себе. Колодезная вода оказалась непригодной для питья. Картофельную ботву побило фитофторой. В доме завелись разнообразные насекомые, а водосток еще не был окончен. Но оказалось, все эти беды — ничто по сравнению с человеческой злонамеренностью. Как-то вечером, когда Барбара еще не вышла, Виктор сказал Мюррею:

— Я больше не могу питаться на ферме. Я должен принимать пищу в кофейне.

— Что, так неприятно?

— Нет-нет. Всегда неприятно, но я открыл нечто такое, что гораздо хуже неприятности.

Яд. Виктор сказал, что нашел бутылку синильной кислоты. Он не знал, как давно она у Беатрис, но думал, что не очень давно. На ферме синильная кислота была не нужна. Виктор мог предположить только одно объяснение.

— Не может быть, — сказал Мюррей. — Не станет она такого делать. Она же не сумасшедшая.

---

[10] Примечания: 10

Киванис (Kiwanis) — североамериканская организация, объединяющая волонтеров, занимающихся благотворительной работой. Существует с 1915 года.

Она не отравительница.

— Но вы же не знаете. Вы понятия не имеете, что она за человек и на что способна. Вы думаете, она не может отравить, она английская дама. Но в Англии полно убийств, и часто убийцы — дамы, и джентльмены, и мужья, и жены. Я не могу есть в ее доме. Я даже не знаю, безопасно ли мне там спать. Вчера ночью я лежал рядом с ней и не спал, а она во сне была холодная, как змея. Я встал, ушел в соседнюю комнату и там лег на пол.

Мюррей вспомнил, что в здании универмага есть квартирка для смотрителя. На третьем этаже, окнами на задворки.

— Ну, если вы действительно в этом уверены… Если вы в самом деле хотите оттуда съехать…

Когда Виктор принял предложение — удивленный, радостный, благодарный, — Мюррей сказал:

— Барбара там приберется для вас.

Ему тогда не пришло в голову, что он сам или Виктор прекрасно могут подмести пару комнат и вымыть в них полы. Барбаре это тоже не пришло в голову. На следующий день она вымыла квартиру, принесла полотенца, постельное белье, кое-какую посуду и кастрюли. Хотя, конечно, она очень скептически отнеслась к истории с

отравлением:

— Что толку ей будет от него мертвого?

Виктор сразу нашел работу. Он устроился ночным сторожем — охранять наземные сооружения соляной шахты. Ему нравилось работать по ночам. Машины в его распоряжении больше не было, и он выходил на работу пешком в полночь и возвращался в квартиру утром. Если Мюррей оказывался в универмаге в половине девятого, то слышал, как Виктор поднимается по задней лестнице. Как ему спится среди бела дня в комнатенке под раскаленной плоской крышей?

— Я сплю великолепно, — сказал Виктор. — Я готовлю, я ем, я сплю. Я имею облегчение. Внезапно имею покой.

Однажды Мюррей неожиданно вернулся домой посреди дня.

Эти слова позже сформировались у него в голове. Такие банальные и зловещие. «Однажды я неожиданно вернулся домой посреди дня…» Возможна ли вообще история о мужчине, который неожиданно возвращается домой и получает приятный сюрприз?

Мюррей неожиданно вернулся домой и обнаружил… Нет, не Виктора с Барбарой в постели. Виктора в доме вообще не было. Никого не было.

Виктора не было и во дворе. Там был Адам, он плескался в пластмассовом бассейне. Недалеко от бассейна лежала Барбара — на выцветшем одеяле с пятнами масла для загара, это одеяло они обычно брали с собой на пляж. Барбара была в черном купальнике без бретелек — он напоминал корсет, и всего лишь несколько лет спустя его сочли бы совершенно непривлекательным. Он впивался в ягодицы, врезался в бедра, туго стягивал талию и живот, приподнимал и выпячивал грудь, так что она казалась сделанной из чего-то жесткого, вроде пенопласта. Руки, ноги и плечи Барбары на солнце выглядели белыми, хотя в помещении становилось видно, что они загорели. Она не читала, хотя рядом была раскрытая книга. Барбара лежала на спине, вытянув расслабленные руки вдоль тела. Мюррей хотел окликнуть ее через сетчатую дверь, но передумал.

Почему? Он увидел, как она поднимает руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Потом она приподняла бедра, чуть переменила позу. Это движение могло бы показаться абсолютно естественным, случайным — наши тела все время слегка движутся, практически незаметно для нас. Отчего же Мюррей что-то заподозрил? В этой легкой волне, прошедшей по плоти и затихшей,

в некой паузе, намеренности, неловкости он — знающий тело этой женщины — понял, что она не одна. Во всяком случае, в мыслях своих она не одна.

Мюррей перешел к окну над кухонной раковиной. Задний двор отделяла от проулка на задворках и от платформы, куда сгружали привезенные в универмаг товары, высокая живая изгородь из кедров. Но двор — та часть его, где лежала Барбара, — был виден из окна квартиры на третьем этаже магазина. Барбара не повесила на окна квартиры занавески. И Мюррей увидел, что там, у окна, сидит Виктор. Он принес туда стул, чтобы сидеть и смотреть в свое удовольствие. На лице у него было что-то странное, словно он надел противогаз.

Мюррей ходил в спальню за недавно купленным биноклем. (Он планировал совершать долгие прогулки по сельской местности и учить детей различать птиц.) Он очень тихо двигался по дому. Адам достаточно громко шумел во дворе, чтобы заглушить его шаги.

Посмотрев на Виктора в бинокль, Мюррей увидел лицо, подобное собственному, — частично скрытое биноклем. У Виктора тоже был бинокль. И он смотрел через него на Барбару.

Оказалось, что он голый. Во всяком случае, те части его тела, что виднелись в окно, были голые. Он сидел на стуле у окна в раскаленной солнцем комнате. Мюррей чувствовал жару комнаты, скользкое от пота жесткое сиденье стула и мощное, но управляемое, сосредоточенное возбуждение Виктора. А глядя на Барбару, он ощущал свечение по поверхности ее тела, энергию, которая вся собиралась на коже, пока Барбара отдавалась напору. Она лежала не абсолютно неподвижно — по ее телу постоянно пробегала едва заметная волна. Ерзаний, подергиваний. Смотреть было невыносимо. В присутствии собственного ребенка, среди бела дня, на собственном дворе она лежала на траве, зазывая чужого мужчину. Обещая — нет, уже обеспечивая — идеальную подстройку под его желания. Непристойно, захватывающе, невыносимо.

Мюррей видел себя со стороны — мужчину с биноклем, глядящего на мужчину с биноклем, глядящего на женщину. Сцена из фильма. Комедия.

Он не знал, куда деваться. Он не мог выйти во двор и прекратить это. Он не мог вернуться в магазин, зная, что происходит у него над головой. Он вышел из дома, сел в машину, которую держал

в гараже у матери, и поехал прокатиться. В голове у него сформировалась другая фраза, следующая после «Однажды я неожиданно вернулся домой»: «И я понял, что моя жизнь уже никогда не будет прежней».

Но на самом деле он этого не понял. Он говорил: «Моя жизнь изменилась, моя жизнь уже не будет такой, как раньше», но не осознавал этого.

Он проехал по непарадным улицам Уэлли, через железнодорожный переезд и прочь из города. Все выглядело как обычно и в то же время было не настоящим — мерзкой имитацией. Он опустил окна для ветерка, но ехал слишком медленно — с городской скоростью, хотя был уже за городом. Грузовик загудел ему, обгоняя. Это произошло у ворот кирпичного завода. Громкий гудок грузовика и солнце, отразившееся от кирпичей, настигли его одновременно, ударили по голове так, что он застонал, словно с похмелья.

Обыденная жизнь шла своим чередом, окаймленная катастрофой, словно полосой пляшущих языков пламени. Мюррею казалось, что его дом прозрачен, его жизнь прозрачна, но все еще идет как раньше. И что сам он — незнакомец, бесшумно ступающий, злобно замечающий всё.

Какие еще открытия его ждут? За ужином дочь

сказала:

— Мама, почему мы этим летом совсем не ходим на пляж?

Мюррею было трудно поверить, что дочь ничего не знает.

— Ты ходишь, — ответила Барбара. — Ты ходишь с мамой Хезер.

— Но почему ты не ходишь? И Адам не ходит?

— Нам с Адамом нравится тут. — У Барбары ужасно самодовольный, самоуверенный голос. Бархатистый такой. — Я устаю, когда мне приходится разговаривать с Другими Мамами.

— Ты не любишь маму Хезер?

— Почему же, люблю.

— Не любишь.

— Люблю. Просто я ленивая. Сторонюсь общества.

— Не любишь, — удовлетворенно сказала Фелисити.

Она вышла из-за стола, и Барбара принялась, вроде бы развлекая Мюррея, описывать пляжный лагерь, устроенный Другими Мамами. Их складные стулья и зонтики, надувные игрушки и матрасы, полотенца, сменная одежда, кремы от загара, масла, антисептики, пластыри, шляпы от солнца, лимонады, кул-эйд, намороженные дома

эскимо из фруктового льда и здоровые, полезные продукты для перекуса.

— Чтобы маленькие чудовища не ныли, требуя купить им картошку фри. Эти женщины даже не смотрят на озеро, разве что их дети там купаются. Они беседуют об астме своих детей или о том, где купить футболки подешевле.

Виктор все так же приходил по вечерам. Они все так же сидели на заднем дворе и пили джин. Но теперь Мюррею казалось, что Виктор и Барбара забросили все игры и бесцельные разговоры, предоставив их ему. Они смеялись его шуткам и анекдотам, восхищались, когда ему удавалось заметить падучую звезду. Он часто оставлял их наедине. Ходил на кухню, чтобы принести еще джину или льда или проведать детей, якобы услышав, что кто-то из них заплакал. Он представлял себе, как длинная босая ступня Виктора выскальзывает из сандалии, сперва легко касается услужливо подставленной ноги Барбары, а потом с силой месит ее ляжку, бедро. Руки мнут любую часть тела, какая подвернется. Возможно, на краткий рискованный миг даже языки соприкасаются. Но когда он, топоча, выходил наружу, они всегда оказывались на приличном расстоянии друг от друга и вели коварно обыденный

разговор.

Виктор был вынужден уходить раньше, чтобы успевать на смену в шахте. «Мне пора в забой», — говорил он, как многие жители в округе, и в их случае эта шутка была в буквальном смысле правдой.

После его ухода Мюррей занимался любовью с Барбарой. Он был с ней груб и раскован, как никогда. Ему казалось, что все пропало, все испорчено. Это разрушение, думал он. Еще одна фраза сформировалась у него в голове: «Это — разрушение любви». Он моментально засыпал, потом просыпался и вновь овладевал Барбарой. Она была полна новой покорности и пассивности, а после завтрака целовала его на прощание — как казалось ему, со странным, новеньким, еще не поблекшим сочувствием. Солнце светило каждый день, от него у Мюррея болели глаза, особенно по утрам. Вечерами они теперь пили больше — по три-четыре порции вместо двух, и Мюррей подливал в каждый стакан больше джина.

Потом настало время, когда он не мог уже оставаться в универмаге после обеда, и он стал брать машину и уезжать за город. Он миновал городки, далекие от озера: Логан, Карстэрс, Дэлби-Хилл. Иногда он доезжал до самого охотничьего лагеря,

который когда-то принадлежал его отцу, а теперь — ему самому. Там он вылезал из машины и ходил или сидел на ступеньках заколоченного, заброшенного домика. Иногда среди всех своих бед он чувствовал невероятный душевный подъем. Вот сейчас, в эту самую минуту, его грабят. Освобождают от всей его жизни.

Тем летом, как каждое лето, настало воскресенье, которое они традиционно проводили за сбором ежевики вдоль проселков. Весь день Мюррей, Барбара, Адам и Фелисити собирали ягоды, а на пути домой купили сладкой кукурузы у фермера, торговавшего при дороге. Барбара приготовила традиционный ужин — первые початки кукурузы и первый пирог из свежей ежевики. Погода переменилась, еще когда они собирали ягоды, а когда они покупали кукурузу, жена фермера уже закрывала щитами придорожный ларек и грузила в машину все, что не успела продать. Они были ее последними покупателями. Небо скрыли темные тучи, и ветер, какого они не видали несколько месяцев, трепал ветки и срывал с них сухие листья. Первые капли дождя упали на лобовое стекло, и в Уэлли машина въезжала уже сквозь самый настоящий ливень. В доме было так промозгло, что Мюррей включил

бойлер, и с первой волной тепла по дому прошел запах погреба — забытый подземный запах корней, земли, сырого бетона.

Мюррей вышел под дождь и забрал с газона поливальную установку, пластмассовый бассейн. Садовые кресла он задвинул под стреху.

— Неужели наше лето кончилось? — сказал он Барбаре, стряхивая дождевые капли с волос.

Дети смотрели диснеевские мультики. Окна запотели от варящейся кукурузы. Семья поужинала. Барбара вымыла посуду, пока Мюррей укладывал детей спать. Когда он закрыл дверь детской и спустился на кухню, Барбара сидела у стола в почти полной темноте и пила кофе. На ней был свитер, который она носила прошлой зимой.

— А как же Виктор? — спросил Мюррей. Он включил свет. — Ты оставила ему одеяла в квартире?

— Нет, — ответила Барбара.

— Тогда он сегодня ночью замерзнет. В здании отопление не включено.

— Если он замерзнет, то может прийти и попросить одеял.

— Он не придет и не попросит.

— Почему?

— Не придет, и все.

Мюррей пошел к стенному шкафу в прихожей и достал два тяжелых одеяла. Он принес их на кухню.

— Может, отнесешь эти? — Он положил одеяла на стол.

— А чего бы тебе их не отнести? Почему ты вообще уверен, что он там?

Мюррей подошел к окну над раковиной:

— У него свет горит. Он там.

Барбара неловко встала. Она вздрогнула, словно до сих пор держала себя в руках, а теперь ей стало холодно.

— Думаешь, этого свитера хватит? — спросил Мюррей. — Может, плащ наденешь? И причешешься?

Барбара удалилась в спальню. Вышла она оттуда в белой атласной блузке и черных брюках. Она причесалась и накрасила губы новой, очень светлой помадой. Рот казался парадоксально белым на загорелом лице.

— Без плаща? — спросил Мюррей.

— Я не успею замерзнуть.

Он положил одеяла ей на руки. Открыл для нее дверь.

— Сегодня воскресенье, — сказала она. — Ма-

газин заперт.

— Точно. — Мюррей снял запасной комплект ключей с крючка на кухне. Он напомнил Барбаре, который из ключей открывает боковую дверь здания.

Он следил за мерцанием ее блузки, пока светлое пятно не растворилось в темноте, а потом прошелся по дому — очень быстро, шумно дыша. Он остановился в спальне и взял в руки снятую Барбарой одежду. Джинсы, рубашку, свитер. Он прижал их к лицу, вдыхая запах, и подумал: «Это как игра». Он хотел посмотреть, сменила ли она трусы. Он потряс джинсы, но трусов в них не было. Он посмотрел в корзине для грязного белья, но и там их не увидел. Может, ей хватило хитрости спрятать сброшенные трусы под детскими вещами? Но к чему ей теперь хитрить?

Ее джинсы пахли так, как пахнут джинсы, которые долго носили не стирая, — не только телом, но еще и всеми занятиями этого тела. Он уловил запах чистящего средства и застарелой готовки. А вот мука — она попала на джинсы сегодня вечером, когда Барбара месила тесто для пирога. Рубашка пахла мылом, пóтом и, кажется, дымом. Дым ли это? Табачный дым? Мюррей понюхал еще и засомневался, что это вообще дым.

Он вспомнил слова матери о том, что Барбаре не хватает образования. Вещи матери никогда не пахли так — ее телом и ее жизнью. Она имела в виду, что Барбара не знает правил хорошего тона, но, может быть, она еще хотела сказать, что Барбара… шлюха? Женщина легкого поведения? Слыша эти слова, Мюррей всегда представлял себе незастегнутую блузку, что легко соскальзывает с тела, как бы говоря: оно доступно, оно хочет. А теперь он подумал, что, может быть, эти слова обозначают именно легкость. Такая женщина не прикована к месту, не отягощена грузом, ненадежна, в любую минуту может упорхнуть.

Барбара упорхнула от собственной семьи. Покинула ее полностью. Как же Мюррей до сих пор не понял: ведь это значит, что она точно так же может упорхнуть и от него.

Разве он не понимал этого раньше?

Он понимал, что его могут ждать сюрпризы.

Он вернулся на кухню. («Мужчина вваливается в кухню».) Он налил себе полстакана джина без тоника и льда. («Он наливает себе джина».) Он подумал о том, какие унижения его ждут. Мать обретет новый стимул к жизни. Она заберет детей. Он и дети переедут в дом к матери. А может, дети переедут туда, а он останется тут и будет

пить джин. Барбара и Виктор придут его навестить, желая сохранить дружбу. Они заведут свой дом и будут приглашать его на вечер, и он, может быть, даже придет.

Нет. Они не будут о нем думать. Они изгонят самую мысль о нем. Они уедут из города.

Ребенком Мюррей редко ввязывался в драки. Он был дипломатичен и добродушен. Но в конце концов он оказался посреди драки, и его сбили с ног. На школьном дворе в Уэлли. Его оглушило — может, на полминуты. Он лежал на спине, ошарашенный, и смотрел, как листья на дереве над ним превращаются в птиц — сперва черные, потом яркие, когда солнце пробилось сквозь них и ветер пошевелил их. Его вышибло в свободное, легкое пространство, где любая форма была легкой, переменчивой, а он сам оставался неизменным. Он лежал и думал: «Теперь это случилось со мной».

Лестница из семидесяти восьми ступенек, ведущая с пляжа в парк на вершине утеса, называется Закатной лестницей. Рядом с ней стоит стенд, на котором ежедневно, с начала июня по конец сентября, вывешивают время захода солнца. «ПОЛЮБУЙТЕСЬ ЗАКАТОМ ДВАЖДЫ ЗА ОДИН ВЕЧЕР», — написано на стенде, и стрелка

указывает на лестницу. Имеется в виду, что, если очень быстро взбежать по ступенькам наверх, можно еще раз увидеть, как солнечный диск исчезает за горизонтом. Гости города думают, что эта идея и обычай вывешивать время захода солнца — старая традиция Уэлли. На самом деле это нечто новое, изобретение городского союза предпринимателей.

Дощатый тротуар вдоль берега тоже новый. Старомодная эстрада в парке — новая. Раньше там никогда не было эстрады. Старомодное очарование нравится туристам, и Мюррей, конечно, ничего не имеет против — он сам работает в туристическом бизнесе. Горожанам все это теперь тоже нравится. В то лето, в шестидесятых, когда Мюррей часто разъезжал в машине по окрестностям, ему казалось, что вся прежняя жизнь содрана, сброшена, свалена гнить и погружаться в забвение. Новые машины уничтожали прежний уклад фермерской жизни, рабочие валили деревья, расширяя дороги, деревенские лавчонки, школы и дома приходили в запустение. Казалось, все живое требует торговых центров, асфальтированных парковок и пригородных газонов, гладких, как краска. Мюррей был вынужден признать, что отстал от времени, что ценит

вещи, которые лишь случайны и преходящи, так, будто они вечны.

Результатом этого признания, несомненно, стала оргия модернизации, устроенная им в магазине через несколько месяцев.

А теперь кажется, что мир обратился в прежнюю веру Мюррея. Люди восстанавливают старые дома и строят новые со старомодными верандами. Трудно найти человека, которому не нравились бы тенистые деревья, сельские магазинчики, торгующие всем подряд, колонки с водой, амбары, качели, всякие уютные уголки. Но сам Мюррей уже не помнит, почему так любил подобные вещи, и не находит в них утешения.

Дойдя до конца дощатого тротуара — там, где на пляже столпилась рощица кедров, — Мюррей садится на каменный валун. Сначала он заметил странную красоту этого валуна — его словно раскололи по диагонали, а потом половинки снова сложили вместе, но не совсем точно, так что рисунок сдвинулся по ломаной линии. Мюррей достаточно помнит из геологии, чтобы понять: это разлом; валун, значит, происходит из докембрийского щита в сотне миль отсюда. Этот камень сформировался еще до наступления последнего ледникового периода; он гораздо старше, чем

берег, на котором он лежит. Можно посмотреть, как он сложился после разлома: верхний слой затвердел волнами, как взбитые сливки.

Мюррей потерял интерес к валуну и сел на него. Теперь он сидит и смотрит на озеро. На горизонте линия бирюзового цвета — тонкая, будто нарисованная бирюзовыми чернилами, — потом чистая синева до самого волнолома, а дальше волны — зеленые и серебряные, они разбиваются о песок. Французы назвали это озеро *La Mer Douce*[11]. Но, конечно, цвет может измениться меньше чем за час; озеро взъярится, повинуясь ветру и всему, что поднимается со дна.

Люди сидят и смотрят на озеро, как никогда не станут смотреть на поле колышущейся травы или колосьев. Почему? Движение-то одно и то же. Должно быть, их завораживает уходящая, точащая камень вода. Она все время возвращается — подгрызая, изменяя берег.

То же происходит с человеком, умирающим от этой болезни. Мюррей видел своего отца и других. Больной размывается, исчезает — один тонкий слой за другим, пока не останется только выбеленная кость.

---

[11] Примечания: 11
Здесь: «кроткое море» *(фр.)*.

Мюррей не смотрит в ту сторону, но чувствует, когда на пляже появляется Барбара. Он поворачивается и видит ее на верху лестницы: высокая, в осенней пелерине из тканной вручную шерсти цвета пшеницы. Она спускается по ступенькам — без особой спешки и без колебаний, не держась за перила, — с обычным целеустремленным, но безразличным видом. Мюррей не может сделать никаких выводов из ее походки.

Когда Барбара открыла заднюю дверь, волосы у нее были мокрые от дождя — слиплись сосульками, — а атласная блузка живописно промокла.

— Что ты делаешь? — спросила она. — Что ты пьешь? Это неразбавленный джин?

Тогда Мюррей сказал нечто такое, о чем ни один из них ни разу не упомянул за все эти годы и о чем ни один из них не забыл:

— Он что, не захотел тебя?

Барбара подошла к столу и прижала голову Мюррея к мокрому атласу, к острым мелким пуговкам — безжалостно притиснула меж своих твердых грудей.

— Мы больше никогда не будем об этом говорить, — сказала она. — Никогда. Хорошо?

Теперь он учуял на ней сигаретный дым и еще — запах чужой кожи. Она прижимала его голову,

пока он не отозвался эхом:

— Хорошо.

И она не нарушила своих слов, даже когда Мюррей сказал ей, что Виктор уехал утренним автобусом и оставил записку, адресованную им обоим. Она не попросила дать или показать ей записку, не спросила, что в ней.

(«Я полон благодарности, и теперь у меня достаточно денег, так что, я думаю, мне настало время вести мою жизнь в другом месте. Я думаю о том, чтобы поехать в Монреаль, где я с удовольствием буду говорить по-французски».)

Сойдя с последней ступеньки, Барбара нагибается и поднимает что-то белое. Они с Мюрреем идут навстречу друг другу по дощатому тротуару, и через минуту Мюррей уже видит, что́ это: белый воздушный шарик, слегка обмякший, увядший.

— Погляди, — говорит Барбара, подходя. Она читает надпись на карточке, привязанной к веревочке шарика: — «Энтони Берлер. 12 лет. Школа Джолиет, Кромптон, Иллинойс. 15 октября». Это три дня назад. Неужели шар прилетел сюда всего за три дня?

— Всё в порядке, — говорит она затем. — Ничего не нашли. Оно было не плохое. Можно не беспокоиться.

— Да, — говорит Мюррей. Он держит ее за руки, вдыхает лиственный, кухонный запах от ее черно-белых волос.

— Ты что, дрожишь? — спрашивает она.

Он не думает, что дрожит.

Легко, без чувства вины, как умеют давно женатые люди, он стирает мысль, которая мелькнула, когда он увидел жену на верху лестницы: «Только не разочаруй меня опять».

Он смотрит на карточку у нее в руке и говорит:

— Тут еще что-то написано. «Любимая книга — „Последний из могикан“».

— О, это он для учительницы написал, — говорит Барбара со знакомым легким фырканьем-смехом в голосе, обесценивающим, обещающим. — Это вранье.

Фотографии льда

За три недели до смерти — он утонул, катаясь на лодке по озеру, чьего названия из его уст никто никогда не слышал, — Остин Коббет стоял в магазине мужской одежды Кроуфорда в Логане, погрузившись в зеркальные плоскости трюмо. Он созерцал себя в бордовой спортивной рубашке и брюках в бордово-коричнево-кремовую шотландскую клетку. То и другое из немнущейся ткани.

— Слушай меня, — сказал ему Джерри Кроуфорд. — Темная рубашка и брюки посветлее — верное дело. Такое сочетание молодит.

Остин фыркнул:

— Ты слыхал такое выражение: подсунуть старую овцу под видом ягненка?

— Так только про женщин говорят. И вообще в наши дни все по-другому. Уже не бывает отдельной одежды для пожилых людей. Мода относится ко всем.

Джерри собирался немного подождать, чтобы Остин свыкся с тем, что на нем надето, и тогда предложить ему шейный платок дополнительных цветов и кремовый пуловер. Остину следо-

вало максимально прикрывать тело. С год назад умерла жена Остина, а в приход Объединенной церкви наконец прислали нового настоятеля. (Остин, разменявший восьмой десяток, был официально на пенсии, но остался заполнять вакансию, пока нанимали нового священника и торговались по поводу его зарплаты.) За это время Остин сильно похудел, мышцы его усохли, и тело приобрело старческую форму — впалая грудь, большой живот. На шее выступили жилы, нос удлинился, щеки обвисли. Он был как старый петух — жилистый, костлявый, но достаточно бодрый, чтобы жениться второй раз.

— Брюки надо будет ушить, — сказал Джерри. — У нас ведь еще есть время, правда? Когда у тебя знаменательный день?

Остин должен был играть свадьбу на Гавайях, где жила его жена. Будущая жена. Он назвал дату — до нее оставалась еще пара недель.

Тут пришел Фил Стейделмен из банка «Торонто Доминион» и не узнал Остина со спины, хотя много лет был его прихожанином. Он никогда не видел своего священника в такой одежде. Фил рассказал анекдот про эскимоса, сдавшего анализы для проверки на СПИД. Джерри пытался его остановить, но не смог. «Эскимос сдавал тест

на СПИД. Приходит за результатом. Врач говорит: „Результат отрицательный“. Эскимос возвращается в чум грустный. Его спрашивают, что такое. Он отвечает: „Тест завалил, пересдавать придется“».

Тут Остин обернулся. Но не сказал: «Не знаю как вам, а мне кажется, что СПИД не очень удачная тема для шуток» или «Интересно, какие анекдоты эскимосы рассказывают о жителях округа Гурон». Он сказал: «Вот умора». И засмеялся.

«Вот умора». А потом он спросил мнение Фила о его обновках:

— Как ты думаешь, если я в этом приеду на Гавайи, надо мной не будут смеяться?

Карин узнала об этом, когда, отработав смену регулировщицей на пешеходном переходе у школы, зашла в пончиковую выпить кофе. Она сидела у прилавка и слышала, как позади, за столиком, разговаривают двое мужчин. Она обернулась и сказала:

— Слушайте, меня бы спросили. Он изменился. Я его вижу каждый день и точно знаю.

Карин — высокая, худая, с грубой кожей, хриплым голосом и светлыми волосами, у которых темные корни длиной дюйма два. Карин отращивает темные волосы, и уже настал момент,

когда осветленное пора состричь, но она все не стрижется. Когда-то она была долговязой, робкой, хорошенькой блондинкой и ездила с мужем на мотоцикле, на заднем сиденье. Теперь она стала немножко странная — совсем чуть-чуть, иначе ее не взяли бы регулировать переход у школы даже по рекомендации Остина Коббета. Она вмешивается в чужие разговоры. Она все время ходит в одном и том же — джинсах и старом темно-синем дафлкоте. У нее сердитое, подозрительное лицо, и она таит злобу на своего бывшего мужа и не стесняется ее высказывать. Она пишет пальцем всякое на его машине: «Ложный христианин», «Лицемер и пролаза», «Брент Дюпрей — змей». Никто не знает, что она также написала на его машине: «Лазарь — херня», потому что она потом вернулась и стерла надпись рукавом (она ходит писать гадости по ночам). Почему? Эти слова показались ей опасными — пожалуй, доведут до беды. Не до неприятностей с полицией, а до чего-то смутного, сверхъестественного. Карин ничего не имеет против библейского Лазаря — надпись была про «Дом Лазаря», заведение, которым Брент управляет и в котором сейчас сам живет.

А Карин живет все там же, где прошли последние месяцы ее с Брентом совместной жизни, — на

втором этаже над магазином скобяных товаров, окнами на задний двор. Большая комната с альковом (где был ребенок) и кухонькой в углу. Карин много времени проводит у Остина — вычищает дом, готовя его к отъезду хозяина на Гавайи. Остин по-прежнему живет в старом доме священника, при церкви на Пондишерри-стрит. Новому священнику построили новый дом за счет церкви, очень неплохой, с патио и гаражом на две машины — ведь в наши дни жены священников зачастую работают. Это очень большое подспорье для семьи, если жена может устроиться учительницей или медсестрой, но тогда нужны две машины. Старый дом священника — из серовато-белого кирпича, отделка веранды и фронтона покрашена в синий цвет. Домом надо было бы заниматься как следует. Теплоизоляция, почистить кирпич пескоструйкой, заново покрасить, вставить новые окна, поменять кафель в ванной. По вечерам, шагая домой, Карин часто развлекается фантазиями о том, что она сделала бы с этим домом, принадлежи он ей и будь у нее деньги.

Остин показывает ей фотографию Шейлы Бразерс, своей невесты. Точнее, на фотографии все трое: Остин, его жена и Шейла Бразерс. Они стоят

на фоне бревенчатого здания и сосен. Это ретрит, где Остин познакомился — точнее, он и его жена познакомились — с Шейлой. Остин в черной рубашке и белом воротничке священника. Вид у него какой-то неискренний — виноватая священническая улыбка. Жена не смотрит на него, но ее цветастый шарфик, завязанный большим бантом, трепещет у его шеи. Пушистые белые волосы, аккуратная фигура. Элегантная женщина. Шейла Бразерс — миссис Бразерс, она вдова — смотрит прямо перед собой, у нее единственной из трех лицо бодрое. Короткие светлые волосы, деловито зачесанные назад, коричневые брюки, белая свитшотка, из-под которой заметными буграми выпирают груди и живот. Она смотрит прямо в объектив, явно не беспокоясь, как выйдет на снимке.

— Вид у нее счастливый, — замечает Карин.

— Ну, она тогда еще не знала, что выйдет за меня замуж.

Он показывает ей открытку с видом города, где живет Шейла. Туда, на Гавайи, Остин собирается переехать. И фотографию дома Шейлы. Вдоль главной улицы города, прямо посередине, растут в ряд пальмы. Дома на улице низкие, белые или розоватые, с фонарных столбов свисают пере-

полненные цветами корзины, и над всем этим синеет густой бирюзой небо, на котором написано летящими буквами, словно свернутыми из шелковой ленты, название города — гавайское, такое, что не выговорить и не запомнить. Висящее в небе название города казалось столь же реальным или столь же нереальным, как и весь остальной городской пейзаж. Что же касается дома Шейлы, то его практически не было видно — лишь кусок балкона среди красных, розовых, золотых цветущих деревьев и кустов. Но перед домом был пляж — песок чистый, как сливки, и об него разбиваются волны, яркие, как драгоценные камни. Здесь будет гулять Остин Коббет со своей дружелюбной Шейлой. Неудивительно, что он решил полностью сменить гардероб.

Остин нанял Карин, чтобы полностью вычистить дом. Вплоть до книг, старой пишущей машинки, фотографий жены и детей. Сын Остина живет в Денвере, дочь — в Монреале. Он писал им, говорил с ними по телефону и попросил забрать все, что они хотят. Сын захотел взять столовый гарнитур — на следующей неделе за ним придет грузовик. Дочь сказала, что ей ничего не надо. (Карин уверена, что она передумает, — людям всегда что-нибудь да хочется.) Всю мебель, книги,

картины, ковры, тарелки, кастрюли и сковороды отправят в «Аукционный амбар». Машину Остина тоже продадут с молотка, и электрическую газонокосилку, и снегосдуватель, подаренный сыном на прошлое Рождество. Аукцион состоится после отъезда Остина на Гавайи, и вся выручка пойдет в «Дом Лазаря». Остин основал «Дом Лазаря», когда был священником. Правда, он его не так назвал: сначала это учреждение называлось «Поворот кругом». Но теперь решили — Брент Дюпрей решил — дать ему новое название, более религиозное, более христианское.

Сначала Остин собирался просто отдать все эти вещи «Дому» в пользование. Потом подумал, что гораздо уважительней будет отдать им деньги, пускай тратят по своему усмотрению. Пусть купят то, что им понравится. Не надо заставлять людей пользоваться тарелками его жены и сидеть на ее старом диване.

— А что, если они возьмут и купят на все деньги лотерейные билеты? — спросила Карин. — Вы не думаете, что это слишком большое искушение?

— В жизни шагу не ступишь без искушений, — ответил Остин с бесящей улыбочкой. — Что, если все билеты возьмут да выиграют?

— Брент Дюпрей — змей.

Брент захватил полный контроль над «Домом Лазаря». Остин задумывал его как приют для людей, желающих бросить пить или отказаться от какого-то другого порока, поглотившего их жизнь; теперь он стал обиталищем «вновь родившихся во Христе», с молитвенными бдениями длиной во всю ночь, пением гимнов, стенаниями, признаниями в собственной греховности. Именно так Брент захватил власть — став религиознее самого Остина. Остин помог Бренту бросить пить; он тащил и тянул Брента, пока не вытянул его из старой жизни и не втянул в новую, в которой Брент руководит «Домом», получая субсидии от церкви, правительства и так далее. Он, Остин, совершил большую ошибку, думая, что удержит Брента на этой позиции. Встав на дорогу святой жизни, Брент набрал скорость и обогнал Остина, пронесся мимо его тихой, осмотрительной веры и помчался дальше. Он стакнулся с фракцией прихожан Остина, стремящейся к более строгой, более агрессивной версии христианства. Остина практически одновременно выдавили из «Дома Лазаря» и из собственного прихода. А нового священника Брент прибрал к рукам почти мгновенно. И несмотря на это — или из-за этого — Остин хочет отдать деньги «Дому Лазаря».

— Кто скажет с уверенностью, что путь Брента менее приближает к Господу, чем мой? — говорит он.

Карин уже давно не следит за языком:

— От таких слов мне блевать хочется.

Остин напоминает ей, что она должна вести учет своих рабочих часов — чтобы получить деньги за всю сделанную работу. И еще, если ей что-то приглянулось из вещей, он готов это обсудить.

— В разумных пределах. Если вы вдруг попросите машину или снегосдуватель, я буду вынужден отказать, поскольку это ущемляет интересы «Дома Лазаря». Как насчет пылесоса?

Так вот, значит, как он ее видит — в первую очередь уборщицей чужих домов? И вообще, пылесос у него — жуткое старье.

— Спорим, я знаю, что Брент вам сказал, когда узнал, что вы даете мне эту работу, — говорит она. — Спорим, он сказал: «Вы собираетесь поручить юристу, чтобы он ее проверил»? Он так сказал! Правда ведь?

Остин на это ничего не отвечает, только говорит:

— С какой стати я буду доверять юристу больше, чем вам?

— Это вы ему сказали?

— Это я вам говорю. Я считаю, что человеку либо доверяешь, либо не доверяешь. И если решаешь довериться, то начинать надо сразу.

Остин очень редко поминает Бога. Однако в подобных предложениях слово «Бог» ощущается — будто висит в воздухе где-то рядом, — и от этого становится не по себе. У Карин словно горсть крошек просыпалась по хребту — лучше б уж сказал, и дело с концом.

Четыре года назад Карин и Брент были еще женаты, еще бездетны и еще не переехали в комнату над скобяной лавкой. Они жили на старой бойне. Это был дешевый многоквартирный дом, принадлежавший Моррису Фордайсу, но когда-то в нем и впрямь размещалась бойня. В сырую погоду там припахивало свиным хлевом. А другой запах присутствовал постоянно — Карин считала, что это пахнет кровью. Брент нюхал стены, становился на четвереньки и нюхал пол, но не мог учуять того, что чуяла она. Да и как он мог уловить что-либо, кроме облака перегара от собственных проспиртованных потрохов? Брент тогда был алкоголиком, но не то чтобы совсем пьяницей. Он играл в хоккей в «команде старпёров», или, как она официально называлась, «тех,

кому за тридцать» (он намного старше Карин), и утверждал, что сроду не выходил на лед трезвым. Какое-то время он работал в строительной компании Фордайса, а потом пилил городские деревья для муниципалитета. Он пил на работе, когда была такая возможность, а после работы ходил пить в «Клуб охотников и рыболовов» или в бар мотеля «Зеленая гавань», прозванного в народе «Зеленое говно». Однажды ночью он завел бульдозер, стоявший возле «Зеленой гавани», и перегнал его через весь город в «Клуб охотников и рыболовов». Конечно, его поймали и оштрафовали за управление бульдозером в состоянии опьянения. Хохотал весь город. Однако никто из смеявшихся не предложил оплатить за Брента штраф. И Брент чем дальше, тем сильнее съезжал с катушек. В другой раз он разобрал лестницу, которая вела в их квартиру. Не разломал в приступе гнева, а разобрал, вдумчиво и методично, снимая ступеньки и опоры. Начал он сверху и постепенно двигался вниз, а Карин стояла, ругаясь, на лестничной площадке. Сперва она смеялась над ним — она к этому времени и сама пропустила пару бутылок пива, — а потом, осознав, что он действует всерьез и что она теперь не сможет выйти, принялась ругаться. За спиной у Брента

соседи опасливо выглядывали из квартир.

Брент вернулся домой на следующий день и изумился, или притворился изумленным.

— Куда делась лестница? — заорал он. Он топал по лестничной площадке, кривя разгоряченное, помятое, испитое лицо, хлопая голубыми глазами, невинно и снисходительно улыбаясь. — Черт побери этого Морриса! Проклятая лестница провалилась. Я на него в суд подам! Чтоб он сдох, говнюк этакий!

Карин сидела наверху — у нее не было никакой еды, только банка вареных бобов и полпакета рисовых криспов, и молока тоже не было. Она подумала, не позвонить ли кому-нибудь, чтобы привезли приставную лестницу, но была слишком зла и упряма. Если Брент решил уморить ее голодом, она ему покажет. Она умрет с голоду.

Тот случай стал началом конца, началом перемен. Брент пошел к Моррису Фордайсу, чтобы избить его и рассказать, как он его засудит к чертовой матери, а Моррис спокойно увещевал Брента, пока Брент не передумал судиться с Моррисом и бить его и не решил вместо этого покончить с собой. Тут Моррис и позвонил Остину Коббету, потому что у Остина сложилась репутация человека, умеющего обращаться с от-

чаянными и отчаявшимися людьми. Остин тогда не вылечил Брента от пьянства и не привел его в церковь, но отговорил от самоубийства. Пару лет спустя, когда умер ребенок Брента и Карин, Остин был единственным священником, которого они знали и к которому могли обратиться. Когда он пришел, Брент уже успел выпить все, что было в доме, и пошел за добавкой. Остин отправился за ним и провел с ним следующие пять дней, с одним кратким перерывом на похороны ребенка. Он находился с Брентом все время, пока у того был запой. Всю следующую неделю он выхаживал его после запоя, а весь следующий месяц разговаривал или просто сидел с Брентом, пока тот не решил, что бросит пить — что Господь коснулся его. По словам Остина, Брент имел в виду, что пришел в соприкосновение с полнотой своей внутренней жизни и скрытыми силами своей личности. Брент же заявил, что это ни единой минуты не был он сам; это был Господь.

Карин походила в церковь Остина вместе с Брентом; она ничего не имела против. Однако она понимала, что этой церкви Бренту будет недостаточно. Она видела, как он подпрыгивает, исполняя гимны, как размахивает руками, сжав кулаки, как все его тело напрягается, готовое к

борьбе. Точно так же он выглядел после трех-четырех бутылок пива, когда ничто на свете не могло удержать его от похода за добавкой. Его распирало изнутри, словно он вот-вот взорвется. И он взорвался, вырвался из Остинова прихода и увел с собой половину прихожан. Многие из них стремились на волю; им нужен был шум, молитвы вслух, пение, а не тихие увещевательные разговоры; они давно хотели перемен.

Ничто из этого не удивило Карин. Ее не удивило, что Брент научился заполнять бумаги и производить правильное впечатление, чтобы получить деньги от правительства; не удивило, что он захватил «Поворот кругом», куда привел его Остин, и выжил оттуда самого Остина. В Бренте всегда скрывался большой потенциал. Карин не удивляло, что теперь Брент обрушивался на нее за одну выпитую бутылку пива и одну выкуренную сигарету точно так же, как в былые дни — за то, что она хочет в два часа ночи прекратить веселье и пойти спать. Он сказал, что дает ей неделю на размышление. Больше никакого алкоголя и табака. Признать Христа своим Спасителем. Неделю. Карин сказала, что неделя ей не нужна. Когда Брент ушел, она бросила курить, почти бросила пить, а также перестала ходить в

церковь Остина. Она оставила позади почти всё — кроме кипящей на медленном огне, тлеющей ненависти к Бренту. Эта ненависть росла и росла. Однажды Остин встретился ей на улице. Она думала, что он собирается ее упрекнуть — тихо, кротко, осуждающе — за то, что она перестала ходить на службы, или за то, что не простила Брента, но он лишь попросил ее прийти поухаживать за его женой, которую на этой неделе должны были выписать из больницы.

Остин говорит по телефону с дочерью, живущей в Монреале. Ее зовут Меган. Ей лет тридцать, она не замужем и работает продюсером на телевидении.

— У жизни в запасе множество сюрпризов, — говорит Остин. — Ты понимаешь, что это не имеет никакого отношения к твоей матери. Это совершенно новая жизнь. Но я сожалею… Нет-нет. Я просто хочу сказать, что Бога можно любить разными путями, и наслаждаться жизнью — безусловно, один из них. Это откровение, которое пришло ко мне довольно поздно. Слишком поздно для твоей матери… Нет. Чувство вины — это грех и соблазн для окружающих. Я это говорил множеству несчастных, желающих им упиваться. Сожаление — другое дело. Невозможно прожить

жизнь и избежать сожалений.

Я была права, думает Карин: Меган в самом деле хочет что-то из вещей. Но Остин, еще немного поговорив — о том, что, может быть, начнет играть в гольф («Только не смейся»), и что Шейла состоит в клубе чтения пьес по ролям, и он, Остин, будет иметь там колоссальный успех благодаря своему опыту выступлений с амвона, — вешает трубку. Он входит на кухню — дом священника устроен старомодно, и телефонный аппарат располагается в прихожей — и смотрит на Карин, освобождающую кухонный шкафчик под потолком.

— Родители и дети, Карин, — вздыхает он, напустив на себя шутливый вид. — О, сколь запутанные сети мы плетем, когда впервые в нашей жизни…[12] детей заводим. Дети всегда требуют, чтобы родители не менялись, чтобы оставались все теми же папой и мамой, — и ужасно теряются, если мы делаем что-то такое, чего, по их мнению, делать не должны. Ужасно.

— Я думаю, она привыкнет, — говорит Карин без особого сочувствия.

---

[12] Примечания: 12

«О, сколь запутанные сети мы плетем, // когда впервые в нашей жизни лжем» — цитата из поэмы Вальтера Скотта «Мармион». Перевод Д. Никоновой.

— О, конечно, конечно. Бедняжка Меган.

Потом он говорит, что пойдет стричься в парикмахерскую, в центр города. Он не хочет оставлять это на последнюю минуту, потому что со свежей стрижкой всегда выглядит и чувствует себя очень глупо. Углы рта изгибаются в улыбке — сначала вверх, потом вниз. Когда они опускаются, это заметно сразу везде: лицо обвисает, брыли переходят в выступающие жилы шеи, грудь сдувается, как воздушный шарик, и резко выступает нелепый выпуклый живот. От потока остаются сухие русла, глубоко пропаханные рытвины. Но говорит Остин — и в этом заключается парадокс — так, словно тело у него легкое, словно передвигаться в таком теле — одно удовольствие.

Вскоре телефон звонит опять, и Карин вынуждена слезть со стремянки и взять трубку.

— Карин? Карин, это вы? Это Меган!

— Ваш отец только что ушел в парикмахерскую.

— Хорошо. Отлично. Это дает мне возможность поговорить с вами. Я надеялась, что мне выпадет случай с вами поговорить.

— О, — произносит Карин.

— Карин. Послушайте. Я знаю, что веду себя как типичный взрослый ребенок. И мне это не

нравится. Мне самой это не нравится. Но я ничего не могу поделать. Меня одолевают подозрения. Я хочу понять, что происходит. С ним все ладно? Что вы об этом думаете? Что вы думаете об этой женщине, на которой он собрался жениться?

— Я ее только на фотографии видела.

— Я сейчас ужасно занята и не могу все бросить и приехать домой, чтобы поговорить с ним по душам. И вообще, с ним очень трудно разговаривать. Он издает все нужные звуки, кажется таким открытым, но на самом деле он очень закрытый человек. Он никогда не был таким, личным, вы понимаете, о чем я? Никогда в жизни ничего не делал лично для себя. Вечно только для кого-то другого. Вечно выискивал людей, которым нужно было, чтобы для них что-нибудь сделали. Много чего. Ну вы сами знаете. Даже вас он привел в дом — ну, тогда, ухаживать за мамой — вовсе не ради мамы и не ради самого себя.

Карин хорошо представляет себе Меган — длинные гладкие темные волосы разделены на пробор и распущены по плечам, сильно накрашенные глаза, загорелая кожа, бледно-розовая губная помада, красиво одетое пухлое тело. Кажется, по голосу можно точно угадать внешность этой женщины, даже сроду ее не видавши. Та-

кая гладкость, такая насыщенная искренность. Каждое слово покрыто лаком, а пробелы между ними — маленькие, полные самолюбования. Эта женщина говорит так, словно упивается собственными словами. Даже немного перехватывает. Может, она пьяна?

— Карин, давайте посмотрим фактам в лицо. Мама была снобом. — (Да, она точно пьяна.) — Ну, ей нужно было хоть что-то для себя. Ее всю жизнь таскали из одной дыры в другую — трудиться на благо ближнего. Ей совершенно не хотелось трудиться на благо ближнего. И вот теперь, *теперь* он все бросает и упархивает на Гавайи. На Гавайи! Играть в гольф! Светская жизнь! Прямо «Харперс базар» какой-то.

«Харперс базар». Карин знает, что это название модного журнала. Она знает, что оно не имеет никакого отношения к благотворительным церковным базарам. Однако думать начинает именно о них — о церковных базарах, которые устраивала мать Меган, вечно пытаясь сделать все стильно и небанально. Один раз темой оформления были полосатые зонтики и уличные кафе, в другой раз — девонширский чай и розарий. Потом Карин вспоминает, как мать Меган сидела на диване в гостиной — слабая и желтая после

химиотерапии, облысевшая голова повязана платком на подкладке, с бодреньким рисунком. И все же каждый раз, когда Карин входила в комнату, мать Меган взглядывала на нее с легким, формальным удивлением и спрашивала: «Карин, вы что-то хотели?» Это Карин должна была ей задавать такой вопрос.

«Харперс базар». Базар. Сноб. Когда Меган пустилась в эти рассуждения, Карин следовало, по крайней мере, сказать: «Да, я знаю». Но сейчас ей ничего лучшего не приходит в голову, кроме:

— Меган, вы тратите деньги на междугородный звонок.

— Что деньги, Карин! Речь идет о моем отце. Мы говорим о том, здоров ли он или съехал с катушек!

Через день звонят из Денвера. Дон, сын Остина, сообщает, что передумал забирать столовый гарнитур — слишком дорого обойдется перевозка. Остин с ним соглашается. Эти деньги можно потратить лучшим образом. Мебель — ерунда. После этого сын требует у Остина объяснений, что такое «Аукционный амбар» и чем занимается Карин.

— Конечно, конечно, нет ничего проще, — отвечает Остин. — Они сделают список всех

полученных вещей и всех вырученных сумм. И им ничего не стоит прислать копию. Насколько мне известно, у них есть компьютер. Мы здесь уже вышли из эпохи Темных веков…

Да, — говорит Остин. — Я надеялся, что ты согласишься со мной насчет денег. Этот проект близок моему сердцу. А вы с сестрой сами себя обеспечиваете, причем неплохо. Мне очень повезло с детьми…

Пенсия по старости и моя пенсия священника, — говорит он. — Чего мне еще надо? А она, Шейла, — как бы это сказать, — она не нуждается, мягко говоря…

Он игриво смеется над какими-то словами сына.

Повесив трубку, он говорит Карин:

— Ну вот, мой сын беспокоится о моих финансах, а дочь — о моем психическом здоровье. Психоэмоциональном здоровье. Женский и мужской взгляд на мир. Женский и мужской способ проявить беспокойство. По существу это одно и то же. Былой уклад сменяется иным[13].

Дон все равно не помнит назубок все вещи, которые были в доме. Это физически невозможно.

---

[13] Примечания: 13

Из поэмы А. Теннисона «Смерть Артура». Цитируется по переводу С. Лихачевой.

Он приезжал на похороны — один, без жены: она была уже на сносях. Он не сможет положиться на ее женский глаз. А мужчины таких вещей не запоминают. Он попросил список просто так, создавая впечатление, что он все видит и его не облапошить. Как и его отца.

Карин намеревалась забрать себе кое-что, и никому не нужно знать, где она это взяла. К ней домой все равно никто не ходит. Блюдо с узором из ивовых ветвей. Серо-голубые занавески в цветочек. Маленький толстый кувшинчик рубинового стекла с серебряной крышкой. Белую камчатную скатерть, которую Карин наглаживала, пока она не засверкала, словно морозное снежное поле, и огромные салфетки, идущие в комплекте с ней. Одна эта скатерть весом с младенца. А салфетки, свернутые и вложенные в бокалы, расцветут, как белые лилии, — но для этого нужно иметь бокалы. Для начала Карин уже отнесла домой, сунув в карман пальто, шесть серебряных ложек. Она знает, что серебряный чайный сервиз и хорошие тарелки лучше не трогать. Но она положила глаз на розовые стеклянные креманки на высоких ножках. Она видит мысленным взором, как эти вещи преображают ее жилье. Более того, она уже чувствует спокойствие, довольство жизнью, ко-

торое они ей принесут. Сидя в так обставленной комнате, она не захочет никуда выходить. Ей больше не нужно будет вспоминать про Брента, придумывать способы его помучить. Человек, живущий в такой комнате, запросто сотрет в порошок любого, кто попробует туда вторгнуться.

«Вы что-то хотели?»

В последний понедельник перед отъездом Остина — он летит на Гавайи в субботу — начинается первая сильная метель этой зимы. Ветер приходит с запада, из-за озера; целый день и целую ночь городок заносит снегом. В понедельник и вторник все школы закрыты, так что Карин не нужно выходить на работу. Но ей невыносимо сидеть взаперти; она надевает дафлкот, замотывает голову и пол-лица шерстяным шарфом и пробирается по заснеженным улицам в дом священника.

В доме холодно — ветер свищет в щели вокруг дверей и оконных рам. Тарелки в кухонном шкафу, что у западной стены, холодные как лед. Остин одет, но лежит на диване в гостиной, завернувшись в разнообразные одеяла и пледы. Он не читает, не смотрит телевизор, не спит, насколько Карин может понять, — просто лежит и смотрит в пустоту. Карин делает ему чашку

растворимого кофе.

— Думаете, к субботе утихнет? — спрашивает она. У нее такое ощущение, что если он не улетит в субботу, то не улетит вообще. Всё отменит. Все планы пойдут насмарку.

— Утихнет когда-нибудь, — отвечает он. — Я не беспокоюсь.

Ребенок Карин умер в метель. После обеда, когда Брент выпивал со своим приятелем Робом и смотрел телевизор, Карин сказала, что сын болен и ей нужны деньги на такси — отвезти его в больницу. Брент послал ее в жопу. Он решил, что она просто из вредности к нему пристает. Отчасти это так и было — ребенка стошнило только один раз, он скулил, но на ощупь был не очень горячий. Потом, во время ужина, когда Роб уже ушел, Брент пошел взять ребенка и поиграть с ним, забыв, что ему нездоровится. «Он горячий как уголь!» — заорал Брент и потребовал ответа: почему Карин не вызвала врача, почему не отвезла ребенка в больницу. «Это ты мне скажи почему», — ответила Карин, и они стали ссориться. «Ты сказал, что незачем его везти. Ну, значит, незачем». Брент позвонил в службу такси, и там ему сказали, что такси не ходят из-за снежной бури, которой ни он, ни Карин до сих пор не замечали. Он позвонил

в больницу и спросил, что делать, и ему сказали, что надо сбивать температуру, заворачивая ребенка в мокрые полотенца. Этим они и занялись, а к полуночи метель утихла, улицы почистили, и они отвезли ребенка в больницу. Но он умер. Вероятно, он умер бы в любом случае: у него был менингит. Он мог бы умереть, даже будь он заласканным драгоценным отпрыском в доме, где отец не пьет и родители не собачатся между собой. Скорее всего, он умер бы в любом случае.

Но Брент хотел быть виноватым в смерти ребенка. Иногда он хотел, чтобы он и Карин были виноваты. Это признание вины было ему сладко, словно конфета. Карин велела ему заткнуться, *заткнуться*.

«Он бы в любом случае умер», — сказала она.

Когда метель кончается — во вторник после обеда, — Карин надевает дафлкот, выходит и расчищает тропинку к дому священника. Кажется, холодает еще сильнее; небо ясное. Остин говорит, что хочет поехать к озеру посмотреть на лед. Если так рано в году случается такая большая снежная буря, то ветер гонит волны на берег и они замерзают. Тогда лед бывает повсюду, в самых причудливых формах. Местные жители ходят к озеру фотографировать. Лучшие снимки

иногда публикуют в газете. Остин тоже хочет поснимать. Тогда ему будет что показать людям на Гавайях. Так что Карин откапывает машину, и они едут. Ведет Остин — очень осторожно. У озера больше никого нет. Слишком холодно. Пока они прокладывают себе путь по дощатому тротуару, или по тому месту, где под снегом скрывается тротуар, Остин держится за Карин. Пластины льда свешиваются с отягощенных ветвей ив до земли, и солнце, клонящееся к западу, просвечивает их; они похожи на жемчужные стены. Ячейки высокого забора из металлической сетки заплыли льдом и стали похожи на пчелиные соты. Волны застыли прямо так, как разбивались о берег, — получились холмы и гроты, безумный пейзаж, который тянется до самой кромки воды. А детская площадка — качели, шведские стенки — преображена льдом, увешана органными трубами или погребена под незаконченными статуями — ледяными фигурами, похожими на людей, зверей, ангелов, чудовищ; они словно брошены скульптором, не завершившим работу.

Карин боится оставлять Остина одного, пока он фотографирует. Ей кажется, что он нетвердо стоит на ногах, — а что, если он упадет? Он может сломать ногу, шейку бедра. Стоит старику сло-

мать шейку бедра, и все, его песенка спета. Даже то, что он снял перчатки, чтобы нажимать на кнопки фотоаппарата, кажется ей рискованным. Если он отморозит палец, то никуда не поедет, пропустит самолет.

Они возвращаются в машину. Остин и впрямь растирает замерзшие руки, дует на них. Он позволяет Карин сесть за руль. Если с ним случится что-нибудь серьезное — приедет ли Шейла Бразерс сюда? Возьмет на себя заботу о нем? Устроится в доме священника, отменит его прежние распоряжения?

— Вот странная погода, — говорит Остин. — На севере Онтарио сейчас тепло, выше нуля, даже мелкие озера еще не замерзли. А мы тут завалены торосами, на нас дуют ветра прямо с Великих равнин.

— Когда вы окажетесь на Гавайях, вам будет все равно, — твердо говорит Карин. — Что север Онтарио, что Великие равнины, что здешние места. Вы будете только радоваться, что унесли отсюда ноги. А что, она вам никогда не звонит?

— Кто? — спрашивает Остин.

— Она. Миссис Бразерс.

— А, Шейла. Она звонит по ночам. На Гавайях другой часовой пояс, там в это время еще не

поздно.

Звонок раздается, когда Карин одна в доме, — утром накануне отъезда Остина. Мужской голос, неуверенный и вроде как обиженный.

— Его сейчас нет, — говорит Карин. Остин пошел в банк. — Я могу сказать, чтобы он вам перезвонил.

— Это будет междугородный звонок, — говорит мужчина в трубке. — Это звонят с Шахтного озера.

— С Шахтного озера, — повторяет Карин, шаря на полочке вокруг телефона в поисках ручки.

— Мы только хотели узнать. В смысле, мы только хотели уточнить. Что у нас правильно записано время его прибытия. Кто-то должен будет за ним подъехать. Так он прилетает в Тандер-Бэй в три часа, правильно?

Карин уже не ищет ручку. Наконец она говорит:

— Да, наверно, правильно. Насколько мне известно. Перезвоните около двенадцати, он будет дома.

— Я не знаю точно, смогу ли добраться до телефона около двенадцати. Я здесь в гостинице, но потом мне надо будет в другое место. Вы лучше просто передайте ему. Кто-нибудь его встретит

в аэропорту в Тандер-Бэе завтра в три часа. Хорошо?

— Хорошо, — отвечает Карин.

— И еще можете передать, что мы нашли ему жилье.

— О! Хорошо.

— Это прицеп. Он сказал, что согласен пожить в прицепе. Понимаете, у нас тут очень давно не было священника.

— Ах вот оно что, — говорит Карин. — Да. Хорошо. Я ему передам.

Повесив трубку, она тут же ищет номер Меган в списке, висящем над телефоном, и набирает его. Через три-четыре гудка в трубке слышится голос Меган — чуть резче и отрывистей, чем в последний раз, когда Карин с ней разговаривала. Резкий, но игривый.

«Хозяйка дома сожалеет, что не может в настоящее время с вами поговорить, но если вы оставите свое имя, сообщение и номер телефона, она постарается связаться с вами как можно быстрее».

Карин успевает произнести: «Простите за беспокойство, но это очень важно», когда ее прерывает гудок, и она понимает, что говорит с одной из этих новомодных машинок. Карин начинает

снова, набирает воздуху и говорит быстро, но отчетливо:

— Я просто хотела вам сказать. Хотела, чтобы вы знали. С вашим отцом все в порядке. Он здоров физически, и психика у него в полном порядке, и все такое. Так что можете не беспокоиться. Он завтра улетает на Гавайи. Я просто подумала… подумала о нашем разговоре. И решила сказать вам, чтобы вы не беспокоились. Это Карин звонит.

Она только-только выпаливает все это, как слышит возню у двери — Остин вернулся. Он не успевает спросить, почему она стоит в прихожей, или удивиться этому — она выпаливает в него залп вопросов. Попал ли он в банк? Не болит ли у него грудь от холода? Когда придет грузовик «Аукционного амбара» за вещами? Когда надо будет отдать ключ от дома священника попечительскому совету? Собирается ли Остин звонить сыну и дочери перед отъездом, или по приезде, или как?

Да. Нет. Грузовик придет в понедельник. Ключи надо отдать во вторник, но это не срочно — если Карин не управится к этому дню, то можно и в среду. Никаких телефонных звонков больше не будет. Он и его дети уже все, что можно, сказали друг другу. Приехав на место, он напишет им

письмо. Каждому напишет по письму.

— После свадьбы?

— Да. Нет. Может быть, и раньше.

Он снял пальто и перебросил его через перила лестницы. Карин видит, что он пошатнулся и оперся рукой о перила, чтобы не упасть. Он притворяется, что ищет что-то в карманах пальто.

— Вам нехорошо? Хотите, я сделаю кофе?

Он отвечает не сразу. Взгляд плавает, обращенный куда-то мимо нее. Как могли они поверить, что этот хрупкий старик, усыхающий день ото дня, намерен жениться на зажиточной вдовушке и провести остаток дней в прогулках по солнечному пляжу? Это совершенно не в его характере. Ни за что на свете. Он собирается жить на износ — изработаться как можно быстрее, служа как можно более неблагодарным людям. Таким же неблагодарным, как Брент. А пока что — обманывать своих близких, убедив их, что он совершенно переродился. Иначе кто-нибудь может его не пустить. А он проскользнул в глубине, всех надул и доволен.

Но он в самом деле ищет что-то в карманах пальто. Вытаскивает пинту виски.

— Плесните мне чуточку в стакан, — говорит он. — Можно без кофе. Это профилактика. От

слабости. От простуды.

Он садится на ступеньки лестницы, и Карин приносит ему виски. Он берет стакан трясущейся рукой и выпивает. Мотает головой, словно пытаясь разогнать туман в мозгах. Встает.

— Так гораздо лучше. О, гораздо, гораздо лучше. Карин, насчет тех фотографий льда. Вы бы не могли забрать их из лаборатории на следующей неделе? Если я оставлю вам деньги? А то они еще не готовы.

Хоть и только что с мороза, он совсем белый. Если зажечь свечу и смотреть на пламя сквозь него, он будет просвечивать, словно сделан из воска или тонкого фарфора.

— Вам придется оставить мне адрес, — говорит она. — Куда их послать.

— Подержите их пока у себя, а я вам напишу. Так будет лучше.

Так и получилось, что у Карин остался полный комплект фотографий льда, помимо всех прочих вещей, которые она себе наметила. На фотографиях небо кажется синей, чем на самом деле, но пчелиные соты забора, форму органных труб разглядеть сложновато. И еще не помешала бы человеческая фигура — для масштаба. Надо было тогда взять фотоаппарат и запечатлеть Остина,

исчезнувшего. Исчезнувшего так же бесповоротно, как исчезает лед, — разве что весной тело выбросит на берег. Оттепель, смерть в волнах — и лед, и Остин исчезают бесследно. Карин так часто смотрит на фотографии бледных угловатых ледяных чудовищ, снятые Остином, что ей кажется: он все-таки тоже присутствует на этих фото. В виде пустого места, но наполненного светом.

Теперь Карин думает, что он знал. В самом конце он понял, что она его раскусила, разведала его замысел. Не важно, насколько ты один, насколько хитер и полон решимости, — все равно хочется открыться хотя бы одному человеку. Карин могла бы стать для него таким человеком. Каждый из них знал, что задумал другой, и не подал виду; такая связь — особенная. Каждый раз, думая об этом, Карин чувствует, что ее одобряют, — такое ощущение для нее чрезвычайно неожиданно.

Она кладет одну фотографию в конверт и отправляет ее Меган. (Она сорвала список адресов и телефонов со стены — так, на всякий случай.) Другую фотографию она посылает Дону. И еще одну — с маркой и адресом — на другой конец города, Бренту. Она ничего не пишет на фотографиях, не прикладывает никакой записки. Она больше не собирается беспокоить никого из этих людей. И

вообще, она скоро уедет.

Она просто хочет, чтобы они поломали голову.

Добром и милосердием

Жук попрощалась с тающей на горизонте землей — темно-синим вытянутым пальцем Лабрадора. Корабль проходил через пролив Бель-Иль; шел третий день после отплытия из Монреаля.

— Теперь я просто обязана дотянуть до белых скал Дувра, — сказала Жук. Она скорчила гримаску, округлив глаза и маленький подвижный рот певицы, словно смиряясь с какой-то неминуемой неприятностью. — Иначе отправят меня за борт, рыб кормить.

Жук умирала. Но она и до этого была очень стройной и белокожей, так что перемена в ней не бросалась в глаза. Ее дочь Эверилл ловко подстригала ярко-серебряные волосы матери так, что они казались пышнее. Жук была бледна, но не мертвенно-бледна, а свободные блузы и кафтаны, в которые одевала ее Эверилл, скрадывали изможденный торс и худобу рук. Иногда на лице отражались усталость и отчаяние, но они сливались с ее привычной застывшей шутливо-жалобной гримаской. Она не так уж плохо

выглядела и научилась держать в узде свой кашель.

— Я шучу, — сказала она Эверилл, своей дочери, которая оплачивала эту поездку деньгами, полученными в наследство от никогда не виденного ею отца: наверно, он решил оставить ей память о себе. Когда мать и дочь покупали билеты на корабль, они еще не знали, что случится, а также не знали, что это случится так скоро. — Вообще-то, я собираюсь отравлять тебе жизнь как можно дольше. Я стала лучше выглядеть. Ты не находишь? По утрам, во всяком случае. Я ем. Я подумываю начать понемножку гулять. Вчера, когда тебя не было, я дошла до борта.

Они занимали каюту на шлюпочной палубе, с выставленным на палубу креслом для Жук. Под окном каюты была скамья, где сейчас сидела Эверилл, а по утрам — профессор из Университета Торонто, которого Жук называла «мой поклонник» или «этот придурочный профессор».

Все это происходило на норвежском грузопассажирском судне, в июле, в конце семидесятых годов. Все время, пока они шли через Атлантику, стояла солнечная погода, море было гладкое и блестящее, как стекло.

Разумеется, настоящее имя Жук было Май. В

паспорте у нее стояло «Май Роджерс», и выступала она под этими же именем и фамилией. Она уже год и три месяца не пела на людях. В последние восемь месяцев она не ходила в Консерваторию преподавать. Несколько студентов являлись к ней на дом — в квартиру на Гурон-стрит — по вечерам и по субботам, чтобы Эверилл была дома и могла аккомпанировать. Эверилл работала в Консерватории — в канцелярии. Каждый день в обеденный перерыв она ездила домой на велосипеде, проведать Жук. Она не говорила, что приезжает за этим. У нее был предлог — специальный обед, смолотый в блендере коктейль из обезжиренного молока, банана и зародышей пшеницы. Эверилл постоянно пыталась худеть.

Жук пела на свадьбах, работала платным солистом в церковных хорах, исполняла партии в «Мессии», «Страстях по Матфею» и опереттах Гилберта и Салливана. Ей давали вторые роли в торонтовских оперных постановках с участием звезд мирового класса. В пятидесятых она одно время вела программу на радио — вместе со знаменитым тенором, пьяницей, из-за которого их обоих в итоге уволили. Имя Май Роджерс было весьма известно в годы детства и отрочества Эверилл. Во всяком случае, в тех кругах, где Эверилл

вращалась. Если попадались люди, которым оно ничего не говорило, Эверилл ужасно удивлялась — даже больше, чем сама Жук.

На борту ее имя никому ничего не сказало. Среди тридцати с лишним пассажиров половину составляли канадцы, большинство — из Торонто и окрестностей, но ее имя никому ничего не сказало. «Моя мать пела Церлину, — похвасталась Эверилл в первом разговоре с профессором. — В „Дон Жуане“, в шестьдесят четвертом году». Ей тогда было десять лет, и она помнит это как знаменательнейшее событие. Напряженное ожидание, лихорадочная подготовка, кризис — больное горло, которое лечили йогой. Костюм крестьянки — розово-золотая юбка с воланами поверх вороха нижних юбок. Слава.

— Деточка, имя Церлины не то чтобы вошло в каждый дом, — сказала ей потом Жук. — Кроме того, университетские преподаватели — идиоты. Они еще глупее обычных людей. Конечно, я могла бы проявить снисходительность и сказать, что они знают всякое недоступное нам, но, по моему личному мнению, они просто не знают ни хрена.

Однако она мирилась с тем, что профессор ежеутренне садился рядом и повествовал ей про себя. Услышанное она пересказывала Эверилл.

Перед завтраком он гулял по палубе в течение часа. Дома он ежедневно проходил шесть миль. Несколько лет назад он шокировал весь университет, женившись на молоденькой (и безмозглой, сказала Жук). Он нажил врагов, вызвал зависть и недовольство коллег своей связью с этой девушкой — ее звали Лесли, и она была на год младше старшего из его детей — и последующим разводом с женой и женитьбой на Лесли. С тех пор кое-кто ждал случая сквитаться с ним, и случай представился. Профессор был биологом, но разработал нечто вроде общего курса по естественным наукам — он называл его естественно-научным ликбезом — для студентов-гуманитариев: занимательная, безобидная программа, с помощью которой профессор надеялся отчасти исправить положение в этой области. Он получил одобрение высокого начальства, но собственные коллеги профессора саботировали курс, изобретая какие-то осложняющие дело дурацкие требования и обязательные уровни предварительной подготовки. Профессор рано вышел на пенсию.

— Кажется, это все, — рассказывала Жук. — Я никак не могла сосредоточиться на том, что он говорит. А, да, и еще молодые женщины очень утомительны в роли спутниц жизни для мужчин

постарше. Молодость бывает скучной. И вот еще. В обществе зрелой женщины мужчина может расслабиться. Ритмы ее мыслей и воспоминаний… да, точно, ритмы ее мыслей и воспоминаний будут лучше гармонировать с его ритмами. Вот же белиберда.

Чуть поодаль от них, на той же палубе, Лесли, молодая жена профессора, сидела и вышивала гладью чехол для стула из столового гарнитура. Она работала уже над третьим по счету чехлом. Всего их нужно было шесть. Две женщины, с которыми она сидела, с готовностью восхищались ее узором — он назывался «Роза Тюдоров» — и рассказывали о чехлах, которые когда-то вышили сами. Они описывали, каким образом эти чехлы гармонируют с обстановкой их дома. Лесли сидела между ними, прикрытая с флангов. Мягкая, с розовой кожей и каштановыми волосами — девушка, чья молодость неостановимо утекает по капле. Ее хотелось беречь, но когда она достала свою вышивку, Жук обошлась с ней не очень-то бережно.

— О боже — Жук воздела руки и пошевелила худыми пальцами. — Эти руки, — тут она усилием воли почти подавила приступ кашля, — эти руки много чего такого делали на своем веку, чем

я не горжусь, но одно могу сказать: они сроду не держали вязальных спиц, крючков, вышивальных иголок и прочего. Я даже пуговиц никогда не пришивала, если под рукой была английская булавка. Так что я вряд ли смогу оценить по достоинству вашу работу, дорогая.

Муж Лесли засмеялся.

Эверилл подумала, что это не совсем правда. Именно Жук когда-то научила ее шить. И Жук, и Эверилл серьезно интересовались одеждой и следили за модой — не рабски, а игриво, бесстрашно. Среди лучших часов, проведенных ими вместе, были и те, когда они кроили, сметывали, озарялись вдохновением.

Кафтаны, туники, свободные блузы, в которых Жук ходила на борту, были сшиты из лоскутов шелка, бархата, пестрого хлопка, кружева — кусков старых платьев, штор, скатертей, что Эверилл добывала в секонд-хендах. Джанин, американка, старательно заводившая друзей на борту, громко восхищалась одеяниями Жук.

— Где вы нашли эти потрясающие вещи? — спросила Джанин, и Жук ответила:

— Эверилл. Она их сшила. Ловко, правда?

— Она гений, — ответила Джанин. — Эверилл, вы гений.

— Ей следовало бы пойти в дизайнеры театральных костюмов, — сказала Жук. — Я ей все время об этом твержу.

— Да, обязательно надо! — отозвалась Джанин.

Эверилл покраснела и не знала, что ответить, чтобы улыбающиеся ей Жук и Джанин остались довольны.

— Но с другой стороны, я рада, что она не работает дизайнером, — сказала Жук. — Я рада, что она здесь, со мной. Эверилл — мое сокровище.

Они пошли прогуляться по палубе, удаляясь от Жук, и Джанин сказала:

— Вы не обидитесь, если я спрошу, сколько вам лет?

Эверилл ответила, что ей двадцать три года, и Джанин вздохнула. Оказалось, что ей самой сорок два. Она была замужем, но путешествовала одна. У нее было длинное загорелое лицо с блестящими розово-сиреневатыми губами и волосы до плеч, тяжелые и гладкие, как дубовая доска. По ее словам, ей часто говорили, что она выглядит как жительница Калифорнии, но на самом деле она была из Висконсина. Из маленького городка в Висконсине, где она работала ведущей программы по заявкам радиослушателей. Голос у нее был низкий, убедительный и какой-то само-

довольный, даже если она говорила о недостатке, проблеме, позоре.

Она сказала:

— Ваша мать очаровательна.

— Все либо очаровываются ею, либо терпеть ее не могут, — ответила Эверилл.

— Она давно болеет?

— Она уже выздоравливает, — ответила Эверилл. — Прошлой весной у нее была пневмония.

Они с матерью уговорились между собой об этой версии.

Джанин сильнее хотела подружиться с Жук, чем Жук с ней. Однако Жук приняла с ней свой привычный полудоверительный тон и открыла кое-какие интимные секреты профессора. Она также выдала прозвище, которое придумала для него: доктор Фауст. Жена доктора получила кличку Роза Тюдоров. Джанин сочла эти прозвища очень меткими и остроумными. Какая прелесть, сказала она.

Она не знала, как Жук прозвала ее: Гламурная Киса.

Эверилл гуляла по палубе и прислушивалась к разговорам. Она думала о том, что морские путешествия считаются удачным способом отдохнуть от «всего этого» — «все это», по-видимому, озна-

чает твою жизнь, то, как ты ее живешь, твое «я», того человека, которого ты собой представляешь, когда находишься дома. Однако во всех подслушанных ею разговорах люди делали ровно обратное. Они утверждали свое «я» — рассказывали друг другу о своей работе, детях, садах и гостиных. Обменивались рецептами кекса и методами закладки компоста. Приемами укрощения невесток и советами по вложению капитала. Рассказами о болезнях, изменах, недвижимости. «Я сказал…» «Я сделала…» «Я всегда полагал, что…» «Не знаю как вы, а лично я…»

Эверилл шла мимо, глядя в море, и пыталась понять, как стать такой. Как научиться упорству, умению выхватывать свою минуту разговора?

— Прошлой осенью мы все перекрасили в синий и устричный цвета…

— Боюсь, я никогда не понимал, что есть такого притягательного в опере…

Последняя реплика принадлежала профессору, — видимо, он считал, что таким образом сможет поставить Жук на место. И почему он вдруг «боится»?

Эверилл недолго гуляла одна. У нее тоже был свой поклонник среди пассажиров, он выслеживал ее и перехватывал у борта. Художник,

канадский художник из Монреаля, за обедом он сидел напротив нее. Когда за первым обедом его спросили, какие картины он рисует, он сказал, что последней его работой была фигура девяти футов высотой, полностью замотанная бинтами, на которых написаны цитаты из Декларации независимости США. Как интересно, отозвались один-два вежливых американца, а художник ухмыльнулся: «Я очень рад, что вы так думаете».

— Но почему, — спросила Джанин, профессионально отреагировав на враждебность собеседника, как положено интервьюеру (концентрированная доброта в голосе, особенно бодрая и вдвойне заинтересованная улыбка), — почему вы не использовали цитаты из какого-нибудь канадского текста?

— Да, я тоже хотела об этом спросить, — сказала Эверилл. Иногда она пыталась влезать в разговор таким способом — повторяя, как эхо, чужие слова или развивая чужие мысли. Обычно ничего хорошего из этого не выходило.

Канадские цитаты оказались для художника больным местом. Критики клевали его именно за это, обвиняя в недостаточном патриотизме и упустив именно то, что он пытался выразить. Он игнорировал Джанин, но последовал за Эверилл,

когда она вышла из-за стола, и метал громы и молнии в ее адрес — в течение нескольких часов, как ей показалось, — в ходе этого занятия влюбившись в нее по уши. На следующее утро он дожидался Эверилл у столовой, чтобы войти вместе с ней, а потом спросил, позировала ли она когда-нибудь художникам.

— Я?! Я слишком толстая.

Он сказал, что не имел в виду позирование в одежде. Будь он художником другого типа, сказал он (как поняла Эверилл, именно этот другой тип художников он презирал), он бы немедленно выбрал ее своей натурщицей. Ее обширные золотые бедра (в то утро Эверилл была в шортах и больше ни разу их не надела), ее длинные волосы цвета карамели, ее широкие плечи, плавные, без западинок, линии талии и чресел. Фигура богини, цвета богини, богини урожая. Он сказал, что у нее на лице чистое, детское выражение злобы.

Эверилл подумала, что надо не забывать улыбаться.

Он был приземистый смуглый человечек, вечно раздраженный. Жук прозвала его Тулуз-Лотрек.

Мужчины влюблялись в Эверилл и раньше. Она дважды была помолвлена, и потом ей приходилось разрывать помолвку. Она спала с каждым

из своих женихов, а также с двумя-тремя другими мужчинами. Четырьмя, если совсем точно. Один раз она сделала аборт. Она не была фригидна — во всяком случае, не считала себя фригидной, — но ее участие в постельных забавах было каким-то вежливым, неловким, и когда мужчина ее наконец отпускал, она облегченно вздыхала.

С художником она разобралась так: даровала ему один разговор в день, по утрам, когда чувствовала себя сильной и на душе было почти легко. Она не садилась рядом с ним, а днем и вечером вообще не подпускала близко. Сближение с Джанин было частью ее стратегии. Общество Джанин было вполне терпимо, пока та рассказывала о себе, а не начинала допрашивать Эверилл.

— Ваша мать — отважная женщина и притом чрезвычайно обаятельная. Но обаятельные люди часто бывают манипуляторами. Вы ведь с ней живете, верно?

Да, сказала Эверилл, и Джанин продолжала:

— О, простите. Надеюсь, я не слишком пристаю с вопросами? Вы не обиделись?

Эверилл на самом деле только удивилась, но это удивление было привычным. Почему люди так быстро и с такой готовностью начинают считать ее глупой?

— Понимаете, это все привычки интервьюера, — объяснила Джанин. — На самом деле я просто ужасна как собеседница. Я совершенно разучилась вести обычный разговор. Слишком в лоб задаю вопросы, выпытываю. Мне нужна помощь консультанта.

По словам Джанин, она предприняла это морское путешествие, чтобы вернуться к нормальной повседневной реальности и понять, кто она на самом деле, вдали от микрофона. И еще — вдали от собственного брака. Она сказала, что у них с мужем договоренность: время от времени они куда-то ездят порознь, чтобы испытать границы своих отношений.

Эверилл заранее знала, что скажет об этом Жук. «Испытать границы своих отношений! Перепихнуться с кем-нибудь на корабле, вот что она имеет в виду».

Джанин сказала, что не исключает возможности корабельного романа. Точнее, не исключала, пока не присмотрелась к мужчинам на борту. Но, присмотревшись, опустила руки. Ну кого тут можно выбрать? Художник мал ростом, безобразен и антиамерикански настроен. Это еще можно было бы стерпеть, но он влюблен в Эверилл. Профессор едет с женой — Джанин не намерена

заниматься любовью украдкой в стенном шкафу. Кроме того, профессор слишком многословен, на веках у него бородавки, похожие на зернышки, и он ухлестывает за Жук. Все прочие мужчины тоже исключались по той или иной причине: одни путешествовали с женами, другие были слишком стары для Джанин, для третьих она сама была слишком стара, четвертые интересовались только друг другом или членами экипажа. Придется коротать время за косметическими процедурами и чтением.

— А кого бы вы выбрали на моем месте? — спросила Джанин.

— А что вы думаете насчет капитана?

— Гениально! Мало шансов, но гениально.

Джанин выяснила возраст капитана — пятьдесят четыре года, вполне подходит. Он женат, но жена осталась в Бергене. Трое детей, взрослых или почти взрослых. Капитан оказался не норвежцем, а шотландцем, уроженцем Эдинбурга. Он ходит в море с шестнадцати лет, а капитаном этого судна стал десять лет назад. Все это Джанин выспросила у него самого. Она сказала, что пишет статью для журнала про грузопассажирские суда. (Она не исключала, что и вправду напишет такую статью.) Он провел для нее экскурсию по

кораблю, включая собственную каюту. Джанин решила, что это хороший знак.

В каюте капитана царил идеальный порядок. Там стояла фотография приятной крупной женщины в толстом свитере. Книга, которую читал капитан, принадлежала перу Ле Карре.

— Он не станет с ней кувыркаться, — сказала Жук. — Он слишком хитер для этого. Хитрый шотландец.

Эверилл передавала матери все откровения Джанин, даже не задумываясь. Она привыкла приносить домой любую добытую информацию — домой в квартиру на Гурон-стрит, домой в каюту на шлюпочной палубе, домой к Жук. Все служило топливом для деловито горящего костерка. Сама Жук виртуозно раскручивала собеседников на признания — ей случалось извлекать восхитительно запутанные жизненные истории из самых неожиданных источников. Насколько знала Эверилл, Жук никогда не держала услышанное в секрете.

Жук сказала, что встречала таких женщин, как Джанин. Сверху гламур, под ним катастрофа. Она посоветовала Эверилл не слишком сближаться с этой женщиной. Сама, впрочем, продолжала с ней секретничать. Она делилась с Джанин сво-

ими историями, которые Эверилл уже слышала раньше.

Она рассказала про отца Эверилл — назвала его не придурком и не поклонником, а осторожной старой сволочью. Старым — сорок с чем-то лет — он был для нее тогдашней. Врач в Нью-Йорке. Жук жила там — молодая певица, делающая первые шаги в карьере. Она пришла к нему лечить больное горло — воспаления горла были проклятием всей ее жизни.

— Врач — ухо-горло-нос, — рассказывала Жук. — Откуда мне было знать, что ухом, горлом и носом он не ограничится?

Он был женатый, отец семейства. Конечно же. Он приезжал в Торонто — однажды, на медицинскую конференцию. И пришел посмотреть на Эверилл.

— Она стояла в кроватке и, увидев его, завыла, как баньши. Я спросила его: как ты думаешь, может, у нее мой голос? Но он был не в настроении для шуток. Она его отпугнула. Он осторожная старая сволочь. Я думаю, это был единственный раз, что он сходил налево.

— Я люблю крепкое словцо, — продолжала Жук. — Люблю и всегда любила, еще до того, как это стало модно. Когда Эверилл пошла в школу,

учительница позвонила и вызвала меня для разговора. Сказала, что обеспокоена некоторыми словами из лексикона Эверилл. Когда у нее ломается карандаш, она может сказать: «О черт». Или даже: «Йопта». Она-то повторяла то, что слышала от меня дома. Я никогда не предупреждала ее, что таких слов говорить нельзя. Я думала, она сама поймет. А как ей было понять? Бедняжка Эверилл. Я была отвратительной матерью. И это еще не самое плохое. Думаете, я призналась учительнице, что Эверилл научилась этим словам от меня? Никогда в жизни! Я прикинулась рафинированной дамой. Ах, какой ужас. О, спасибо, что предупредили меня. О боже! Да, я ужасный человек. Эверилл это всегда знала. Правда, Эверилл?

Да, сказала Эверилл.

На четвертый день Жук перестала выходить в столовую к ужину.

— Я заметила, что к этому времени уже выдыхаюсь, — объяснила она. — Не хочу отпугнуть профессора своим видом. Вдруг он вовсе не настолько предпочитает зрелых женщин.

Она сказала, что съедает достаточно за завтраком и обедом.

— Я всегда плотнее всего заправлялась утром. А здесь я за завтраком просто нажираюсь.

Эверилл принесла булочек и фруктов с ужина.

— Прелестно, — сказала Жук. — Чуть позже.

Теперь ей приходилось спать в сидячем положении, подпираясь подушками.

— Может, у медсестры найдется кислород, — сказала Эверилл. Врача на корабле не было, но была медсестра. Жук не хотела видеть медсестру. От кислорода она тоже отказалась.

— Они не такие уж страшные, — сказала она про свои припадки кашля. — Не такие страшные, как кажется со стороны. Просто небольшие спазмы. Я все пытаюсь понять: если это наказание, то за что. Я ведь никогда в жизни не курила. Может, за то, что пела в церкви, не имея веры? Но нет. Я думаю, это за «Звуки музыки». За Марию. Мерзость в очах Господа.

По вечерам Эверилл и Джанин играли в покер с художником и первым помощником капитана, норвежцем. Эверилл несколько раз за вечер бегала на шлюпочную палубу проведать Жук. Жук спала или притворялась спящей, фрукты и булочки лежали у кровати нетронутые. Эверилл выходила из игры рано. Она ложилась не сразу, хотя притворялась, что засыпает на ходу и глаза у нее слипаются. Она проскальзывала в каюту — забрать несъеденные булочки, потом выхо-

дила на палубу. Садилась на скамью под окном. Оно было постоянно распахнуто в теплую, тихую ночь. Эверилл сидела и ела булочки, стараясь не шуметь, и особенно осторожно прокусывала восхитительную хрустящую корочку. Морской воздух, как ему и положено, возбуждал у Эверилл волчий аппетит. А может, аппетит разыгрывался оттого, что кто-то был в нее влюблен. От напряжения. В таких ситуациях она обычно толстела.

Отсюда ей было слышно, как дышит Жук. Порывы, запинки, рваный ритм ускорений. Иногда она всхрапывала, случались целые интервалы ровного дыхания. Эверилл слышала, как Жук в полусне меняет позу, с усилием устраивается повыше на подушках. И еще Эверилл наблюдала за капитаном, который в это время выходил на прогулку. Она не знала, видит ли он ее. Он никак не показывал этого. Никогда не смотрел в ее сторону. Он смотрел прямо перед собой. Он совершал необходимый моцион по ночам, когда менее вероятно, что встретишь кого-нибудь и придется быть вежливым. Взад-вперед, взад-вперед вдоль борта. Эверилл застывала, чувствуя себя лисой в кустарнике. Ночным зверьком, который наблюдает за прохожим. Но она была уверена, что капитан не испугается и не удивится, если его

окликнуть. Разумеется, он знал и видел все, что происходит на борту. Знал о ее присутствии, но игнорировал — из вежливости или из уважения к чужой тайне.

Эверилл подумала о планах Джанин на капитана и мысленно согласилась с Жук, что они обречены на провал. Эверилл была бы очень разочарована, если бы Джанин добилась своего. У Эверилл сложилось мнение, что капитан эмоционально самодостаточен. У него не было потребности ни за кем таскаться, льстить, провоцировать, подстерегать в засаде. Никаких «смотри на меня, слушай меня, восхищайся мной, обеспечь мне». Ничего подобного. Его ум был занят другими делами. Судном, морем, погодой, грузом, экипажем, своими рабочими обязанностями. Наверняка пассажиры его уже ничем не могут удивить. Они всего лишь определенный сорт груза, требующий специфической заботы. Праздные или больные, похотливые или горюющие, любопытные, нетерпеливые, интриганы, замкнутые и необщительные — он все это уже перевидал. Он сразу заглядывал к ним в души, но ровно на нужную глубину, не дальше. Наверняка и замыслы Джанин он тоже разглядел. Старая история.

Как он решал, когда заканчивать прогулку? Засекал время? Считал шаги? Он был седой, с отличной осанкой, полноватый в талии — эта полнота не столько говорила о любви к излишествам, сколько придавала ему миролюбивой начальственности. Жук не придумала для капитана никакого прозвища. Она назвала его хитрым шотландцем и больше не проявляла к нему интереса. На нем не было ни ярлычков для зацепки, ни блесток, которые легко облупить, ни показушных выступлений, которые можно прокомментировать. Он был уже готовым человеком, а не творил себя на ходу, используя подвернувшихся встречных в качестве стройматериала.

Как-то ночью, перед приходом капитана, до Эверилл донеслось пение. Пела Жук. Эверилл слышала, как Жук проснулась, устроилась поудобнее и запела.

За прошедшие месяцы Жук иногда случалось спеть музыкальную фразу во время урока. Она пела под сурдинку, очень осторожно, только при крайней необходимости, когда нужно было что-нибудь продемонстрировать. Сейчас она пела не так. Легко, как когда-то на репетициях, приберегая силы для выступления перед зрителями. Но точно и правильно. И голос звучал так же — или

почти так же — сладостно, как всегда.

Vedrai carino,
Se sei buonino,
Che bel remedio
Ti voglio dar[14].

Заслышав пение, Эверилл вскинула голову, напряглась, словно случилось что-то страшное. Но ее никто не звал; она осталась сидеть. После первой тревоги она почувствовала то же, абсолютно то же, что и всегда при пении матери. Двери распахивались безо всяких усилий, за ними виднелось залитое светом пространство, откровение доброты, серьезности. Желанная, благословенная радость, серьезность, игра доброты, которая ничего от тебя не требует. Ничего — только принять этот сияющий порядок. Он менял все, и, когда Жук переставала петь, он в ту же секунду исчезал. Исчезал. Казалось, сама Жук забирала его обратно. Она могла намекнуть, что это лишь фокус, не более. Могла намекнуть, что ты просто дурочка, если так серьезно к этому относишься. Это был дар, который Жук любезно

[14] Примечания: 14

«Средство я знаю / и обещаю / вылечить скоро, / милый, тебя!» *(ит.).* Ария Церлины из оперы «Дон Жуан, или Наказанный развратник» Вольфганга Амадея Моцарта. Перевод И. Тюменева.

приносила всем и каждому.

Вот. Это все. Спасибо за внимание.

Ничего особенного.

То был секрет Жук, открыто ею демонстрируемый и абсолютно надежно спрятанный — от Эверилл точно так же, как и от всех остальных.

«Слава богу, Эверилл не особенно музыкальна».

Как раз когда Жук замолчала, на палубу вышел капитан. Возможно, он уловил конец арии, а может, дожидался конца, стоя в тени, чтобы не мешать. Он стал ходить, а Эверилл — смотреть, все как обычно.

Эверилл могла петь про себя, мысленно. Но даже про себя она никогда не пела репертуара Жук. Ни арий Церлины, ни партий сопрано из ораторий, ни даже «Прощай, Новая Шотландия» и народных песен, которые Жук исполняла, издеваясь над слюнявыми сантиментами, хотя звучала при этом ангелически. У Эверилл был гимн, который она пела. Она сама не знала, откуда он взялся. Точно не от Жук. Жук не любила гимны как таковые. Должно быть, Эверилл услышала его в церкви, куда ребенком ходила вместе с Жук, когда та солировала в хоре.

Гимн начинался словами «Господь — мой пас-

тырь»[15]. Эверилл не знала, что это стихотворное переложение псалма. Она редко бывала в церкви и вообще не знала, что такое псалмы. Она не могла не видеть, что слова этого гимна — та часть, которая ей известна, — пронизаны мощным эгоизмом, неприкрытым торжеством и (особенно один стих) чисто детским злорадством:

Ты добрый стол готовишь для меня —
врагам на зависть пища наша…

Как самозабвенно, уверенно, вопреки всему голос в голове Эверилл пел эти слова, пока она смотрела на шагающего капитана и потом, когда она сама, уже в безопасном одиночестве, шла к борту и обратно:

Добром и милосердием Твоим
я встречен прямо у порога.
Все дни Тобою мой удел храним,
и я пребуду в доме Бога.

Ее молчаливое пение оплетало историю, которую она рассказывала сама себе и к которой придумывала продолжение каждую ночь, сидя

[15] Примечания: 15

Протестантский гимн, стихотворное переложение псалма 22. Здесь и далее использован перевод Н. Басовского.

на палубе. (Эверилл часто рассказывала себе истории — это занятие казалось ей таким же неизбежным, как видеть сны, когда спишь.) Пение было барьером между миром у нее в голове и внешним миром, между ее телом и безжалостными звездами, черным зеркалом северной Атлантики.

Жук перестала выходить к обеду. Она еще ходила завтракать и держалась оживленно — за столом и примерно час после. Она утверждала, что ей не хуже, просто она устала говорить и слушать. Она больше не пела — во всяком случае, не пела при Эверилл.

В девятый вечер, последний в открытом море — назавтра они должны были пришвартоваться в Тилбери, — Джанин устроила пирушку у себя в каюте. У нее была самая большая и самая лучшая каюта на шлюпочной палубе. Джанин выставила шампанское, которое взяла с собой для этой цели, виски и вино; на столе были икра, виноград, горы копченой лососины, говядины по-татарски, сыра и хлебцев — неожиданное богатство из запасов кока.

— Я решила кутить, — сказала Джанин. — Шикануть. Буду бродить по Европе с рюкзаком за

плечами и красть яйца из курятников, чтобы прокормиться. Мне все равно. Я запишу ваши адреса и, когда останусь совсем без гроша, приеду к вам жить. Не смейтесь!

Жук собиралась пойти на пирушку. Она весь день лежала, даже пропустила завтрак, чтобы поберечь силы. Она встала, помылась и уселась в кровати, опираясь спиной на подушки, чтобы накраситься. Макияж вышел превосходный — глаза и все прочее. Жук начесала и побрызгала лаком волосы. Надела роскошное платье солистки, сшитое Эверилл, — почти прямого покроя, длинное и широкое, из темно-фиолетового шелка, рукава надставлены другим шелком, мерцающим розовым и серебряным.

— Цвет баклажана, — сказала Жук. Она крутнулась на месте, чтобы подол платья раздулся колоколом. От этого у нее закружилась голова, и ей пришлось сесть.

— Нужно накрасить ногти, — сказала она. — Я только подожду немножко. У меня руки дрожат.

— Давай я тебе накрашу, — сказала Эверилл. Она в это время закалывала волосы в высокую прическу.

— Правда? Но только я, наверно… Я, наверно, не пойду. Все-таки. Лучше останусь и отдохну.

Завтра нужно быть в хорошей форме. Мы сходим на берег.

Эверилл помогла матери снять платье, умыться и снова надеть ночную рубашку. И лечь в постель.

— Чудовищно жалко это платье, — сказала Жук. — Жаль не показать его людям. Оно того заслуживает. Давай ты в нем пойдешь. Пожалуйста. Ты должна в нем пойти.

Эверилл знала, что фиолетовый ей не идет, но все же сняла с себя зеленое платье и надела это. Она пошла на вечеринку, чувствуя себя странно — абсурдно и как-то вызывающе. Но все оказалось в порядке — в этот вечер все разоделись, некоторые прямо удивительно. Даже мужчины как-то принарядились. Художник облачился в старый смокинг вдобавок к своим обычным джинсам, а профессор — в белый костюм свободного покроя, став похожим на денди-плантатора. Джанин была в маленьком (очень маленьком) черном платье, в черных чулках со швом, обвешана крупными золотыми украшениями. Лесли задрапировалась тафтой с красными и кремовыми розами на сливочном фоне. На круглой попе материя сбилась в складки, образуя огромную розу, лепестки которой профессор все время при-

глаживал, поправлял и расправлял, чтобы они сияли во всей красе. Казалось, он заново очарован женой. Она радовалась и гордилась, робко расцветая.

— Ваша матушка придет? — спросил профессор у Эверилл.

— Вечеринки наводят на нее скуку, — ответила Эверилл.

— У меня сложилось впечатление, что на нее очень многое наводит скуку. Я заметил эту черту у артистов, выступающих на сцене. Это вполне понятно — они вынуждены концентрироваться на собственной личности.

— Это что, статуя Свободы? — спросил художник, трогая шелк платья Эверилл. — Да есть ли там внутри женщина?

Эверилл знала, что он в последнее время обсуждал ее с Джанин. Он выдвинул предположение, что Эверилл лесбиянка и что Жук ей не мать, а богатая ревнивая любовница.

— Это женщина или бетонный блок? — Он прижал шелк рукой, вылепляя бедро Эверилл.

Ей было все равно. Сегодняшний вечер — последний, когда она вынуждена его терпеть. К тому же она пила. Ей нравилось пить. Особенно шампанское. Оно не приносило душевного

подъема, но все вокруг как-то расплывалось, и прощать становилось легче.

Она поболтала с первым помощником капитана — он был обручен с девушкой-горянкой и не проявлял романтического интереса к Эверилл, что ее радовало.

Она поболтала с корабельным поваром — красивой женщиной, которая раньше была учительницей английского языка в норвежской школе и решила начать новую жизнь, полную приключений. Джанин передала Эверилл ходивший по судну слух, что повариха спит с художником; в дружелюбии поварихи и впрямь появился некий оттенок вызова, иронии, и Эверилл решила, что слух, возможно, правдив.

Она поболтала с Лесли, и та рассказала, что когда-то была арфисткой. Она играла в ресторане отеля — музыкальное сопровождение во время ужина, — и профессор углядел ее за декоративными папоротниками. Она вовсе не была его студенткой, как все думали. Только после того, как они начали встречаться, профессор заставил ее посещать какие-то курсы — для развития интеллекта. Хихикая над шампанским, Лесли сказала, что это не помогло. Она отказалась развивать интеллект, но играть на арфе бросила.

Джанин заговорила с Эверилл, стараясь, чтобы голос звучал как можно тише и доверительнее.

— Как вы будете с ней справляться? Что вы будете делать в Англии? Как везти ее на поезде? Это ведь очень серьезно.

— Не беспокойтесь, — ответила Эверилл.

— Я была с вами не до конца откровенна, — сказала Джанин. — Мне нужно в туалет, но, когда я вернусь, я вам кое в чем признаюсь.

Эверилл надеялась, что Джанин не станет выкладывать дальнейшую подноготную художника или опять советовать что-то по поводу Жук. Но нет — выйдя из туалета, Джанин заговорила о себе. Она сказала, что эта поездка вовсе не маленький отпуск от мужа, как она раньше утверждала. Муж ее выгнал. Бросил ради безмозглой секс-бомбы, которая работала ресепшионисткой. В ее обязанности входило красить ногти и изредка отвечать на телефонные звонки. Муж решил, что он и Джанин должны остаться друзьями, и регулярно ходил к ней в гости, щедро наливая себе вина и описывая прелестные привычки своей возлюбленной. Как она любит сидеть в кровати голая и — конечно, что же еще — красить ногти. Он хотел, чтобы Джанин смеялась вместе с ним и сочувствовала его опрометчивой, безумной

влюбленности. И Джанин шла у него на поводу. Снова и снова она уступала ему, слушала его излияния и смотрела, как убывает ее вино. Он говорил, что любит ее, Джанин, как сестру, которой у него никогда не было. Но она твердо решила выкорчевать его из своей жизни. Она собралась и уехала. Она намеревалась жить.

Джанин по-прежнему поглядывала в сторону капитана, хотя рейс подходил к концу. Капитан отказался от шампанского и пил виски.

Чуть раньше повариха вынесла кофе на подносе для тех, кто не пил спиртного или хотел протрезветь поскорей. Когда кто-то наконец попробовал его, оказалось, что сливки прокисли — вероятно, оттого, что постояли в тепле каюты. Повариха не смутилась и забрала сливки, пообещав принести свежие.

— Кислые будут хороши утром на блинчиках, — сказала она. — На блинчиках, с коричневым сахаром.

Джанин сказала: ей кто-то когда-то говорил, что если на корабле прокисло молоко, значит на борту мертвое тело.

— Я думала, это суеверие такое. Но он сказал, что нет, этому есть рациональное объяснение. Лед. Весь лед используют для сохранения тела, и

молоко прокисает. Он сам видел такое в тропических рейсах.

Пассажиры начали в шутку спрашивать капитана, нет ли мертвого тела у них на борту.

Он сказал, что, насколько ему известно, нет.

— К тому же у нас полно места в холодильнике.

— И вообще, скончавшихся ведь хоронят в море? — спросила Джанин. — Вы ведь имеете право регистрировать брак и хоронить, верно? Или вы и правда кладете трупы в холодильник и везете домой?

— Мы поступаем сообразно обстоятельствам, — ответил капитан.

Но случалось ли это с ним, спросили они, — случалось ли ему хранить тела в холодильнике или хоронить в море?

— Да, однажды молодой парень, член экипажа, умер от аппендицита. Насколько мы знали, у него не было близких; мы похоронили его в море.

— Очень забавное выражение, если вдуматься, — «похоронить в море», — сказала Лесли, которую смешило все.

— А в другой раз, — продолжал капитан, — в другой раз это была женщина.

И он поведал эту историю Джанин, Эверилл и

еще нескольким людям, стоящим вокруг. Лесли уже не было — муж увел ее.

Капитан рассказал, что как-то раз на его судне путешествовали две сестры. Несколько лет назад, на другом маршруте, в южной Атлантике. Казалось, между сестрами разница лет двадцать, но лишь потому, что одна из них была очень больна. Возможно, она была ненамного старше другой сестры, а может, и вообще не старше. Вероятно, обеим было по тридцать с чем-то лет. Обе незамужние. Здоровая сестра была очень красива.

— Я в жизни не видал женщины красивей, — сказал капитан серьезно, словно описывал пейзаж или здание.

Она была очень красива, но не замечала никого, кроме сестры, которая все время лежала в кают-е, — вероятно, у той было больное сердце. Вторая сестра по ночам выходила и садилась на скамейке под окном каюты. Иногда она прогуливалась до борта и обратно, но никогда не удалялась от окна. Капитан полагал, что она хотела услышать, если сестра позовет. (Никакого медицинского персонала на судне тогда не было.) Он видел ее на скамейке, когда выходил на свою ночную прогулку, но притворялся, что не видит — ему казалось, она не хочет, чтобы ее замечали,

чтобы ее вынуждали здороваться.

Но однажды ночью, когда он проходил мимо, она его окликнула. Так тихо, что он едва услышал. Он подошел к скамье, и женщина сказала: простите, капитан, моя сестра только что умерла.

Простите, капитан, моя сестра только что умерла.

Она повела его в каюту, и оказалось, что она говорит правду. Ее сестра лежала на кровати, ближайшей к двери. Глаза были полуоткрыты. Она только что умерла.

— В каюте царил беспорядок, как бывает иногда в таких случаях, — рассказывал капитан. — И по реакции женщины я понял, что ее не было здесь, когда это случилось, — она сидела снаружи.

Ни капитан, ни женщина не сказали ни слова. Они принялись наводить порядок в каюте, обмыли тело, выложили его ровно и закрыли ему глаза. Когда они закончили, капитан спросил, кого надо известить. Никого, ответила женщина. Никого. У нас никого не было, кроме друг друга. Тогда желаете ли вы похоронить тело в море, спросил капитан, и она ответила, что да. Завтра, сказал он, завтра утром. Но она сказала: зачем ждать? Разве нельзя это сделать прямо сейчас?

Конечно можно и даже желательно, хоть капи-

тан и не стал предлагать этого сам. Чем меньше другие пассажиры и даже команда будут знать о смерти на борту, тем лучше. К тому же погода стояла жаркая — лето в Южной Атлантике. Они завернули тело в простыню и общими усилиями вытащили через окно, широко раскрытое ради свежего воздуха. Мертвая сестра была очень легкая, иссохла от болезни. Они донесли ее до борта. Капитан сказал, что сходит за веревкой — простыню надо перевязать, чтобы она не развернулась, когда тело сбросят за борт. «А шарфы не подойдут?» — спросила вторая сестра. Она побежала в каюту и вернулась с ворохом шарфов и кушаков, очень красивых. Капитан перевязал ими тело в простыне и сказал, что пойдет принесет книгу, чтобы прочитать заупокойную службу. Но женщина засмеялась: «Что толку от вашей книги — тут слишком темно, читать невозможно». Он понял, что она боится оставаться наедине с телом. Она была права и насчет темноты. Капитан мог бы сходить за фонариком. Он не помнит, подумал ли тогда об этом. Он и сам не хотел оставлять женщину одну — ему не нравилось ее состояние.

Он спросил ее, что сказать над телом. Какую-нибудь молитву? Говорите что хотите, ответила женщина. И он произнес Господню молитву

— он не помнит, присоединилась ли женщина к нему, — а потом сказал что-то вроде: «Господи Иисусе Христе, именем Твоим мы предаем эту женщину водам; помилуй ее душу». Что-то такое. Потом они взяли тело и перевалили через борт. Всплеск был едва слышен.

Женщина спросила, все ли это, и капитан сказал, что да. Ему осталось только заполнить кое-какие бумаги и выписать свидетельство о смерти. Отчего она умерла, спросил он. Сердечный приступ? Он подумал, что его словно околдовали — почему он не задал этот вопрос раньше?

О, сказала она, это я ее убила.

— Я знала! — вскричала Джанин. — Я знала, что это убийство!

Капитан проводил женщину до каюты, усадил на скамью под окном — оно теперь было ярко освещено, будто на Рождество, — и спросил, что она имеет в виду. Она рассказала, что сидела на этом самом месте и услышала, как сестра ее зовет. Она знала, что сестре нужна помощь. И знала, какая именно — ей нужно было сделать укол. Но она не двинулась с места. Она пыталась встать — то есть неотступно думала, что нужно встать; она видела, как входит в каюту, достает

шприц, видела как наяву, но не двигалась. Напрягала все силы, чтобы встать, но оставалась на месте. Сидела как камень. Она была не в силах пошевелиться — так бывает во сне, когда знаешь, что надо спасаться от какой-нибудь опасности, но не ничего не можешь поделать. Она сидела и слушала, пока не стало ясно, что сестра умерла. Потом появился капитан, и она окликнула его.

Капитан сказал, что она не убивала сестру.

Она все равно умерла бы, сказал он. Разве она не умерла бы в ближайшее время? Если не сегодня, так завтра? О да, ответила женщина. Вероятно. Не вероятно, а определенно, сказал капитан. Не вероятно, а определенно. Он укажет в свидетельстве о смерти причину «сердечный приступ», и делу конец. Так что теперь будьте спокойны, сказал он. Теперь вы знаете, что все будет хорошо.

Он произносил «будьте спокойны» на шотландский манер — «будьте покойны».

Да, сказала женщина, она знала, что в этом смысле все будет хорошо. Я не жалею, сказала она. Но я думаю, вам нужно будет запомнить то, что вы сделали.

— И тогда она подошла к борту, — сказал капитан, — и я, конечно, пошел вместе с ней, так как не знал, что она задумала. А она спела гимн. И все.

Я так понимаю, это был ее вклад в заупокойную службу. Она пела тихо, едва слышно, но этот гимн был мне знаком. Сейчас я его не помню, но тогда я знал его до последнего слова.

— «Добром и милосердием Твоим…» — спела вдруг Эверилл — легко, но уверенно, так что Джанин обняла ее за талию и воскликнула:

— Искрометный талант!

Капитан на мгновение удивился. Потом сказал:

— Вы знаете, очень может быть, что именно этот. — Он как будто уступал, отдавал Эверилл часть своей истории. — Возможно, что и этот.

— Это единственный гимн, который я знаю, — сказала Эверилл.

— И что, это все? — спросила Джанин. — Там ничего не было про богатое наследство? Сестры не были влюблены в одного и того же человека? Нет? Надеюсь, вы это не по телевизору видели.

Нет, сказал капитан, я это не по телевизору видел.

Эверилл была уверена, что знает конец этой истории. Да и как она могла не знать? Ведь это была ее история. Она знала, что после того, как женщина спела гимн, капитан снял ее руку с релинга, поднес к губам и поцеловал. Сначала

тыльную часть, потом ладонь (которую он называл по-шотландски «долонь»). Руку, что так недавно служила умершей.

В некоторых версиях история тут заканчивалась, и этого было довольно. В других вариантах капитана не так просто было удовлетворить. И женщину тоже. Они входили внутрь, шли по коридору в освещенную каюту, и там капитан любил женщину на той самой койке, которую они, согласно его рассказу, только что освободили, отправив ее обитательницу и одну простыню на дно океана. Они упали на эту койку, потому что не успели добраться до другой, под окном. Им не терпелось заняться любовью, и они занимались ею до самого рассвета, и этой любви должно было им хватить до конца жизни.

В некоторых версиях они выключали свет. В других версиях им было наплевать.

Капитан просто заменил мать и дочь на сестер и перенес маршрут судна в южную Атлантику. И финал он опустил, а также добавил от себя некоторые детали, но Эверилл все равно не сомневалась, что он рассказывает ее собственную историю. Ту, что она сочиняла сама для себя ночь за ночью, сидя на скамье под окном, в строгой тайне от всех, — теперь она услышала ее от дру-

гого человека. Она сложила эту историю, а он взял ее и рассказал — но так, чтобы не подвергать Эверилл опасности.

Оттого, что это оказалось возможно, Эверилл чувствовала себя невесомой, отдельной от всего, светящейся, как ночная рыба в воде.

Жук не умерла в ту ночь. Она умерла двумя неделями позже в Королевской больнице в Эдинбурге. Так далеко они успели добраться на поезде.

Эверилл не была рядом с матерью, когда та умерла. Она в это время стояла в паре кварталов от больницы и ела печеную картошку, купленную в лавочке навынос.

Одна из последних связных реплик Жук относилась к названию больницы. Она сказала:

— Правда, это звучит очень по-*старосветски*?

Эверилл, весь день просидев в больничной палате, вышла перекусить и удивилась, что небо еще такое светлое, что так много оживленных, ярко одетых людей ходят по улицам, говорят по-французски и по-немецки и, вероятно, на куче других языков, которые Эверилл не могла опознать. Каждый год в это время в родном городе капитана проходил большой фестиваль.

Эверилл привезла тело матери домой в Торонто самолетом, чтобы устроить похороны с красивой музыкой. В самолете она оказалась рядом с другим канадцем, возвращающимся из Шотландии, — он участвовал в турнире гольфистов-любителей и сыграл хуже, чем рассчитывал. От неудачи и от горя они отнеслись друг к другу с особой добротой, и каждого очаровало невежество другого — незнакомство с миром спорта, с миром музыки. Поскольку молодой человек жил в Торонто, ему было нетрудно явиться на похороны. Вскоре он и Эверилл поженились. Через некоторое время доброты у них поубавилось, очарование спало, и Эверилл начала объяснять свой выбор мужа исключительно тем, что Жук сочла бы его нелепым. Они развелись.

Но Эверилл встретила другого мужчину, намного старше себя. Он преподавал театральное искусство в школе и сам ставил пьесы. Он был скорее талантлив, чем добр — в общении небрежен, пугающе легкомыслен и чересчур ироничен. Люди либо очаровывались им, либо терпеть его не могли. Он старался не осложнять свою жизнь отношениями.

Однако Эверилл забеременела, и они решили пожениться. Оба надеялись, что родится дочь.

Эверилл больше никогда не встречала никого из своих спутников по атлантическому рейсу и не получала от них никаких вестей.

Эверилл принимает приношение капитана. Она получила отпущение, она счастлива. Она скользит, как полосатая рыба, внутри темного шелкового платья.

Они с капитаном желают друг другу доброй ночи. Они церемонно соприкасаются руками. Кожа мерцает в месте соприкосновения.

О, что за дивная краса[16]

[16] Примечания: 16

Здесь и далее — цитаты из стихотворения Уолтера Сэвиджа Лэндора «Роз Эйлмер» (1846).

I
Дохлый Глаз

Они в столовой. Лакированный пол — голый, за исключением ковра перед горкой с фарфором. Мебели в комнате мало — длинный стол, кресла, пианино и горка. Все окна закрыты деревянными ставнями с внутренней стороны. Ставни выкрашены в тускло-голубой, серовато-голубой цвет. Краска и на ставнях, и на оконных рамах частично облезла. Частично ее сколупнула сама Джоан, ногтями.

В Логане очень жаркий день. Мир за ставнями плавает в ослепительно-белом свете; дальние деревья и холмы просвечивают насквозь; собаки кучкуются поближе к уличным колонкам и лужицам у питьевых фонтанчиков.

В столовой еще какая-то женщина, подруга матери. То ли Гасси Толл, учительница, то ли жена начальника станции. Подруги матери — энергичные женщины, вечно в переходном состоянии: независимые, не привязанные к месту — если и не на деле, то, по крайней мере, во взглядах на жизнь.

Женщины разложили на столе, под вентилятором, карты и гадают. Они болтают и смеются; их болтовня и смех — колдовские, заговорщические. Моррис лежит на полу и пишет в блокнот. Он записывает, сколько экземпляров журнала «Новая свобода» продал за неделю и кто из покупателей заплатил, а кто до сих пор должен деньги. Моррис — плотный юноша лет пятнадцати, бодрый, но сдержанный. На нем очки, одно стекло которых затемнено.

Когда Моррису было четыре года, он бродил в высокой траве в нижней части сада, у ручья, и споткнулся о грабли, брошенные зубьями вверх. Споткнулся и упал на грабли, сильно рассек бровь и веко и повредил глазное яблоко. Сколько Джоан себя помнит — она в то время была еще в пеленках, — у Морриса был шрам на лице, и один глаз ничего не видел, и он ходил в очках с затемненным стеклом.

Грабли в саду оставил бродяга. Так сказала мать. Она велела ему сгрести листья под каштанами, пообещав за работу сэндвич. Она дала бродяге грабли, а когда в следующий раз посмотрела в ту сторону, он куда-то делся. Может, ему надоело грести, а может, он разозлился, что она потребовала от него сперва отработать. Мать

забыла сходить туда и забрать грабли. Мужчины в доме не было, и ей никто не помогал по хозяйству. Чуть больше чем за полгода ей пришлось пережить три события: рождение Джоан, гибель мужа в автомобильной аварии (мать считала, что он выпил, но пьян не был) и падение Морриса на грабли.

Она ни разу не свозила Морриса к врачу в Торонто, к специалисту, чтобы сделать шрам как-то поаккуратней или проконсультироваться по поводу глаза. У нее не было денег. Но разве она не могла занять у кого-нибудь? Таким вопросом задавалась Джоан, когда уже подросла. Разве нельзя было пойти в «Клуб львов»[17] и попросить о помощи? Они иногда помогали беднякам в неотложных случаях. Нет-нет. Никак не могла. Мать не считала себя и детей бедными в том смысле, в каком были бедны получающие помощь от «Клуба львов». Семья жила в большом особняке. Мать сама была домовладелицей — собирала арендную плату с жильцов трех домиков,

[17] Примечания: 17

«Клуб львов» (Lions Clubs International) — международная неправительственная нерелигиозная организация, объединяющая бизнесменов, желающих вести благотворительную деятельность для улучшения жизни окружающих и мира в целом. Основные программы клуба направлены на сохранение зрения, слуха и речи у людей, на борьбу с диабетом, помощь детям, развитие молодежных организаций и др.

стоящих через дорогу. Она по-прежнему владела лесопилкой, хотя порой там оставался только один рабочий. (Мать любила называть себя «мамаша Фордайс» — в честь «мамаши Перкинс», вдовы из мыльной радиооперы, тоже владелицы лесопилки.) У них не было такой свободы действий, как у настоящих бедняков.

Джоан гораздо труднее понять, почему сам Моррис так ничего и не предпринял. У него теперь куча денег. Причем дело даже не в деньгах. Моррис, как любой другой человек, платит взносы за обязательный государственный полис медицинского страхования. Его взгляды по поводу государства-няньки, личной ответственности и неуместности многих налогов кажутся Джоан крайне правыми, но взносы-то он платит. Разве не имеет смысла попробовать хоть что-то получить взамен? Аккуратнее зашитое веко? Искусственный глаз новой модели, который выглядит реалистично, более того, благодаря удивительному механизму движется синхронно с другим глазом? Для этого нужно всего лишь съездить в клинику, немного потерпеть неудобства и всякие манипуляции.

Для этого нужно всего лишь признаться в желании что-то изменить. Признать, что это не позор

— попробовать снять клеймо, навешенное на тебя злой судьбой.

Мать и ее подруга пьют ром с кока-колой. В доме царит расслабленная атмосфера, которая удивила бы большинство одноклассников Джоан и Морриса. Мать курит, пьет ром с кока-колой в жаркие летние дни, и Моррису позволяет курить и водить машину, когда ему исполняется двенадцать лет. (Рома он не любит.) Мать ничего не говорит о злой судьбе. Она рассказывает про бродягу и грабли, но глаз Морриса к этому времени стал уже своего рода украшением. Мать внушает детям, что они — часть чего-то особенного. Не потому, что их дед основал лесопилку — мать смеется над этим, говорит, что он всего лишь везучий лесоруб, а сама она была никто, приехала в город и работала клерком в банке, — и не потому, что они живут в огромном холодном особняке, который невозможно поддерживать в нормальном состоянии, но потому, что у их маленькой семьи есть что-то личное, закрытое от других. Это связано с тем, как они шутят, как обсуждают людей. Они — в основном мать — придумали свои клички для всех жителей города. И еще мать знает множество стихов — то ли в школе выучила, то ли еще где. Она прицепляет пару

строчек к кому-нибудь, и эти две строчки подытоживают суть человека — нелепо и незабываемо. Она смотрит в окно, цитирует стихотворение — и дети уже знают, кто прошел мимо. Иногда она придумывает такие вещи, пока мешает овсянку. Овсянку они едят не только на завтрак, но время от времени и на ужин, потому что она дешева.

Моррис любит шутить — каламбурить. Он делает это упорно, словно назло, а мать притворяется, что это ее бесит. Однажды она сказала, что, если он сейчас же не перестанет, она вывернет сахарницу ему в тарелку, прямо на картофельное пюре. Он не перестал, и она сделала, как обещала.

В доме Фордайсов плохо пахнет. Это от штукатурки и обоев в закрытых комнатах; от дохлых птиц в неиспользуемых печных трубах; от мышей, чей помет, похожий на семена, все время появляется в шкафу для белья. Деревянные двери в арочном проеме между столовой и гостиной закрыты — семья пользуется только столовой. Боковая прихожая отделена от передней кое-как сколоченной дощатой перегородкой. Семья не покупает уголь и не чинит центральную печь, которая давно нуждается в ремонте. Жилые комнаты отапливаются двумя буржуйками, в которых горят отходы с лесопилки. Но все это

не важно — никакие лишения, трудности, меры экономии не важны. А что важно? Шутки и везение. Детям повезло, что они родились в браке, счастливом на протяжении всех пяти лет; это счастье выражалось в приемах гостей, танцах и восхитительных эскападах. Напоминания о нем — повсюду: граммофонные пластинки, корзина для пикников с серебряной фляжкой, хрупкие бесформенные платья из удивительных материй — абрикосовый жоржет, изумрудный муаровый шелк. Это счастье не было тихим: оно означало обильные возлияния, наряды, дружбу — в основном с людьми из других мест, даже из Торонто, — ныне угасшую, ведь многие друзья также убиты трагедией, внезапной нищетой этих лет, осложнениями.

Кто-то колотит дверным молотком у парадной двери — ни один приличный визитер не станет так колотить.

— Я уж знаю, знаю, кто это, — говорит мать. — На что спорим, это чокнутая миссис Баттлер?

Мать выскальзывает из холщовых туфель и осторожно, чтобы не скрипнули, распахивает арочные двери. Она крадется на цыпочках к фасадному окну давно не используемой гостиной: из него, если прищуриться через ставни, можно

увидеть веранду у парадного входа.

— Черт возьми. Она самая.

Миссис Баттлер — их жиличка. Она живет через дорогу, в одном из трех домов, сложенных из цементных блоков. У нее белые волосы, но она прячет их под тюрбан, сшитый из разноцветных кусков бархата. На ней длинное черное пальто. У нее есть привычка останавливать детей на улице и расспрашивать их. Ты только сейчас идешь из школы? Тебя что, оставили после уроков? Твоя мать знает, что ты жуешь жвачку? Это ты бросаешь крышечки от бутылок ко мне во двор?

— О черт, — говорит мать. — Вот кого угодно сейчас готова видеть, только не ее.

Миссис Баттлер является к ним нечасто. Она приходит время от времени, обычно с какой-нибудь длинной нелепой жалобой, какой-нибудь ужасной новостью, требующей срочных действий. Она сильно привирает. Затем она несколько недель проходит мимо дома Фордайсов, не удостаивая его взглядом, шагая быстро, широкими шагами и словно бодая воздух; лишаясь всякой солидности, которую придает ей черное пальто. Она полностью поглощена какой-то обидой и что-то бормочет себе под нос.

Дверной молоток опять стучит. Мать тихо идет

в переднюю, к двери. Останавливается. По одну сторону большой парадной двери — витражное окно с таким сложным мелким рисунком, что через него невозможно ничего увидеть, а с другой стороны, где витраж разбит (очень уж мы сильно веселились тем вечером, сказала мать), окно заколочено фанерой. Мать встает у двери и начинает лаять. «Тяф-тяф-тяф», — лает она, как злобная маленькая собачка, запертая одна в доме. Миссис Баттлер прижимает к витражу голову в тюрбане, пытаясь заглянуть внутрь. Она ничего не видит. Собачка лает громче. Яростный лай, гневное исступление. В лае прячутся слова: «У-хо-ди! У-хо-ди! У-хо-ди! Чок-ну-та-я! Прочь! Прочь! У-хо-ди!»

Миссис Баттлер еще некоторое время стоит у двери в раскаленной добела жаре. Она загораживает свет в окне.

Придя в следующий раз, она говорит:

— А я и не знала, что у вас есть собака.

— У нас нет собаки, — отвечает мать. — Нет и никогда не было. Я часто думаю, что неплохо было бы завести собаку. Но у нас ее никогда не было.

— Ну не знаю, я один раз зашла к вам, и дома никого не оказалось. Никто мне не открыл, и я готова поклясться, что слышала собачий лай.

— Возможно, у вас непорядок во внутреннем ухе, миссис Баттлер, — отвечает мать. — Вам следовало бы сходить к доктору.

Позже мать говорит:

— Я думаю, что запросто могла бы превратиться в собаку. Меня звали бы Трезор.

Они придумали прозвище для миссис Баттлер. Они звали ее миссис Бункер, а потом — миссис Карбункул. Это имя ей подходило. Даже не зная точно, что такое карбункул, Джоан понимала: прозвище подходит и запоминается. Уж очень оно соответствовало шишковатой, безжизненной, принужденной, неподатливой внешности и натуре соседки.

У миссис Карбункул была дочь, Матильда. Мужа не было, только дочь. Сидя после ужина на боковой веранде — мать курила, и Моррис тоже курил, как подобает мужчине в доме, — Фордайсы иногда видели Матильду: она сворачивала за угол, направляясь в работающую допоздна кондитерскую или взять книгу в библиотеке, пока та не закрылась. Всегда одна, без подруги. Разве можно привести подругу в дом, где властвует миссис Карбункул? Но Матильда не выглядела одинокой, робкой или несчастной. Она всегда была прекрасно одета. Миссис Карбункул умела

шить — собственно, зарабатывала на жизнь подгонкой одежды в магазине дамского и мужского готового платья Гиллеспи. Миссис Карбункул наряжала Матильду в светлое, часто с белыми чулками.

— «Рапунцель, Рапунцель, проснись, спусти свои косыньки вниз», — тихо цитировала мать при виде Матильды. — Ну скажите мне, как она может быть дочерью миссис Карбункул?

Здесь что-то нечисто, говорила мать. Она не удивится, вот ничуточки не удивится, если окажется, что Матильда — дочь какой-нибудь богачки или дитя страсти и миссис Карбункул ее воспитывает за деньги. С другой стороны, возможно, что Матильду похитили ребенком и она ничего об этом не знает.

— Такое случается, — говорила мать.

Красота Матильды, причина этого разговора, в самом деле наводила на мысль о запертой в башне принцессе. Она словно сошла с картинки в книге сказок. Длинные волнистые легкие русые волосы с золотистыми оттенками — в те годы, когда в белый цвет волосы красили только самые отъявленные девки, Матильду назвали бы блондинкой. Розово-белая кожа, большие кроткие голубые глаза. «Млеко доброты человеческой» —

эти слова таинственно сами собой звучали в голове у Джоан, когда она думала о Матильде. И впрямь, в голубизне Матильдиных глаз, в ее коже, вообще в ее внешности было что-то млечное. Млечно-белое, прохладное, доброе — может быть, глупое. Но ведь у всех этих сказочных принцесс блондинистая красота смягчена нежной размытостью, наброшенной сверху вуалью глупости, выражением невольной жертвы, беспомощной кротости? Все это проявилось у Матильды лет в двенадцать-тринадцать. Она была ровесницей Морриса и училась в его классе. Но училась хорошо, так что, видимо, была вовсе не глупа. Она была особенно сильна в правописании.

Джоан собирала всевозможные сведения о Матильде — все, что могла выведать, — и знала все ее наряды. Она хитро подстраивала якобы случайные встречи на улице, а поскольку они жили в одном квартале, это происходило часто. Слабея от любви, Джоан замечала каждую мелочь во внешности Матильды. Она сегодня распустила волосы впереди по плечам или зачесала назад? Накрасила ли ногти бесцветным лаком? Какая на ней блузка — голубая вискозная с крохотной полосочкой кружева на воротнике, придающая ей мягкий, шутливый вид, или накрахмален-

ная хлопчатобумажная рубашка, в которой она выглядит прилежной ученицей? У нее было ожерелье из стеклянных бусин — прозрачных, розовых, — при виде которых на белоснежной шее Матильды у Джоан проступал тончайший пот на внутренних сторонах предплечий.

Какое-то время Джоан изобретала для Матильды другие имена. Имя Матильда ассоциировалось у нее с пыльными занавесками, выцветшими пологами шатров, дряблыми старухами. Может, Шерон? Лилиана? Элизабет? Потом — Джоан не знала почему — имя Матильда преобразилось. Оно засверкало, как серебро. Слог «иль» был серебряным. Но не металлическим. В мыслях Джоан это имя теперь сверкало, как складки атласа.

Крайне важны были приветствия. Джоан ждала, и на шее пульсировала жилка. Конечно, следовало ждать, пока Матильда поздоровается первой. Она могла сказать: «Привет» — бодро, потоварищески. Или: «Доброе утро» — более мягкое, более личное. Изредка она говорила: «Здравствуй, Джоан», показывая, что особым образом отметила ее присутствие. От этой дразнящей приветливости глаза Джоан тут же наполнялись слезами; на нее наваливалось бремя исключительного счастья, преисполняя жгучим стыдом.

Конечно, эта любовь со временем стала убывать. Как и прочие беды и радости, она прошла, и интерес Джоан к Матильде Баттлер упал до нормального уровня. Матильда тоже изменилась. К тому времени, как Джоан пошла в старшие классы, Матильда уже работала. Она устроилась в юридическую контору младшим клерком. Теперь, когда она сама зарабатывала на жизнь и частично вышла из-под контроля матери — не полностью, так как все еще жила дома, — она сменила стиль. По-видимому, она хотела меньше походить на принцессу и больше — на нормальных людей. Она коротко подстриглась и носила аккуратную прическу по моде того времени. Она стала краситься — ярко-красная помада придала жесткость очертаниям рта. Она стала одеваться как другие девушки — в длинные узкие юбки с разрезом, блузки с мягкими бантами у шеи, балетки. Она утратила бледность и отстраненный вид. С этой Матильдой Джоан, которая планировала получить стипендию на изучение искусства и археологии в Университете Торонто, здоровалась сдержанно. Последние остатки чувств улетучились, когда Матильда стала появляться на людях в обществе поклонника.

Поклонник был недурен собой, лет на десять

старше Матильды. У него были редеющие черные волосы, тонкие, будто нарисованные, усики и недружелюбное, подозрительное, упрямое выражение лица. Очень высокий, он на ходу склонялся к Матильде, обняв ее за талию. Они много ходили по улицам, потому что миссис Карбункул возненавидела его и не пускала в дом. Сначала у поклонника не было машины. Потом машина появилась. Про него говорили, что он пилот самолета и что он официант в дорогом ресторане. Никто не знал, где Матильда с ним познакомилась. Когда они ходили по улицам, его рука лежала даже ниже талии Матильды — растопыренные пальцы уверенно покоились на уровне таза. Джоан казалось, что эта нахальная, захватническая рука и выражение мрачного вызова на лице поклонника как-то связаны между собой.

Но еще раньше — до того, как Матильда устроилась на работу, до того, как она подстриглась, — случилось нечто такое, отчего Джоан, давно переросшая свою любовь, поняла: у красоты Матильды есть некий неожиданный аспект или эффект. Джоан увидела, что такая красота метит человека — во всяком случае, в Логане, — ставит на нем клеймо, как на хромом или заике. Она

делает своего носителя изгоем — может быть, даже сильней, чем легкий изъян, поскольку воспринимается как упрек. Когда Джоан это поняла, ее уже не так удивило, хотя и разочаровало, что Матильда постаралась при первой же возможности избавиться от своей красоты или закамуфлировать ее.

Вторгаясь к ним на кухню (это случается регулярно), миссис Баттлер, она же миссис Карбункул, никогда не снимает черного пальто и разноцветного бархатного тюрбана. Это чтобы мы не переставали надеяться, говорит мать. Надеяться, что она вот-вот уйдет, что мы избавимся от нее раньше чем через три часа. А также чтобы прикрыть те чудовищные тряпки, которые надеты у нее под пальто. Потому что, раз у нее есть это пальто и она готова его носить каждый день, ей уже не обязательно менять платье.

От нее душно пахнет камфорой.

Она врывается на полуслове, на середине рассказа о каком-то происшествии, каком-то обидчике — как будто собеседники уже знают все подробности и действующих лиц. Как будто новости о ее жизни передают по радио и вы пропустили только пару последних сводок. Джоан всегда с интересом слушает первые полчаса

отчета или тирады. Лучше слушать, находясь за пределами комнаты — это позволит ускользнуть, когда миссис Карбункул начнет повторяться. Если сидеть у нее на виду и попробовать сбежать, она ехидно спросит, куда это ты так торопишься, или обвинит в недоверии к ее словам.

Сейчас Джоан так и поступает — слушает из столовой, делая вид, что разучивает на пианино пьеску для школьного рождественского концерта. Джоан в последнем классе средней школы, а Матильда — в последнем классе старшей школы. (Моррис после Рождества бросит учебу, чтобы заниматься лесопилкой.) Утро субботы, середина декабря — небо серое, земля скована морозом. Сегодня у старшеклассников рождественский бал — единственный бал в году, который проводится в городском цейхгаузе.

Виновником гнева миссис Карбункул оказывается директор школы. Это ничем не примечательный мужчина по имени Арчибальд Мур — ученики обычно зовут его Арчи-Бульдог или Архибульдог. Миссис Карбункул говорит, что он непригоден к своей должности. Она говорит, что он продажен и все это знают; нельзя окончить школу, не дав взятку директору.

— Но ведь экзаменационные работы проверя-

ют в Торонто, — говорит мать Джоан, словно бы искренне удивляясь. Какое-то время она развлекается, подначивая миссис Карбункул, слегка возражая и задавая наводящие вопросы.

— Он и с ними стакнулся, — отвечает миссис Карбункул. — И с ними тоже.

Потом она заявляет, что, когда сам директор учился, он тоже сунул на лапу кому надо. Иначе он бы даже школу ни за что не окончил. Он чрезвычайно глуп. Полный невежда. Не умеет решать задачи на доске, не умеет переводить с латыни. Ему приходится держать под рукой учебник, в котором все ответы вписаны поверх текста карандашом. А еще несколько лет назад он заделал одной ученице ребенка.

— О, я об этом не слышала! — восклицает мать Джоан предельно вежливым голосом.

— Дело замяли. Ему пришлось раскошелиться.

— Наверно, выложил все, что сколотил на взятках?

— Он заслуживает кнута!

Джоан играет тихо. Она разучивает «Иисус, мое желанье», очень сложную вещь. Она играет тихо, потому что надеется услышать имя ученицы или способ, которым избавились от ребенка. (Однажды миссис Карбункул расписала, как некий

доктор в их городе избавляется от детей — плодов собственного сластолюбия.) Но миссис Карбункул переходит к своей главной обиде — оказывается, связанной с балом. Арчибальд Мур неправильно организовал бал. Ему следовало распределять партнеров по танцам, вытягивая их имена из шляпы. Или велеть, чтобы все ученики явились на бал поодиночке. Либо одно, либо другое. Тогда Матильда смогла бы пойти. У нее нет партнера — ни один мальчик ее не пригласил, — и она говорит, что в одиночку не пойдет. А миссис Карбункул требует, чтобы она пошла. Говорит, что заставит ее. Из-за всех расходов на платье. Миссис Карбункул начинает перечислять. Называет цену сетки, тафты, блесток, корсетных косточек (платье без бретелек), двадцатидвухдюймовой молнии. Она сама сшила это платье, много часов над ним корпела, а Матильда надела его единственный раз. Она вышла в нем вчера на сцену в спектакле, поставленном старшеклассниками в городском доме культуры, и все. Теперь Матильда говорит, что не наденет сегодня это платье; не пойдет на бал, потому что никто ее не пригласил. И во всем виноват Арчибальд Мур, обманщик, прелюбодей и невежда.

Джоан и ее мать видели Матильду во вчераш-

нем спектакле. Моррис с ними не пошел — он теперь не ходит с ними по вечерам. Он предпочитает слушать радио или писать в особом блокноте цифры — вероятно, имеющие отношение к лесопилке. Матильда играла роль магазинного манекена, и в нее влюблялся юноша. Вернувшись домой, мать сказала Моррису, что он ничего не потерял — пьеса была невероятно дурацкая. Матильда, конечно, все время молчала и по большей части стояла неподвижно, повернувшись дивным профилем. Платье было изумительное — как снежное облако, и серебряные блестки сверкали на нем, как иней.

Миссис Карбункул заявила Матильде, что та должна пойти. С партнером, без партнера, но должна. Надеть платье, надеть сверху пальто и в девять вечера выйти из двери. Дверь останется запертой до одиннадцати — до того часа, когда миссис Карбункул ложится спать.

Но Матильда по-прежнему твердит, что не пойдет. Она говорит, что сядет в угольном сарае в конце двора и будет там сидеть. Это уже не угольный сарай, а просто сарай — у миссис Карбункул нет денег на уголь, точно так же как у Фордайсов.

— Она замерзнет, — говорит мать Джоан, впер-

вые искренне вовлекаясь в разговор.

— Так ей и надо, — отвечает миссис Карбункул.

Мать Джоан смотрит на часы и говорит, что очень извиняется за свою грубость, но она только что вспомнила, что записана к зубному врачу на сегодня. Ей нужно поставить пломбу, и придется поторопиться, чтобы не опоздать. Так что она просит ее извинить.

Она выставляет миссис Карбункул — та бормочет, что сроду не слыхала о пломбировании зубов по субботам, — немедленно звонит на лесопилку и вызывает Морриса домой.

Джоан впервые видит спор между Моррисом и матерью — то есть настоящий спор. Моррис наотрез отказывается. Он не хочет делать то, чего требует от него мать. Его голос звучит так, словно убедить его, уговорить невозможно. Он разговаривает не как мальчик с матерью, но как мужчина с женщиной. Мужчина, который знает предмет спора лучше ее и готов ко всем трюкам, которыми она воспользуется, чтобы на него надавить.

— Ну, по-моему, ты ужасный эгоист, — говорит мать. — По-моему, ты ни о ком, кроме себя, не способен думать. Ты меня очень разочаровал.

Как бы ты себя чувствовал на месте этой бедной девочки с чокнутой матерью? Бедной девочки в сарае? Джентльмен должен быть готов на определенные поступки, знаешь ли. Вот твой отец знал бы, что делать.

Моррис не отвечает.

— Можно подумать, тебя заставляют на ней жениться. Во сколько тебе это обойдется? — презрительно говорит мать. — По два доллара за себя и за нее?

Моррис тихо отвечает, что дело не в этом.

— Я не так часто тебя прошу сделать что-то неприятное! Правда ведь? Я к тебе отношусь как ко взрослому. Предоставляю тебе всяческую свободу. Ну вот, я тебя попросила доказать, что ты в самом деле взрослый и заслуживаешь этой свободы, — и что я слышу в ответ?

Этот разговор тянется еще некоторое время, и Моррис стоит на своем. Джоан не понимает, как мать может одержать верх и почему до сих пор не сдалась. Но она не сдается.

— И можешь не отнекиваться тем, что якобы не умеешь танцевать. Еще как умеешь, я тебя сама учила. Ты прекрасно танцуешь!

И тут Моррис, видимо, неожиданно соглашается, потому что мать говорит:

— Иди надень чистый свитер.

Ботинки Морриса грохочут по задней лестнице, а мать кричит ему вслед:

— Ты сам будешь рад, что согласился! Не пожалеешь!

Она открывает дверь столовой и обращается к Джоан:

— Что-то я не слышу пианино. Ты что, уже все выучила и можешь больше не репетировать? Последний раз, когда ты при мне играла, у тебя выходило просто ужасно.

Джоан играет еще раз с самого начала. Но бросает, когда Моррис спускается по лестнице и захлопывает дверь, а мать на кухне включает радио, открывает шкафчики и начинает готовить обед. Джоан встает с фортепианной скамеечки и тихо выходит из столовой в переднюю, к двери. Она прижимается лицом к витражу. Снаружи через него ничего не видно, потому что в передней темно, но, если смотреть одним глазом в определенное место, можно увидеть улицу. Красного в витраже больше, поэтому Джоан выбирает красный вид. Хотя она все цвета перепробовала в свое время — синий, золотой, зеленый. Она научилась смотреть через любой, даже самый маленький кусочек стекла.

Серый дом из цементных блоков на той стороне улицы теперь выглядит сиреневым. Моррис стоит у двери. Дверь открывается, но Джоан не видно, кто ее открыл. Матильда или миссис Карбункул? Голые окоченевшие деревья и куст сирени у дверей того дома темно-красные, как кровь. Лучший свитер Морриса, желтый, превратился в красно-золотое пятно, похожее на сигнал светофора.

Где-то вдали мать Джоан подпевает радио. Она не ведает ни о какой опасности. Стоя между парадной дверью, сценой, разыгрывающейся через дорогу, и пением матери на кухне, Джоан ощущает тусклость, холод, хрупкость и преходящесть этих почти голых комнат с высокими потолками, этого дома. Он — просто жилье, которое можно оценивать, как любое другое жилье. В нем нет ничего особенного. Он не может ни от чего защитить. Джоан чувствует это, поскольку подозревает, что мать была не права. В этом случае — и потом, в других случаях, — полагаясь на свои убеждения и предположения, она может оказаться не права.

Теперь видно, что в дверях — миссис Карбункул. Моррис повернулся к ней спиной и идет от дома по дорожке, а миссис Карбункул движется

за ним. Моррис спускается по двум ступенькам на тротуар, очень быстро пересекает улицу, не глядя по сторонам. Он не бежит, руки у него засунуты в карманы, и розовое лицо с налитым кровью глазом улыбается, показывая, что такой оборот дела его нисколько не удивляет. На миссис Карбункул мешковатое, чиненое, редко видящее свет домашнее платье. Розовые волосы всклокочены, как у баньши. У ступенек она останавливается и кричит вслед Моррису, так что Джоан слышит через дверь:

— Мы не так низко пали, чтобы я позволила какому-то Дохлому Глазу повести мою дочь на танцы!

II
Донный лед

Моррис, подстригающий газон перед многоквартирным домом, кажется Джоан похожим на дворника. На нем тускло-зеленые рабочие штаны и клетчатая рубашка и, конечно, очки, у которых одно стекло затемнено. Он выглядит как человек самостоятельный, даже обладающий кое-какой властью, но подчиненный кому-то еще. Увидев его с бригадой рабочих (он расширил бизнес, занявшись помимо лесопильного дела еще и строительством), его можно принять за бригадира — зоркого, справедливого, не лишенного некоторых амбиций, но в ограниченных пределах. Не за хозяина. Не за владельца многоквартирного дома. Он круглолицый, с залысиной на лбу — лицо и залысина покрыты свежим загаром и недавно проступившими веснушками. Плотный, крепкий, но стал сутулиться — или это только кажется из-за того, что он толкает газонокосилку? Есть ли особый тип внешности, характерный для холостяков, холостых сыновей — особенно таких, которым пришлось дохажи-

вать престарелых родителей, особенно матерей? Замкнутый, терпеливый взгляд на грани смирения? Джоан кажется, что она приехала навестить дядюшку.

На дворе 1972 год, и сама Джоан выглядит моложе, чем десять лет назад. Она отпустила темные волосы и заправляет их за уши; она красит глаза, но не губы; носит свободные мягкие хлопковые одежды ярких цветов или задорные платьица, прикрывающие бедра всего дюйма на два. Джоан может себе это позволить — во всяком случае, надеется, что может, — потому что она высокая, с тонкой талией и длинными стройными ногами.

Мать умерла. Моррис продал семейный особняк и построил или перестроил этот и другие многоквартирные дома. Новые владельцы собираются открыть в бывшем семейном особняке Фордайсов пансионат для престарелых. Джоан сказала мужу, что хочет съездить домой — то есть в Логан, — чтобы помочь Моррису устроиться на новом месте. На самом деле она знает, что Моррис устроится без проблем; он всегда владеет ситуацией и, кажется, всегда устроен. Надо только помочь ему рассортировать вещи из ящиков и сундука. Там одежда, книги, посуда, картины, занавески, которые Моррису не нужны или для

которых у него нет места; он сложил их на время в подвал своего доходного дома.

Джоан уже много лет замужем. Ее муж — журналист. Они живут в Оттаве. Он известен — по имени и даже в лицо; точнее, читатели знают, как он выглядел пять лет назад, по фотографии над его постоянной колонкой в газете, на последней странице. Джоан привыкла, что ее узнают как его жену — здесь и везде. Но в ее родном городе это узнавание — предмет особой гордости. Большинству здешних жителей не нравится юмор журналиста (циничный, по их мнению) и его взгляды, но важно то, что девушка из Логана стала женой известной, ну или пусть даже отчасти известной, персоны.

Джоан сказала мужу, что пробудет тут неделю. Она приезжает в воскресенье вечером, в конце мая, когда Моррис первый раз в году косит траву. Джоан собирается уехать в пятницу и провести субботу и воскресенье в Торонто. На случай, если муж узнает, что она не всю неделю пробыла в Логане, у нее готова другая легенда — Моррису она оказалась больше не нужна и решила повидаться со своей университетской подругой. Может, надо в любом случае держаться этой легенды — так безопаснее. Джоан беспокоится, пытаясь понять,

стоит ли посвятить подругу в свои планы.

Она впервые пробует нечто подобное.

Многоквартирный дом уходит в глубину участка; окна смотрят на баптистскую церковь или на стоянку машин. Когда-то здесь был сарай — фермеры оставляли в нем лошадей, идя в церковь. Дом построен из красного кирпича. Без балконов. Очень-очень простой.

Джоан обнимает Морриса. Она ощущает запах сигарет, бензина, мягкой ношеной пропотевшей рубахи и свежескошенной травы.

— Моррис, знаешь, что тебе надо сделать? — кричит она, перекрывая шум газонокосилки. — Завести повязку на глаз! Тогда ты будешь похож на Моше Даяна!

Каждое утро Джоан ходит на почту. Она ждет письма от мужчины из Торонто. Его зовут Джон Брольер. Она написала ему, назвала имя Морриса, город и номер почтового ящика. Логан вырос, но все же не настолько, чтобы почту приносили на дом.

В понедельник утром Джоан не надеется на письмо. Во вторник — надеется. В среду она думает, что, кажется, уже вправе рассчитывать на ответ. Каждый день — новое разочарование. Каждый день она вновь подозревает, что сваляла

дурака, — это чувство, ощущение отдельности и ненужности, проступает все ясней, словно всплывая из глубин. Она поверила мужчине, а он ничего серьезного не имел в виду. Передумал.

Почтовая контора, куда она ходит, — новый низенький домик из розоватого кирпича. Старое здание почты, напоминавшее старинный замок, снесли. Вообще, городок сильно изменился. Сносят не очень много, в основном перестраивают. Покрывают алюминиевым сайдингом, чистят кирпич пескоструйным аппаратом, красят крыши в яркий цвет, вставляют большие окна с двойным остеклением, веранды убирают совсем или переделывают в закрытые. И просторных дворов, заросших чем попало, больше нет — на самом деле это были двойные участки, их разделили, избыток земли продали и застроили. Между старыми домами втискиваются новые. По стилю они как в пригородах больших городов — длинные низкие одноэтажные или двухуровневые. Дворы аккуратные, с тщательной планировкой, с декоративными кустарниками, цветочными клумбами — круглыми или в форме полумесяца. Старый обычай растить цветы на манер овощей, рядками вдоль гряды бобов или картошки, видимо, забыт. Много старых тенистых деревьев

спилили. Вероятно, они стали слишком стары и потому опасны. Облезлые дома, высокая трава, тротуары в трещинах, глубокая тень, немощеные улицы, пыльные или грязные, — все это, памятное Джоан, больше не существует. Город кажется тесным, он будто съежился — так много домов прихорошилось, так многое устроено и спланировано рукой человека. Город детства Джоан — хаотичный, сонный — был всего лишь стадией в развитии Логана. Покосившиеся фанерные заборы, облезлые стены, цветущие сорняки не выражали его неизменную суть. И люди вроде миссис Баттлер — нелепо одетые, одержимые, — кажется, не могли существовать вне прежнего города, которого больше не было.

У Морриса в квартире одна спальня, и он предоставил ее Джоан. Сам он спит на диване в гостиной. Конечно, квартира с двумя спальнями была бы удобнее на случай приезда гостей. Но, наверно, Моррис не рассчитывает принимать гостей — во всяком случае, не много и не часто. И не хочет терять доход от сдачи большой квартиры. Наверняка он подумывал, не занять ли ему холостяцкую квартирку в цокольном этаже, чтобы эту квартиру с одной спальней тоже сдавать. Но, наверно, решил, что это было бы уже

слишком. Это будет выглядеть как чрезмерная скупость и привлечет к нему внимание. Не стоит уж настолько себе потакать.

Мебель в квартире — из дома, где Моррис жил с матерью, но мало что относится к той эпохе, когда Джоан еще жила с ними. Все мало-мальски напоминающее антиквариат было продано и заменено довольно прочной и более-менее удобной мебелью, которую Моррис покупает по оптовым ценам. Джоан замечает вещи, присланные ею в подарок на Рождество и дни рождения. Они не очень гармонируют с квартирой и вовсе не так оживляют обстановку, как надеялась Джоан.

Гравюра с изображением церкви Святого Эгидия напоминает ей год, который они с мужем провели в Британии, — Джоан только что закончила университет и позорно тосковала по дому, устремляя на него свою любовь с той стороны Атлантики. Вот на кофейном столике стеклянный подносик, а на нем предупредительно выставлена напоказ книга, подарок Джоан. Это история машиностроения. В ней чертежи и планы разных механизмов, начиная с эпох, когда еще не знали фотографии, со времен древних египтян и древних греков. Потом, с девятнадцатого века до наших дней, фотоснимки: машины для строи-

тельства дорог, сельскохозяйственные машины, заводские станки, то снятые издали, едва видные на горизонте, то крупным планом, с низкой точки. Одни кадры подчеркивают чудесную работу механизма, мельчайшие детали устройства; на других — машины выглядят роскошными, как дворцы, или грозными, как чудовища. Джоан помнит, как сказала подруге, вместе с которой зашла в книжный магазин: «Какая замечательная книга для моего брата! Он обожает машины и механизмы». «Обожает машины и механизмы» — так прямо и сказала.

Сейчас Джоан задается вопросом: а что Моррис на самом деле подумал об этой книге? Понравилась ли она ему вообще? Вряд ли прямо-таки не понравилась. Возможно, он удивился. Возможно, выкинул из головы и забыл. Потому что он вовсе не обожает механизмы. Он ими пользуется — для этого они и существуют.

Долгими весенними вечерами Джоан с Моррисом катаются на машине. По городу и за городом, где можно увидеть, какие огромные поля, простирающиеся до горизонта, — кукуруза, фасоль, пшеница, клевер — созданы фермерами с помощью тех самых механизмов. Какие обширные газоны, больше похожие на луга, сотворены бла-

годаря моторизованным газонокосилкам. Облака сирени над погребами заброшенных фермерских домов. Фермы были укрупнены, объясняет Моррис. Он знает, что сколько стоит. Не только дома и строения, но и поля, деревья, лесные делянки, холмы — все возникает у него в памяти, снабженное ценой и историей изменений этой цены. Точно так же любой человек в рассказах Морриса определяется тем, продвинулся он в жизни или нет. Такой взгляд на вещи уже непопулярен — он считается приземленным, старомодным, черствым и деструктивным. Моррис об этом не знает и продолжает распространяться про деньги — спокойно и с удовольствием. Время от времени он каламбурит. Он хихикает, рассказывая о некоторых рискованных сделках и экстравагантных фиаско.

Джоан слушает Морриса и поддакивает ему, но мысли ее уплывают по знакомому, непреодолимо влекущему подземному ручью. Она думает про Джона Брольера. Он геолог, когда-то работал на нефтяную компанию, а теперь преподает (естественно-научные предметы и театральное искусство) в заведении, именуемом «альтернативной школой». Раньше он продвигался в жизни, а теперь уже не продвигается. Джоан

познакомилась с ним на званом ужине в Оттаве пару месяцев назад. Он гостил у друзей, которые и Джоан приходились друзьями. Жены с ним не было, но были двое из его детей. Он сказал Джоан, что, если она встанет рано завтра утром, он поведет ее на реку Оттаву и покажет ей нечто, называемое «донный лед».

Джоан воскрешает в памяти его лицо и голос и пытается понять, что именно привлекло ее к этому человеку. По-видимому, ее брак тут ни при чем. Она считает, что в браке ей достаточно удобно: они с мужем переплелись, выработали совместный язык, историю, взгляд на жизнь. Они часто разговаривают. Но и дают друг другу возможность отдохнуть от общения. Трения, взаимная неприязнь — все подобное, что проявилось в первые годы их брака, утихло или ослабло.

Джоан хочет от Джона Брольера чего-то такого, чего могла бы хотеть личность, прежде не подававшая голоса в ее браке, — а может, и вообще в ее жизни. Что же она в нем нашла? Он не кажется Джоан особенно умным, и она не уверена, что он надежный человек. (Муж Джоан и умен, и надежен.) Он и не так хорош собой, как ее муж, не такой «привлекательный». Однако Джоан он привлекает, и она подозревает, что он и других

женщин привлекал. Все потому, что он обладает настойчивостью, какой-то даже суровостью, глубокой серьезностью — и все это нацелено на секс. Его интерес нельзя наскоро удовлетворить, нелегко перенаправить. Джоан чувствует это, чувствует скрытые здесь обещания, хотя пока ни в чем не уверена.

Ее мужа тоже пригласили взглянуть на донный лед. Но встала рано и поехала к реке только Джоан. Там она встретила Джона Брольера, двоих его детей и двоих детей хозяев дома — они стояли в морозном розовом зимнем рассвете, скованном снегами. И Джон в самом деле рассказал ей про донный лед — про то, как он формируется на быстринах, не успевая замерзнуть и затвердеть, и потом, когда его течением сметает на глубину, громоздится там и мгновенно застывает великолепными горами. Джон сказал, что именно так обнаруживаются глубокие места на речном дне. И еще он сказал: «Послушайте, если вам как-нибудь удастся вырваться — если можно, дайте мне знать. Я правда очень хочу вас видеть. Вы знаете. Очень хочу».

Он дал ей клочок бумаги — видимо, заранее приготовленный. С номером почтового ящика и почтового отделения в Торонто. Он даже не

коснулся ее пальцев. Его дети скакали кругом, пытаясь привлечь внимание отца. Когда мы пойдем кататься на коньках? Можно мы поедем в музей военных самолетов? Мы хотим посмотреть на бомбардировщик «ланкастер»! (Джоан запомнила это, чтобы рассказать мужу, — ему понравится, ведь Джон Брольер провозглашает себя пацифистом.)

Она в самом деле рассказала мужу, и он ее немножко подразнил:

— По-моему, этот придурок с монашеской прической положил на тебя глаз.

Как мог муж поверить, что Джоан способна влюбиться в такого человека — с редеющими волосами, зачесанными челкой на лоб, с щербинкой между передними зубами, с пятью детьми от двух жен, с совершенно недостаточным доходом, с азартной и педантичной манерой разговора? Узкоплечего мужчину, который, по его собственному признанию, интересуется трудами Алана Уоттса? (Даже когда уже нельзя было не поверить, муж все равно не поверил.)

В письме Джоан предложила встретиться пообедать, выпить кофе или чего-нибудь еще. Она не сказала, сколько у нее будет свободного времени. Может, ничего больше и не случится, думает

она. И тогда она в самом деле поедет повидаться с подругой. Она вверяет себя этому человеку, хотя и осторожно. Шагая на почту, ловя свое отражение в витринах, она чувствует себя оторвавшейся, незащищенной. Она это сделала — и сама не знает почему. Знает только, что не может вернуться к прежней жизни или к прежней себе, к той, какой была до похода на реку воскресным утром. Ее жизнь — это покупки, хозяйство, радости супружеской постели, работа неполный день в книжном магазине при картинной галерее, званые ужины, отпуска, лыжные катания в Кэмп-Форчун. Джоан не может смириться с тем, что это ее жизнь и другой не будет, она не может так жить дальше, не обзаведясь собственной тайной. Она считает, что в самом деле собирается дальше так жить, — и чтобы продолжать так жить, ей нужно то, другое. Что именно другое? Этот эксперимент — про себя она все еще называет это экспериментом.

В такой формулировке ее затея может показаться жестокой. Но как можно назвать ее жестокой, если она с трепетом шагает на почту каждое утро, дрожит и затаивает дыхание, открывая почтовый ящик, а потом идет обратно к Моррису обессиленная, растерянная, покинутая? Впрочем,

может быть, это тоже часть эксперимента?

Конечно, она вынуждена останавливаться, здороваться с людьми, рассказывать о своих детях, о муже, о жизни в Оттаве. Вынуждена узнавать школьных друзей, вспоминать с ними детство, и все это наводит на нее тоску и раздражает. Сами дома, мимо которых она идет, — аккуратные дворики, яркие маки и пионы в цвету — кажутся нудными до тошноты. Голоса собеседников — резкими, глупыми и самодовольными. Ей кажется, что ее сослали куда-то в дальний уголок мира, куда настоящая жизнь, идеи, суматоха и энергия последних лет даже не начали проникать. Они и в Оттаву-то еще не полностью проникли, но там, по крайней мере, что-то слышали, чему-то пробуют подражать, имеют какое-то представление и о глубоких, и о поверхностных веяниях моды. (Надо сказать, что Джоан с мужем между собой высмеивают кое-кого из этих людей — тех, кто щеголяет модными идеями, ходит на групповую терапию и к холистическим целителям, отказывается от алкоголя ради травы.) А в Логане даже о самых простых новинках еще не слыхали. На следующей неделе, вернувшись в Оттаву, чувствуя особенную нежность к мужу и желая наполнить их совместное время разговором, Джоан

скажет: «Я бы вознесла хвалы даже за сэндвич с проростками люцерны. Честно. Настолько это было ужасно».

— Нет, мне некуда это девать, — повторяет Джоан все время, пока она и Моррис разбирают коробки. Здесь есть вещи, которые она вроде бы хотела взять себе, но теперь не хочет. — Нет. Мне совершенно негде это хранить.

Нет, говорит она при виде бальных платьев матери — нежного шелка и паутинок жоржета. Они расползутся при первой же носке, а Клэр, ее дочь, никогда не заинтересуется подобными вещами — она хочет стать тренером лошадей. Нет, говорит она пяти оставшимся винным бокалам и переплетенным в искусственную кожу томикам Ливера и Ловера, Джорджа Борроу, А. С. М. Хатчинсона.

— У меня и так слишком много вещей, — печально говорит она, и Моррис откладывает все в кучу, предназначенную для отправки в аукционный дом. Он встряхивает небольшой ковер, который раньше лежал на полу перед буфетной горкой, подальше от прямых лучей солнца, — детям запрещалось по нему ходить, поскольку считалось, что он ценный.

— Я видела точно такой в магазине пару ме-

сяцев назад, — говорит Джоан. — В магазине подержанных товаров, даже не в антикварном. Я искала старые комиксы и плакаты Робу в подарок на день рождения. И увидела этот ковер, точно такой же, как наш. Я сначала даже не вспомнила, где видела его раньше. А потом была совершенно потрясена. Как будто в мире может быть только один такой ковер.

— А сколько они за него хотели? — спрашивает Моррис.

— Не знаю. Но он лучше сохранился, чем этот.

Она еще не понимает, почему не хочет ничего везти обратно в Оттаву: потому что ей недолго осталось жить в тамошнем доме. Пора накопления, приобретения, обустройства, прилаживания мягких накладок на острые углы жизни подошла к концу. (Она снова придет много лет спустя, и тогда Джоан пожалеет, что не сохранила хотя бы бокалы.) В Оттаве в сентябре муж спросит Джоан, по-прежнему ли она хочет купить плетеную мебель для солярия, и предложит поехать в магазин плетеной мебели, где идет распродажа летнего товара. И по телу Джоан пробежит дрожь отвращения при одной мысли, что надо будет выбирать столы и стулья, платить, расставлять их в комнате. И тогда Джоан наконец поймет, в

чем дело.

В пятницу утром в ящике обнаруживается конверт с ее именем. Она не смотрит на штемпель; она возносит хвалы, раздирает конверт, жадно пробегает письмо глазами, читает и ничего не понимает. Судя по всему, это «письмо счастья». Пародия на «письмо счастья». Шутка. Там написано, что, если Джоан не отправит письмо дальше, ее постигнет УЖАСНАЯ КАРА. Ее ногти сгниют, а зубы обрастут мхом. На подбородке вырастут бородавки размером с кочаны цветной капусты, и все друзья начнут ее избегать. Что это может быть, думает Джоан. Письмо от Джона Брольера, написанное шифром? Тут ей приходит в голову посмотреть на штемпель. Она смотрит, и оказывается, что письмо пришло из Оттавы. Конечно, автор — ее сын Роб. Он обожает подобные шутки. Вероятно, адрес на конверте для него напечатал отец.

Джоан думает о том, в каком восторге был сын, когда запечатывал конверт, и в каком расположении духа она его открывала.

Предательство и смятение.

В тот же день, ближе к вечеру, они с Моррисом открывают сундук, оставленный напоследок. Она вынимает вечерний костюм — мужской

вечерний костюм, еще в полиэтиленовом пакете, словно его отдавали в чистку и с тех пор не носили.

— Это, наверно, отца, — говорит она. — Смотри, старый вечерний костюм отца.

— Нет, это мой, — отвечает Моррис. Он забирает у нее костюм, отряхивает пакет и перекидывает костюм через обе согнутые руки перед собой. — Это мой старый костюм для парадных выходов. Надо его повесить в шкаф.

— А зачем ты его купил? На свадьбы ходить?

Кое-кто из рабочих Морриса живет намного шикарней своего работодателя, и его часто приглашают на пышные свадьбы.

— Да, и еще на всякие сборища с Матильдой, — отвечает Моррис. — Ужины с танцами, разные торжественные приемы.

— С какой Матильдой? С Матильдой Баттлер?!

— Да, верно. Она не использует фамилию мужа. — Моррис отвечает не совсем на тот вопрос, который задала Джоан. — Строго говоря, как мне кажется, у нее нет на это права.

Джоан снова выслушивает историю, которую, как теперь припоминает, уже слышала, точнее — читала в одном из длинных, словоохотливых писем матери. Матильда Баттлер сбежала, чтобы

выйти замуж за своего поклонника. Выражение «сбежала» принадлежит матери, и Моррис подчеркивает это слово, кажется, сам того не замечая, произносит его с нажимом, как почтительный сын, словно может, имеет право говорить на эту тему только словами матери. Матильда сбежала и вышла замуж за своего поклонника с усиками, и выяснилось, что в кои-то веки подозрительность миссис Карбункул, ее нелепые обвинения имели под собой почву. Муж оказался двоеженцем. У него уже была одна жена в Англии, откуда он приехал. Он прожил с Матильдой три или четыре года — и, к счастью, не нажил с нею детей, — когда первая жена, законная, его выследила. Его брак с Матильдой был аннулирован; Матильда вернулась в Логан, в дом матери, и устроилась на работу в суд.

— Как она могла? — восклицает Джоан. — Невероятная глупость.

— Ну… Она была молода, — говорит Моррис с каким-то упрямством или неловкостью в голосе.

— Я не про то. Я про то, что она вернулась.

— Ну, она приехала к матери, — говорит Моррис, явно всерьез. — Я так понимаю, у нее никого больше не было.

Он стоит, возвышаясь над Джоан, с мрачным,

несчастным видом: на одном глазу темное стекло, и костюм висит на руках, как труп. Лицо и шея раскраснелись неровно, пятнами. Подбородок слегка дрожит, нижняя губа прикушена. Знает ли Моррис, насколько выдает себя? Когда он снова начинает говорить, голос звучит разумно, увещевающе. Он говорит, что, судя по всему, Матильде теперь все равно, где жить. По ее словам, ее жизнь в каком-то смысле кончена. И вот поэтому ей нужен Моррис. Потому что Матильда вынуждена время от времени посещать официальные мероприятия. Банкеты политических партий. Банкеты по поводу выхода на пенсию. Разные другие торжественные сборища. Это часть ее работы, и не ходить туда ей неудобно. Но ходить одной тоже неудобно — ей нужен спутник. И она не может взять с собой мужчину, который не понимает, как обстоит дело, и может неправильно понять приглашение. Не зная, что жизнь Матильды, или, по крайней мере, определенная часть ее жизни, кончена. Поэтому ей нужен человек, который все это понимает и не нуждается в объяснениях.

— То есть я.

— Но почему она так думает? Она не такая уж старая. Наверняка она еще красива. Ведь она же

не виновата. Неужели она его до сих пор любит?

— Я считаю, что не имею права задавать ей вопросы.

— Ох, Моррис! — говорит Джоан нежно и с отчаянием и сама удивляется — так это похоже на интонации матери. — Точно, так и есть. Она его до сих пор любит.

Моррис уходит наверх, в квартиру, — повесить костюм в стенной шкаф до следующего раза, когда Матильде понадобится эскорт.

Той ночью Джоан лежит в постели без сна, глядя, как уличные фонари освещают сквозь молодую листву приземистую квадратную колокольню баптистской церкви. Джоан есть о чем подумать, кроме своего бедственного положения. (О нем она, конечно, тоже думает.) Она представляет себе, как танцуют Моррис и Матильда. В бальном зале «Холидей Инн», или в гольф-клубе, или где там в городке устраивают подобные мероприятия. Они оба в вышедших из моды торжественных нарядах, у Матильды волосы уложены в безукоризненный пышный буффант и закреплены лаком. Лицо Морриса блестит от пота — он очень старается соответствовать партнерше. Но, наверно, это для него не так уж трудно, — скорее всего, Моррис и Матиль-

да прекрасно танцуют вместе. Они так чертовски, идеально подходят друг к другу — каждый со своими недостатками, упрямо сохраненными и чистосердечно принимаемыми. Недостатками, которые можно легко исправить или о которых ничего не стоит забыть. Но они ни за что этого не сделают. Моррис любит Матильду — упорно, неразделенно, пожизненно, — а она любит своего двоеженца и одержима своей ошибкой, своим позором. Они танцуют перед мысленным взором Джоан — безмятежные, нелепые, романтичные. Кто же мог оказаться таким романтиком, как не Моррис, у которого голова полна ипотек и договоров?

Джоан завидует ему. Завидует им обоим.

Она завела привычку убаюкивать себя, вспоминая голос Джона Брольера — торопливый, на пониженных нотах: «Я правда очень хочу вас видеть». Или представляя себе его лицо; она про себя называла это лицо средневековым — бледное, длинное, костлявое, с улыбкой, которую она сбрасывала со счетов как неискреннюю, и трезвыми, сверкающими глазами, которые сбросить со счетов было невозможно. Сегодня ее воображение не сработает — не откроет двери в туманную, нежную страну. Сегодня она не может

вообразить себя где бы то ни было — только здесь, на жесткой односпальной кровати в квартире Морриса, в своей настоящей, явной жизни. То, что подходит Матильде и Моррису, никак не подойдет ей. Самоотречение, радость убитых желаний, романтизированная беспомощность. Джоан этим не удовлетворить.

Она это знает. И знает, что ей придется сделать. Она посылает свою мысль в будущее — стыдливо, не признаваясь самой себе, забрасывает мысль в будущее, пытаясь нащупать образ следующего любовника.

Но, оказывается, в этом нет необходимости.

Джоан совершенно забыла, что в маленьких городках почту носят и в субботу тоже. Почтальоны в субботу не отдыхают. Моррис пошел проверить свой ящик; он вручает Джоан конверт. В письме указано место и время. Письмо очень краткое и подписано только инициалами. Это, конечно, разумно. Его краткость, его осторожность не слишком нравятся Джоан, но она испытывает такое облегчение, такое преображение, что не зацикливается на этом.

Она рассказывает Моррису легенду, которой собиралась воспользоваться с самого начала, если бы письмо пришло раньше. Ее позвала в

гости университетская подруга, узнавшая, что она здесь. Пока Джоан моет голову и укладывает вещи, Моррис ведет ее машину на дешевую заправку к северу от города и заливает полный бак бензина.

Джоан машет Моррису на прощание. Он вроде бы ни о чем не подозревает. На лице читается разве что легкое разочарование. На два дня меньше пробыть с кем-то, на два дня больше одиночества. Он в этом не признается. Может, Джоан это вообще придумала. Придумала, потому что ей кажется, что она машет не только брату — она машет мужу и детям, и всем друзьям и знакомым, кроме человека, с которым скоро встретится. Ей так легко, гладко удалось всех обмануть. Ей, конечно, стыдно. Она раздавлена их невинностью; она понимает, что непоправимо рвет ткань своей жизни. Это все подлинное — ее скорбь и вина в этот момент подлинные и никогда не исчезнут полностью. Но и мешать ей на пути они тоже не будут. Она не просто рада; она чувствует, что других вариантов нет.

III
Роз Матильда

Рут-Энн Лезерби едет с Джоан и Моррисом на кладбище. Джоан отчасти удивлена, но Моррис и Рут-Энн, кажется, принимают это как должное. Рут-Энн — счетовод Морриса. Джоан знает о ее существовании много лет и, может быть, даже встречала ее раньше. Рут-Энн — приятная на вид женщина, ни худая, ни полная, ни старая, ни молодая, совершенно неприметная. Сейчас она живет в одной из холостяцких квартир в цоколе дома Морриса. Она замужем, но муж давно исчез куда-то. Рут-Энн католичка, так что о разводе не думает. У нее в прошлом какая-то трагедия — сгоревший дом, ребенок? — но все это давно уже пережито и не упоминается.

Это Рут-Энн купила луковицы гиацинтов, чтобы посадить на могилах родителей Морриса и Джоан. Моррис как-то сказал: «Хорошо бы там что-нибудь росло», и Рут-Энн увидела луковицы на распродаже в супермаркете и купила несколько штук. Женщина-жена, думает Джоан, наблюдая за ней. Женщины-жены внимательны,

но владеют собой, преданны, но сохраняют хладнокровие. Но чему или кому они преданны?

Джоан теперь живет в Торонто. Она уже двенадцать лет как разведена. Она работает менеджером в магазине книг по искусству. Это приятная работа, хотя зарплата и не очень высокая; Джоан повезло. Ей также повезло (она знает, что об этом говорят у нее за спиной — для женщины ее возраста ей очень повезло) иметь любовника, любовника-друга. Его зовут Джеффри. Они не живут вместе — они видятся по выходным и два-три раза на неделе в будни. Джеффри — актер. Он талантлив, жизнерадостен, легко приспосабливается и беден. Один уик-энд в месяц он проводит в Монреале с женщиной, с которой когда-то жил, и их общим ребенком. В эти дни Джоан встречается с собственными детьми; они уже выросли и простили мать. Ее сын — тоже актер; собственно говоря, она и познакомилась с Джеффри через него. Ее дочь — журналист, в отца. Вообще-то, что тут прощать? Тогда многие родители развелись почти одновременно. Большинство — из-за измен. Похоже, люди толпами женились в пятидесятых, не особенно задумываясь (точнее, никто не знал, задумывались ли они), и множество браков развалилось в семидесятых с большим

количеством весьма зрелищных — и, как сейчас кажется, ненужных, совершенно излишних — осложнений. Джоан думает о собственной истории любви — без раскаяния, но с некоторым изумлением. Словно вспоминая, как когда-то прыгала с парашютом.

А иногда она едет навестить Морриса. Порой она заводит с ним разговор именно о том, что когда-то казалось ей непостижимым, скучным и жалким. Удивительная мозаика заработка, пенсии, ипотеки, займов, инвестиций, наследства, которую видит Моррис как подоплеку любой человеческой жизни, теперь интересует Джоан. Все это для нее по-прежнему совершенно непостижимо, но, по крайней мере, существование этой мозаики больше не кажется Джоан досадным заблуждением. Оно как-то бодрит. Теперь ей интересно знать, почему люди в это верят.

Счастливица Джоан, у которой есть работа, любовник и потрясающая внешность — сейчас люди комментируют ее внешность больше, чем когда бы то ни было (она такая же стройная, как была в четырнадцать лет, и в очень коротких волосах у нее появилось белое крыло, серебристая прядь), — осознала новую опасность, угрозу, о которой и не подозревала, когда была моложе.

Она не могла бы представить себе такую угрозу, даже если бы кто-нибудь описал ее словами. Ее трудно описать. Угроза исходит от перемены, но о такой перемене никто никогда не предупреждал. Дело в том, что иногда ни с того ни с сего у Джоан в голове возникает мысль: «Мусор». Мусор. Когда смотришь вдоль улицы, видишь тени, свет, кирпичные стены, грузовик, припаркованный под деревом, собаку на тротуаре, темный летний парусиновый навес или посеревший сугроб, — можно увидеть все эти предметы в их временной отдельности, соединенные между собой под поверхностью яви пугающим, упоительным, необходимым, неописуемым образом. А можно увидеть мусор. Преходящие состояния. Бессмысленный калейдоскоп преходящих состояний. Мусор.

Джоан старается держать эту мысль в узде. Она старается подмечать, как это делают другие люди. Актерская игра кажется отличным способом — она узнала это в общении с Джеффри. Хотя в актерской игре есть бреши. В жизни Морриса, в его способе смотреть на жизнь брешей, кажется, меньше.

Они едут по городу, и Джоан замечает, что многие старые дома обретают прежний облик: двери

и пристройки, которые пятнадцать-двадцать лет назад казались разумной модернизацией, уступают место традиционным верандам и старомодным полукруглым окнам над входом. Конечно, это хорошо. Рут-Энн указывает на ту или иную архитектурную деталь, и Джоан одобряет, но думает, что в этом есть что-то неловкое, нарочитое.

Моррис тормозит на перекрестке. Впереди, посреди квартала, дорогу переходит старуха. Она пересекает улицу по диагонали, не проверяя, нет ли машин. Она шагает решительно, самозабвенно, даже презрительно — и эта походка кажется знакомой. Старухе ничто не грозит: улица совершенно пуста, если не считать их машины и двух девочек на велосипедах. Старуха на самом деле не так уж и стара; Джоан теперь постоянно приходится пересматривать первое впечатление о возрасте встречных. У этой женщины белые волосы до плеч. На ней свободная рубашка и серые брюки. Кажется, она одета слишком легко — день выдался ясный, но холодный.

— Вон идет Матильда, — говорит Рут-Энн. По тому, как она это произносит — терпеливо, отстраненно, с легким весельем и одно только имя, без фамилии, — становится ясно, что Матильда

— городская достопримечательность.

— Матильда! — восклицает Джоан, повернувшись к Моррису. — Это Матильда? Что с ней случилось?

Отвечает Рут-Энн с заднего сиденья:

— У нее начались странности. Когда? Пару лет назад? Она стала одеваться кое-как и начала обвинять людей, что они крадут у нее вещи со стола на работе. Иногда с ней говорили совершенно нормально, а она отвечала грубостью. Может, это у нее в строении.

— В строении? — повторяет Джоан.

— Наследственное, — говорит Моррис, и они смеются.

— Я это и имела в виду, — продолжает Рут-Энн. — Ее мать много лет перед смертью пробыла в доме престарелых, через дорогу. Она была совершенно не в себе. И даже до того, как ее туда устроили, она, бывало, бродила по двору — ну чисто Хеллоуин. В общем, Матильду уволили из суда, назначили ей небольшую пенсию. И она просто ходит по городу. Иногда разговаривает с людьми — нормально, вежливо, — а иногда вообще не отвечает, ни слова. И совсем не следит за собой. А раньше она так хорошо выглядела.

Джоан напрасно так удивлена и растеряна.

Люди меняются. Исчезают — и для этого даже не обязательно умирать. Но некоторые умирают. Вот Джон Брольер умер. Когда Джоан об этом узнала — несколько месяцев спустя, — у нее кольнуло сердце, но не так сильно, как однажды в гостях, когда какая-то женщина сказала: «А, да, Джон Брольер. Это ведь он вечно тащил женщин в койку, заманивая их посмотреть на какое-то природное чудо? Господи, какое это было позорище!»

— У нее собственный дом, — говорит Моррис. — Я ей его продал лет пять назад. И эта пенсия с работы. Если Матильда дотянет до шестидесяти пяти, то ее дело в шляпе.

Моррис копает землю рядом с надгробием; Джоан и Рут-Энн сажают луковицы. Земля холодная, но заморозков еще не было. Длинные полосы солнечного света падают между подстриженными кедрами и шелестящими тополями, еще в золотой листве, на пышную зеленую траву.

— Послушайте. — Джоан указывает на кроны тополей. — Они шелестят, как будто вода журчит.

— А я думал, они должны топать, — говорит Моррис. — Чтобы листья тополя да не топали?

Джоан и Рут-Энн хором стонут, и Джоан за-

мечает:

— Я не знала, что ты до сих пор каламбуришь.

— Он никогда и не переставал, — говорит Рут-Энн.

Они моют руки под кладбищенским краном и читают надписи на могилах.

— Роз Матильда, — произносит Моррис.

Сначала Джоан думает, что он прочитал очередное имя; потом понимает, что он все еще думает о Матильде Баттлер.

— Помнишь, мама читала про нее стихи. «Роз Матильда».

— Рапунцель, — говорит Джоан. — Так мама ее прозвала. «Рапунцель, Рапунцель, проснись, спусти свои косыньки вниз».

— Да, я знаю, что она это цитировала. Но она и «Роз Матильда» тоже говорила. Это было начало стихотворения.

— Похоже на название крема для рук, — говорит Рут-Энн. — Разве это не крем для рук? Розовая эмульсия?

— «О, что за дивная краса», — уверенно говорит Моррис. — Так оно начиналось. «О, что за дивная краса».

— Ну конечно, я-то в стихах не разбираюсь, — говорит полезная Рут-Энн, не смутившись. И

обращается к Джоан: — А вам это что-то напоминает?

У нее очень красивые глаза, думает Джоан. Карие, добрые и вместе с тем проницательные.

— Да, напоминает, — отвечает она. — Но я не помню, что там идет дальше.

Моррис в свое время немного обманул каждую из этих трех женщин. Джоан, Рут-Энн и Матильду. У Морриса нет привычки жульничать, он не настолько глуп, но время от времени срезает углы. Джоан он обманул очень давно, когда продал особняк. Она получила где-то на тысячу долларов меньше, чем ей причиталось. Моррис решил, что она это компенсирует, забрав оставшиеся вещи. Но она ничего не взяла. Позже, когда она развелась с мужем и могла рассчитывать только на себя, Моррис думал послать ей чек с объяснением, что произошла ошибка. Но она устроилась на работу и вроде бы не нуждалась. И вообще она ничего не понимает в деньгах и не смогла бы их вложить с пользой. И Моррис решил забыть об этом.

Рут-Энн он обманул более сложным образом. Он уговорил ее написать в документах, что она работает неполный день. Хотя на самом деле она работала полный день. В результате он мог не

выплачивать ей определенные льготы и компенсации. Он бы вовсе не удивился, узнав, что она его раскусила и кое-где подправляет бумаги в свою пользу. Это в ее духе: ничего не говорить, никогда не спорить, но по-тихому взять свое. И пока она лишь компенсирует утраченное — а Моррис скоро заметит, если она станет брать больше, — он тоже ничего не будет ей говорить. Они оба считают, что если человек сам за собой не смотрит, то сам и виноват. И вообще, Моррис собирается в конце концов позаботиться о Рут-Энн.

Если бы Джоан узнала, как он поступил, то, наверно, тоже ничего не сказала бы. Самым интересным для нее будут не деньги. Ей не хватает какого-то инстинкта в этом плане. Ее заинтересовал бы вопрос: зачем? Она стала бы его так и сяк расковыривать, испытывая причудливое удовольствие. Этот штришок к портрету брата застрянет у нее в голове, как твердый кристалл — странный маленький предмет, преломляющий свет, кусочек инопланетного клада.

Матильду он обманул не тогда, когда продавал ей дом. Дом она получила по очень хорошей цене. Но он сказал ей, что бойлер, поставленный за год до того, новый, и, конечно, это было не так. Ремонтируя свои дома, он никогда не пользо-

вался новыми материалами и не ставил новую технику. И вот три года назад в июне, на ужине с танцами в отеле «Валгалла», Матильда сказала:

— У меня бойлер сломался. Пришлось менять.

В это время они не танцевали. Они сидели за круглым столом с какими-то другими людьми, под навесом из воздушных шариков. И пили виски.

— Не должен был бы, — ответил Моррис.

— Не должен, если ты тогда поставил новый, — улыбаясь, сказала Матильда. — Знаешь, что я думаю?

Он смотрел на нее и ждал.

— Я думаю, что нам надо еще потанцевать, а потом еще выпить!

Они стали танцевать. Им всегда было легко танцевать вдвоем, и часто они выкидывали особенные коленца. Но на этот раз Моррису казалось, что тело Матильды тяжелей и неповоротливей обычного — она реагировала запоздало и в то же время преувеличенно. Странно, что ее тело словно протестует, в то время как она улыбается ему, оживленно болтает, движения головы и плеч вроде бы кокетливые. Это тоже было что-то новое — он совершенно не привык к такому с ее стороны. Она год за годом танцевала с ним,

погруженная в свои мысли, послушная его движениям, с серьезным лицом. Потом, пропустив несколько рюмок, заговаривала о своих тайных печалях. Печали. Всегда одной и той же — Рон, ее бывший муж. Она надеялась, что он с ней свяжется. Она оставалась в Логане, вернулась в Логан, чтобы Рон мог ее найти. Она надеялась и сомневалась, что он разведется с женой. Он обещал, но она ему не верила. В конце концов от него пришла весть. Он писал, что сейчас в дороге, но напишет снова. И написал. Обещал ее найти. Письма были отправлены из Канады, но все — из разных, дальних городов. Больше от него ничего не было. Она гадала, жив ли он; думала, не нанять ли частного сыщика. Она говорила, что ни с кем это не обсуждает, кроме Морриса. Ее любовь была тайным уродством, которое никому больше не позволялось видеть.

Моррис никогда ничего ей не советовал; никогда не касался ее, чтобы успокоить, кроме тех касаний, что положены в танце. Он точно знал, как воспринимать ее слова. Он и не жалел ее. Он уважал ее выбор и принятые ею решения.

И это правда, что ее тон изменился еще до того вечера в отеле «Валгалла». В ней появилась какая-то резкость, сарказм, который не шел ей и

огорчал Морриса. Но именно в ту ночь он понял, что все разрушено — их долголетнее пособничество, размеренная гармония совместного танца. Они превратились в совершенно другую пару средних лет, которая притворялась, что танцует легко и с удовольствием, и боялась пауз. Матильда не заговорила о Роне, а Моррис, конечно, не спросил. У него начала оформляться мысль: должно быть, Матильда наконец повидалась с Роном. Либо это, либо узнала о его смерти. Но скорее — повидалась.

— Я придумала, как ты можешь мне компенсировать бойлер, — поддразнивая, сказала она. — Сделай мне газон! Когда его последний раз засевали? Он выглядит ужасно: весь зарос ясноткой. Я бы не отказалась от приличного газона. Я подумываю привести дом в порядок. Повесить бордовые ставни, чтобы скрасить эту серость. И еще я хочу большое окно в боковой стене. Мне так надоело смотреть на дом престарелых! Ох, Моррис, а ты знаешь, что они спилили все твои ореховые деревья? Выровняли двор и обнесли забором ручей!

На ней было длинное шуршащее платье павлиньей синевы. В ушах — серебряные диски со вставленными синими камнями. Волосы — жест-

кие и светлые, как сахарная вата. Плечи и руки — рыхлые, неровные; изо рта пахло виски. Ее духи, макияж, улыбка — все говорило Моррису о фальши, решимости и унынии. Она утратила интерес к своей любовной ране. Пала духом и не могла больше так жить. И в своем простом, ослепительном безумии потеряла его любовь.

— Если придешь на следующей неделе с семенами для газона и покажешь мне, как засевать, я тебе налью чего-нибудь, — сказала она. — Даже ужином угощу. Мне стыдно думать, что за все эти годы ты ни разу не сидел у меня за столом.

— Газон придется вспахать и начать все заново.

— Ну так вспаши! Можешь прийти в среду? Или этот вечер у тебя отведен на Рут-Энн Лезерби?

Она была пьяна. Она уронила голову Моррису на плечо, и твердый комок серьги впился ему через пиджак и рубашку в тело.

На следующей неделе Моррис послал одного из рабочих вспахать и засеять газон Матильды — забесплатно. Но рабочий скоро вернулся. По его словам, Матильда вышла и стала на него орать — велела убираться с ее земли, чего он вообще сюда приперся, она у себя на участке сама управится. Шуруй отсюда, сказала она ему.

«Шуруй отсюда». Моррис помнил, что это выражение употребляла его мать. И миссис Баттлер тоже — в те дни, когда была еще бодра и злобна. Миссис Бункер, миссис Карбункул. «Шуруй отсюда». «Дохлый Глаз».

После этого он некоторое время не виделся с Матильдой. Они не сталкивались на улицах города. Если у него были какие-то дела в здании суда, он посылал Рут-Энн. До него доходили слухи о переменах, и отнюдь не в смысле бордовых ставен или ремонта дома.

— «О, что за дивная краса», — неожиданно произносит Джоан по дороге домой. И как только они входят в квартиру, она бросается к книжному шкафу — тому самому, с застекленными дверцами. Моррис его не продал, хотя шкаф едва влез в квартиру по высоте. Джоан находит «Антологию английской поэзии», принадлежавшую матери.

— Первые строки, — говорит она, глядя в конец книги.

— Присядьте, пожалуйста, располагайтесь поудобнее. — Рут-Энн входит с ранневечерними коктейлями. Моррис получает виски с водой, а Джоан и Рут-Энн пьют белый ром с содовой. Их общая любовь к этому напитку стала шуткой, связью, в которой кроется надежда: обе женщины

понимают, что им понадобится что-то общее.

Джоан, довольная, садится и пьет. Она ведет пальцем по странице вниз. «О что за, о что за…» — бормочет она.

— И грация, и стать! — Моррис удовлетворенно вздыхает. Эврика.

Нас учили быть особенными, думает Джоан без особых сожалений. Поэтические ярлычки, первый глоток спиртного, закатный свет октябрьского дня, — может быть, все это настраивает ее на мирный лад. Их учили особому, бережному отношению к себе — и в результате научили идти и хватать желаемое, будь то любовь или деньги. Но это ведь не совсем так? Моррис строго контролирует себя в любовных делах. Он очень воздержан. Сама Джоан точно так же относится к деньгам — в денежных делах она неловка и застенчива, словно девственница.

Однако в ее неожиданной радости — небольшая закавыка. Нужная строчка не находится.

— Ее здесь нет. Но как ее может не быть? Все мамины стихи были отсюда.

Джоан еще раз — деловито — отпивает из стакана и смотрит на страницу. Потом восклицает:

— Знаю! Знаю!

Еще секунда — и вот они, нужные строки. И она

читает — игриво и с чувством:

О, что за дивная краса,
И грация, и стать!
Тебя послали небеса,
Роз Эйлмер, – Роз Матильда, – нам сиять.

Моррис снял очки. Он теперь это делает в присутствии Джоан. Может быть, при Рут-Энн он начал их снимать раньше. Он потирает шрам, словно тот чешется. Глаз — темный, покрытый серыми жилками. На него совсем не страшно смотреть. Покрытый рубцовой тканью, он безобиден, как слива или камушек.

— Вот, значит, как, — говорит Моррис. — Значит, я был прав.

Иначе

Джорджия как-то брала курс писательского мастерства, и преподаватель говорил ей: у вас слишком много всего. Слишком много всего происходит одновременно; и людей тоже слишком много. Подумайте, сказал он. Что самое главное? К чему вы хотите привлечь внимание читателя? Думайте.

Она в конце концов написала рассказ про то, как ее дедушка резал кур, и преподаватель, кажется, остался доволен. Сама Джорджия считала этот рассказ фальшивкой. Она составила длинный список всего, что выкинула из рассказа, и сдала этот список в качестве приложения. Преподаватель сказал, что она слишком многого требует от себя и от творческого процесса и что она его утомила.

Но курс прошел не совсем зря, потому что Джорджия и преподаватель в конце концов поселились вместе. Они до сих пор живут вместе — в Онтарио, на ферме. Они продают малину и держат небольшое издательство. Когда Джорджии удается наскрести денег, она едет в Ванкувер на-

вестить сыновей. В этот осенний день, в субботу, она поехала на пароме в Викторию, где когда-то жила. Она отправилась в эту поездку под влиянием минутного порыва, которому не доверяла, и к середине дня, шагая по дорожке к роскошному каменному дому, куда когда-то ходила в гости к Майе, она полна дурных предчувствий.

Звоня Рэймонду, она была не уверена, что он пригласит ее в дом. Она даже не была уверена, что хочет там оказаться. Она понятия не имела, как ее встретят. Но Рэймонд открывает дверь прежде, чем она успевает коснуться звонка, обнимает ее за плечи, целует в обе щеки (он ведь раньше точно этого не делал?) и представляет своей жене, Анне. Он говорит, что рассказывал Анне об их прекрасной дружбе — Джорджии, Бена, его и Майи. Они были большими друзьями.

Майя умерла. Джорджия и Бен давно развелись.

Они идут и садятся в комнате, которую Майя с особой фальшивой бодростью называла семейной.

(Как-то вечером Рэймонд сказал Бену и Джорджии, что, похоже, у Майи не будет детей. «Мы стараемся по-всякому. Подушки и прочее. Но безуспешно».

«Слушай, старик, это не подушками делается, — развязно сказал Бен. Они все были слегка под мухой. — Я думал, ты спец по механизму. Но, похоже, нам с тобой надо поговорить с глазу на глаз».

Рэймонд был акушером-гинекологом.

К этому времени Джорджия уже знала про аборт, который организовал Майе в Сиэтле ее любовник Харви. Он тоже был врач, хирург. Мрачная квартира в обшарпанном доме, сварливая старуха, вяжущая свитер, приход доктора — он был без пиджака и нес коричневый бумажный пакет. Майя истерически подумала, что в пакете инструменты, но на самом деле там был обед доктора, сэндвич с яйцом и луком. Этим луком доктор дышал в лицо Майе все время, пока он и мадам Дефарж ее обрабатывали.

В то время как мужья вели этот игривый разговор, Майя и Джорджия сидели и чинно улыбались друг другу.)

Каштановые кудри Рэймонда превратились в серебристый пух, а лицо избороздили морщины. Но никаких ужасных перемен с ним не произошло — ни мешков под глазами, ни брылей, ни алкогольного румянца, ни сардонически, пораженчески обвисших углов рта. Он по-прежнему

строен и прям, с четкой линией плеч, свежепахнущ, незапятнан, одет уместно и дорого. Из него выйдет хрупкий, элегантный старик с любезной мальчишеской улыбкой. Они оба вроде как лоснятся, однажды мрачно заметила Майя. Она говорила про Рэймонда и Бена. «Может, их нужно отмочить в уксусе».

Комната изменилась сильнее, чем Рэймонд. Вместо Майиного дивана с гобеленовой обивкой появился кожаный цвета слоновой кости. И конечно, все барахло, словно перенесенное из опиумного притона, — подушки Майи, пампасная трава, шикарный разноцветный слон, расшитый крохотными зеркальцами, — все исчезло. Комната отделана в оттенках беж и слоновой кости, такая же гладкая и удобная, как новая блондинистая жена, что сидит сейчас на подлокотнике кресла Рэймонда и манипулирует его рукой, обнимая себя ею и в конце концов кладя себе на бедро. На ней гладкие белые брюки, белый свитер с кремовой аппликацией и золотые украшения. Рэймонд пару раз сердечно и вызывающе похлопывает ее по бедру.

— Ты вроде бы куда-то собиралась? Наверно, по магазинам?

— Поняла, — отвечает жена. — Хотите побол-

тать о былом.

Она улыбается Джорджии:

— Все в порядке. Мне и правда нужно по магазинам.

Когда она уходит, Рэймонд наливает себе и Джорджии.

— Анна страшно боится, когда я пью. Она не ставит соли на стол. Она выбросила все занавески, чтобы вывести запах Майиных сигарет. Я знаю, что ты подумала: «Рэймонд завел себе роскошную блондинку». Но Анна — очень серьезная девушка. Надежная девушка. Я ее испробовал у себя в конторе задолго до того, как Майя умерла. Испробовал в смысле работы! Я совсем не то имел в виду! И кстати, она вовсе не так молода, как кажется. Ей тридцать шесть лет.

А выглядит на сорок, подумала Джорджия. Ей уже надоело в гостях, но теперь она обязана рассказать о себе. Нет, она не вышла замуж. Да, она работает. Она живет с другом, и они совместно владеют фермой и издательством. Перебиваются кое-как. Особо не роскошествуют. Интересное занятие. Да, друг — мужчина.

— Я как-то совсем потерял из виду Бена, — говорит Рэймонд. — Последнее, что я слышал, — он жил на лодке.

— Они с женой каждое лето ходят вдоль Западного побережья, — отвечает Джорджия. — А зиму проводят на Гавайях. С флота можно уволиться раньше срока.

— Восхитительно, — отзывается Рэймонд.

Его вид наводит Джорджию на мысль, что она понятия не имеет, как сейчас выглядит Бен. Может, он поседел, отрастил животик? С ней произошло и то и другое: она превратилась в плотную женщину со здоровым цветом лица (оливкового оттенка) и гривой белых волос и носит теперь свободную одежду ярких цветов. Думая про Бена, она видит его все тем же красивым флотским офицером, как с картинки, — старательным, серьезным, скромным. Он выглядел как человек, который храбро, с нетерпением ожидает приказа. У ее сыновей наверняка есть фото отца — они встречаются с ним, отдыхают у него на яхте. Может быть, они убирают его фотографии, когда она приезжает в гости. Может быть, хотят защитить его изображения от той, что ранила его.

По дороге к дому Майи — дому Рэймонда — Джорджия прошла мимо другого дома, который могла бы легко обойти, в Оук-Бэй. Если честно, она даже сделала крюк, чтобы его увидеть.

Это был все тот же дом, о котором они с Беном когда-то прочитали в городской газете «Колонист», в разделе недвижимости. Просторное бунгало под сенью живописных дубов. Земляничное дерево, кизил, подоконные скамьи в эркерах, камин, переплетчатые окна ромбиками, атмосфера. Джорджия стояла у ворот, и ей было больно, как и следовало ожидать. Здесь Бен подстригал траву, здесь дети прокладывали тропинки и устраивали тайники в кустах, здесь в саду было кладбище для птиц и змей, убитых черным котом по кличке Домино. Джорджия могла подробно описать интерьер дома — дубовые полы, что они с Беном трудолюбиво шкурили, стены, что они красили, комнату, где Джорджия лежала одурманенная и страдающая после удаления зубов мудрости. Бен тогда читал ей вслух из «Дублинцев». Она не помнила названия рассказа. Про застенчивого, поэтичного юношу, у которого была хорошенькая, но вредная жена. Бедняга он, сказал Бен, закончив чтение.

Бен любил литературу — неожиданная черта для любителя спорта, бывшего школьного заводилы.

Ей бы держаться подальше от этого района. Здесь, где бы она ни шла — под каштанами с

плоскими золотыми листьями, под краснорукими земляничными деревьями, под высокими орегонскими дубами, напоминающими о волшебных сказках, европейских лесах, дровосеках и ведьмах, — везде ее собственные шаги звучали с упреком, выговаривая: «за-шшто? за-шшто? за-шшто?» Она ожидала этого упрека и даже стремилась к нему, и в этом стремлении было что-то дешевое. Дешевое и бессмысленное. Джорджия об этом знала. Но глупые упреки все звучали: «за-шшто? за-шшто? за-шшто? на-прас-но… на-прас-но… на-прас-но…»

Рэймонд хочет показать Джорджии сад, который, по его словам, был создан для Майи в последние месяцы ее жизни. Она сама разработала чертежи; и потом, лежа на гобеленовом диване (Рэймонд говорит, что она дважды подожгла диван, заснув на нем с сигаретой), смотрела, как ее замысел обретает плоть.

Джорджия видит пруд, обложенный камнем, с островком посередине. На островке вздымается злобная звериная голова (горный козел?), извергающая воду. Вокруг пруда — джунгли из крупноцветных хризантем, розовых и фиолетовых космей, карликовых сосен, кипарисов и каких-то маленьких деревьев с блестящими крас-

ными листьями. Присмотревшись, Джорджия замечает на острове еще замшелые каменные стены — развалины миниатюрной башни.

— Майя наняла молодого парня, садовника, — рассказывает Рэймонд. — А сама лежала и смотрела, как он работает. Работа шла все лето. А Майя только лежала целыми днями и смотрела, как он делает ее сад. Потом он заходил в дом, они пили чай и разговаривали про сад. Понимаешь, она не просто нарисовала чертежи. Она создала весь сад у себя в воображении. Она рассказывала этому парню, что придумала, и он воплощал ее мысли. Я что хочу сказать, для них это был не просто сад. Пруд был озером в этой стране, которая у них как-то называлась, а вокруг озера были леса и земли, где жили разные племена и союзы племен. Ты понимаешь?

— Да, — говорит Джорджия.

— У Майи было потрясающее воображение. Она могла бы писать фантастику или фэнтези. Что угодно. У нее были явные творческие способности. Но никак не выходило их к чему-то серьезно приложить. Этот козел был одним из богов той страны, и остров был его священным местом, где когда-то стоял храм. Видишь, руины. Они разработали всю эту религию до мелочей.

Да, и литературу тоже, поэзию, легенды, историю — все. Песню, которую пела королева. Конечно, предполагалось, что это перевод с того языка. Они и его частично разработали. В этих развалинах сидела взаперти королева. В храме. Не помню почему. Наверно, ее собирались принести в жертву. Вырвать ей сердце или что-то еще такое, кровожадное. Все было очень сложно и драматично. Но представь себе, сколько труда на это пошло. Творчества. Этот молодой садовник по профессии был художником. Насколько я помню, он считал себя художником. Я даже не знаю, как она его нашла. Она знала кучу народу. Надо думать, он так зарабатывал себе на жизнь. И он отлично справился. Проложил трубы, все такое. Он приходил каждый день. Каждый день, закончив работу, приходил и пил чай с Майей. Ну, я бы сказал, не только чай. Насколько мне известно, чаем дело не ограничивалось. Он кое-что приносил с собой, они это курили. Я говорил Майе, что все их сочинения следовало бы записать.

И ты знаешь, как только он закончил работать над садом, его и след пропал. Ушел, и все. Может, нашел другую работу. Я решил, что это не мое дело, и не спрашивал. Но подумал, что, даже если он устроился в другом месте, он мог бы время от

времени приходить и навещать Майю. А если он куда-то уехал, мог бы писать письма. Я так думаю. Уж это-то он мог бы сделать. Не так уж трудно. Во всяком случае, я так считаю. С его стороны чисто по-человечески неплохо было бы, чтобы она не думала, что он был просто, ну, наемным компаньоном.

Рэймонд улыбается. Он не в силах подавить эту улыбку — а может, сам ее не осознает.

— Потому что именно такой вывод она должна была сделать. После всех этих милых чаепитий, совместных фантазий и взаимного подначивания. Она наверняка была разочарована. Наверняка. Даже на той стадии такие вещи были для нее важны. Мы с тобой это знаем. Это было бы для нее важно. Он мог бы отнестись к ней чуточку добрее. Ему недолго пришлось бы напрягаться.

Майя умерла год назад, осенью, но Джорджия узнала об этом лишь под Рождество. Узнала она из рождественского письма Хильды. Хильда, бывшая жена Харви, теперь замужем за другим врачом, в небольшом городке в центральной части Британской Колумбии. Несколько лет назад она и Джорджия приехали в Ванкувер погостить и случайно столкнулись на улице. И с тех пор изредка писали друг другу.

«Конечно, ты знала Майю намного лучше, чем я, — писала Хильда. — Но я на удивление часто о ней думаю. Точнее, думаю обо всех нас — какими мы были лет пятнадцать назад. И мне кажется, что мы были так же уязвимы, как подростки с их кислотными трипами, которые якобы должны были получить от этого клеймо на всю жизнь. А разве на нас не было клейма? Ведь мы все разрушили свои браки и отправились на поиски приключений. Конечно, Майя не разрушала свой брак — она одна из всех сидела на месте, так что, я полагаю, в моих словах нет никакого смысла. Но Майя казалась мне самой уязвимой из нас, такая талантливая и хрупкая. Помню, как невыносимо мне было смотреть на ее висок с жилкой — там, где она делала пробор в волосах».

Для Хильды это очень странное письмо, подумала Джорджия. Она помнила дорогие платья-рубашки пастельных цветов, в которых тогда ходила Хильда. Ее аккуратные короткие светлые волосы, ее хорошие манеры. Неужели Хильда в самом деле считала, что разрушила свой брак и отправилась искать приключений под влиянием веществ, рок-музыки и революционно новой одежды? Джорджии казалось, что Хильда ушла от Харви, когда узнала о его развлечениях — о неко-

торых из его развлечений, — и уехала в городок в центральной части провинции, где весьма разумно вернулась к профессии медсестры и в свое время вышла замуж за другого врача, предположительно более надежного. Майя и Джорджия никогда не считали Хильду своей, ровней. И еще Хильда и Майя никогда не были близки — по очень веской причине. Но Хильда держала связь со всеми; она знала о смерти Майи и написала эти великодушные слова. Если бы не Хильда, Джорджия так и не узнала бы. Продолжала бы думать, что, может быть, в один прекрасный день напишет Майе; что, может быть, придет время, когда их дружбу можно будет починить.

Когда Бен и Джорджия первый раз пришли в дом к Майе, там были Харви и Хильда. Майя устроила званый ужин для них шестерых. Джорджия и Бен только что переехали в Викторию, и Бен позвонил Рэймонду, своему школьному другу. Бен не был знаком с Майей, но сказал, что, по слухам, она очень умная и странная. Про нее говорили, что она странная. Но она была богата — из богатой семьи — так что ей это сходило с рук.

Услышав, что Майя богата, Джорджия застонала. И снова застонала, увидев дом — огромный, из тесаного камня, со ступенчатыми газонами,

аккуратно подстриженными кустами и круговой дорожкой для автомобилей перед парадной дверью.

Джорджия и Бен выросли в одном и том же городке в Онтарио, в похожих семьях. То, что Бена послали учиться в хорошую частную школу, было чистой случайностью — деньги дала двоюродная бабушка. Еще подростком Джорджия гордилась (хотя и старалась свою гордость не демонстрировать), что она — девушка Бена и что ее приглашают на танцы в ту школу, но была очень низкого мнения о девицах, с которыми там знакомилась. Она считала дочерей из богатых семей избалованными и безмозглыми. Она прозвала их канарейками. Себя она считала такой девушкой (а потом женщиной), которая недолюбливает других девушек и женщин. Других жен морских офицеров она прозвала «флотские дамы». Бена порой забавляло ее мнение о людях; но иногда он говорил, что, может быть, столь критическое отношение не обязательно.

Бен сказал: у него такое предчувствие, что Майя Джорджии понравится. Это отнюдь не расположило Джорджию к Майе. Но Бен оказался прав. Он очень обрадовался, что смог свести Джорджию с таким человеком, как Майя, что

нашел супружескую пару, с которой он и Джорджия могли дружить по собственному выбору. «Хорошо для разнообразия завести друзей вне флота, — говорил он. — Небанальную женщину, с которой ты сможешь дружить. Уж Майю никак нельзя назвать банальной».

Это точно. Дом оказался примерно таким, как она ожидала, — скоро она узнала, что Майя называет его «дежурный районный замок». А вот Майя ее удивила. Она открыла дверь сама, босая, в длинном бесформенном одеянии из грубой коричневой ткани, похожей на мешковину. Волосы, длинные и прямые, разделялись на пробор высоко над виском. Они были почти такого же тускло-коричневого цвета, как одежда. Губы у Майи были не накрашены, кожа — грубая и бледная, во впадинах щек прятались неглубокие отметины, похожие на следы птичьих лапок. Это отсутствие цвета, грубость текстуры во всем ее облике казались восхитительной заявкой на принадлежность к некоему высшему классу. Какой равнодушной, какой самодостаточной и равнодушной выглядела она — с босыми ногами, с некрашеными ногтями, в странной рубахе. Единственное, что она сделала с лицом, — покрасила брови в синий цвет. Точнее, полностью

выщипала брови и нарисовала их заново синим цветом. Не повторяя изогнутую линию брови — просто синий мазок над каждым глазом, похожий на разбухшую вену.

Джорджии, с ее начесом, стильно накрашенными глазами, приподнятой и выдвинутой вперед грудью в модном лифчике, Майя показалась пугающей и восхитительной.

Харви тоже оказался обладателем впечатляющей внешности. Он был невысокий, с массивными плечами, небольшим животиком, опухшими синими глазами и воинственным выражением лица. Он родился в Ланкашире. Седые волосы, редеющие на макушке, он отращивал и зачесывал за уши, так что был похож скорее на художника, чем на врача. «Он выглядит каким-то неопрятным, такого от врача не ожидаешь, — сказала потом Джорджия Бену. — Правда ведь, его скорее можно принять за скульптора? С такими грязными ногтями? Спорим, он плохо обращается с женщинами». Она вспоминала, как он смотрел на ее грудь. «Он совсем не такой, как Рэймонд, — продолжала она. — Рэймонд боготворит Майю. И еще он чрезвычайно чистоплотен».

(«Рэймонд выглядит как типовая мечта каждой матери», — безжалостно точно сказала Майя

Джорджии через несколько недель.)

Угощение было на уровне повседневного семейного ужина, не лучше, и тяжелые серебряные вилки давно не чищены. Но Рэймонд подал гостям хорошее вино, о котором хотел поговорить. Однако ему не удалось перебить Харви, который рассказывал неприличные, вопиющие случаи из больничной практики. Он с невыносимо равнодушным лицом травил байки о некрофилии и мастурбации. Потом они перешли в гостиную; хозяева с некоторой торжественностью приготовили и подали кофе. Рэймонд молол кофейные зерна в цилиндрической турецкой кофемолке, привлекая всеобщее внимание. Он объяснил, как важно сохранить ароматические масла. Харви, перебитый на середине очередной байки, наблюдал за ним с недоброй ухмылкой, Хильда — с вежливым, терпеливым вниманием. Но Майя с энтузиазмом поддерживала мужа, вилась вокруг него, как жрец вокруг божества, кротко и грациозно ассистируя. Она подала кофе в красивых маленьких турецких чашечках, купленных ею и Рэймондом в лавке в Сан-Франциско вместе с кофемолкой. Майя скромно слушала рассказ Рэймонда про лавку, словно вспоминая другие радости той поездки.

Харви и Хильда ушли первыми. Майя прощалась с ними, повиснув на плече у Рэймонда. Но стоило им уйти, она тут же отлепилась от мужа, отбросила змеиную грацию и повадки послушной жены. Она небрежно, неуклюже растянулась на диване и сказала:

— Только вы теперь не уходите. При Харви никому не удается даже слова вставить, поэтому надо разговаривать после того, как он ушел.

И Джорджия все поняла. Она видела, что Майе не хочется оставаться наедине с мужем, которого она возбудила прилюдными нежностями в каких-то своих целях. Джорджия видела: Майя мрачна и наполнена привычным ужасом оттого, что гости скоро уйдут. Рэймонд же был счастлив. Он сел на край дивана, приподняв для этого ноги сопротивляющейся Майи. И принялся растирать пальцами ее ступню.

— Вот дикарка, — сказал он. — Женщина, которая ходит босиком.

— Бренди! — Майя вскочила. — Я знала, что на званом ужине положено делать что-то еще. Надо пить бренди!

«Он ее любит, а она его нет», — сказала Джорджия Бену сразу после слов про то, что Рэймонд боготворит Майю и очень чистоплотен. Но Бен —

видимо, не очень внимательно слушая — решил, что она говорит про Харви и Хильду.

«Нет, нет, нет. Там, кажется, дело обстоит как раз наоборот. С этими англичанами никогда не скажешь. Майя разыграла для них спектакль. И у меня есть предположение почему».

«У тебя обо всем есть предположения», — сказал Бен.

Джорджия и Майя подружились на двух уровнях. На первом уровне они дружили как жены; на втором — как они сами. На первом уровне каждая приглашала другую на ужин. Они слушали, как их мужья вспоминают школьные годы. Шутки, драки, заговоры, катастрофы, тираны и шестерки. Грозные или жалкие одноклассники и учителя. Радости и унижения. Майя спросила, точно ли они не вычитали все это где-нибудь.

— Это звучит как пересказ книжки. Книжки для мальчиков про школу, — сказала она.

Они ответили, что пережили сами все то, о чем пишут в книгах. Наговорившись про школу, они начинали обсуждать кино, политику, знаменитостей, места, где побывали или хотят побывать. Тут Майя и Джорджия могли тоже вступить в разговор. Бен и Рэймонд не считали, что женщины должны помалкивать за общей беседой. Они

верили, что женщина по интеллекту ничем не уступает мужчине.

На втором уровне Джорджия и Майя общались на кухнях друг у друга, за кофе. Или ходили вместе обедать в центр города. Там было два места — ровно два, — в которых Майя любила обедать. Одно — «Дворец Великого Могола» — обшарпанный помпезный бар в большом мрачном отеле у железнодорожного вокзала. Бар украшали побитые молью драпировки тыквенного цвета, иссохшие декоративные папоротники, а официанты носили тюрбаны. Для визита туда Майя всегда нарядно одевалась — в складчатые шелковые платья, не очень чистые белые перчатки и удивительные шляпы, которые она откапывала в секонд-хендах. Она притворялась вдовой, служившей вместе с мужем в самых дальних уголках Британской империи. Она певучим голосом обращалась к мрачным молодым официантам: «Не будете ли вы столь добры…» — и потом говорила им, что они чрезвычайно, чрезвычайно любезны.

Они продумали всю биографию вдовы. Джорджию они тоже вплели туда — она была мрачной платной компаньонкой, мисс Эми Джукс, тайно лелеющей социалистические взгляды. Вдова именовалась миссис Аллегра Шорт-Побьери. Ее

покойного мужа звали Найджел Шорт-Побьери. Иногда — сэр Найджел. Как-то раз они провели во «Дворце Великого Могола» несколько дождливых послеобеденных часов, почти до вечера, продумывая чудовищные детали медового месяца четы Шорт-Побьери, проведенного в пропитанной сыростью гостинице в Уэльсе.

Другим излюбленным местом Майи был ресторан для хиппи на Бланчард-стрит, где посетители сидели на грязных плюшевых подушках, пристегнутых к деревянным чурбакам, ели коричневый рис со склизкими овощами и пили мутный сидр. (Во «Дворце Великого Могола» Майя и Джорджия пили только джин.) Обедая в ресторане для хиппи, они одевались в длинные красивые дешевые индийские хлопковые платья и притворялись, что сбежали из коммуны, где обе были прислужницами или наложницами фолк-певца по имени Билли Бонс. Они сочинили для Билли Бонса несколько песен — нежных, кротких, про цветочки и голубые глаза, — которые разительно контрастировали с его жадностью и сластолюбием. У Билли Бонса были очень своеобразные интимные привычки.

Когда Майя и Джорджия не играли в эти игры, они откровенно говорили о своей жизни, о своем

детстве, о проблемах и мужьях.

— То было ужасное место, — сказала Майя. — Та школа.

Джорджия согласилась.

— Два мальчика из бедных семей в школе для богатых, — продолжала Майя. — Им приходилось тянуться изо всех сил. Чтобы не опозорить свои семьи.

Джорджия не назвала бы семью Бена бедной, но знала, что в таких вопросах все относительно.

Майя сказала, что каждый раз, когда к ним кто-то приходит на ужин или на вечер, Рэймонд заранее отбирает пластинки и складывает их в правильном порядке.

— Мне кажется, когда-нибудь он начнет вручать гостям при входе список заранее утвержденных тем для беседы, — сказала Майя.

Джорджия поведала, что Бен до сих пор каждую неделю посылает письмо двоюродной бабушке, которая дала денег на его обучение в школе.

— Хорошее письмо? — спросила Майя.

— Да. О да. Очень хорошее.

Они мрачно переглянулись и расхохотались. Потом открыли друг другу то, что их угнетало. Это была невинность их мужей — сердечная, добропорядочная, непоколебимая, самодоволь-

ная невинность. Она утомляла и в конце концов отвращала. Из-за нее супружеская близость превращалась в тяжкий долг.

— Но разве тебе не становится стыдно, когда ты так говоришь? — спросила Джорджия.

— Конечно. — Майя ухмыльнулась, показав идеальные крупные зубы — продукт работы дорогого дантиста из той эпохи, когда Майя еще не занималась своей внешностью сама. — У меня есть и другая причина для стыда. Но я не знаю, стыдно мне или нет. И да и нет.

— Я знаю, — сказала Джорджия, которая до этой минуты не знала точно.

— Ты очень умная. Или меня очень легко раскусить. Что ты про него думаешь?

— Ходячая неприятность, — осмотрительно сказала Джорджия. Она была довольна таким ответом: по нему нельзя было понять, как ей льстила откровенность Майи и как ее пьянил этот разговор.

— Это еще слабо сказано. — И Майя рассказала ей историю своего аборта. — Я собираюсь с ним порвать. Не сегодня-завтра.

Но она продолжала встречаться с Харви. За очередным обедом она открывала Майе новые факты, выставляющие его в неблаговидном свете,

а потом заявляла, что ей пора — у них свидание в мотеле на Овражной улице или в лесном домике Харви на Старательском озере.

— Пора бежать, — говорила она.

Она однажды ушла от Рэймонда. Не из-за Харви. Она сбежала с музыкантом или к музыканту. Пианист — нордическая внешность, сонный вид, злобный характер. Знакомство из ее прошлого, из тех лет, когда она была светской дамой. Сборы в пользу симфонического оркестра. Она разъезжала с музыкантом пять недель, и в конце концов он ее бросил в отеле в Цинциннати. Тогда у нее начались ужасные боли в груди, как будто сердце разбилось. На самом деле это было воспаление желчного пузыря. Послали за Рэймондом, он приехал и забрал ее из больницы. Они съездили в Мексику немножко отдохнуть, а потом вернулись домой.

— Для меня это был последний раз, — сказала Майя. — Закрыло вопрос истинной и безнадежной любви. Больше никогда в жизни.

А как же тогда Харви?

— Это для поддержания формы, — объяснила Майя.

Джорджия устроилась на неполный день в книжный магазин. Она работала несколько вече-

ров в неделю. Бен ушел в ежегодный рейс. Лето выдалось необычно жарким и солнечным для Западного побережья. Джорджия носила волосы распущенными, почти перестала пользоваться косметикой и прикупила мини-платьев с воротником хальтер. Сидя на табуретке у входа в магазин, демонстрируя голые загорелые плечи и крепкие загорелые ноги, она была похожа на студентку — умную, полную сил и смелых убеждений. Людям, заходящим в магазин, нравилось смотреть на такую девушку, то есть на такую женщину, как Джорджия. Им нравилось с ней болтать. Как правило, они приходили в одиночку. Не обязательно одинокие люди, просто им не с кем было поговорить о книгах. Джорджия поставила чайник за конторкой и заваривала малиновый чай. Особо избранные покупатели приходили со своими кружками. Майя захаживала в гости, сливалась с фоном, забавляясь и завидуя.

— Ты знаешь, что это у тебя тут? — спросила она Джорджию. — У тебя тут салон! О, как мне хотелось бы иметь такую работу! Я бы даже согласилась работать обычным продавцом в обычном магазине, где надо складывать одежду, искать нужный товар для покупателей, считать сдачу

и говорить «спасибо» и «кажется, похолодало, — может, дождь будет».

— Ты можешь найти такую работу, — сказала Джорджия.

— Нет, не могу. Мне не хватит дисциплинированности. Меня слишком плохо воспитали. Я даже дом вести не смогла бы без миссис Ханны, миссис Чен и Сэди.

Она говорила правду. Для современной женщины у Майи было очень много слуг, хотя они приходили в разное время и делали каждый свою работу — не так, как раньше, когда у богачей был штат прислуги с проживанием. Даже еду для званых ужинов — казалось бы, носящую на себе печать равнодушной руки Майи, — готовил кто-то другой.

Обычно Майя бывала занята по вечерам. Джорджию это, скорее, радовало — на самом деле ей не хотелось, чтобы Майя приходила и спрашивала книги с выдуманными ею идиотскими названиями, превращая работу Джорджии во что-то вроде игры. Джорджия воспринимала магазин всерьез. Она тайно, искренне полюбила его, хотя не могла бы объяснить эту любовь. Помещение было длинное, узкое, со старомодным сужающимся входом — дверью между двумя витринами, рас-

положенными под углом. Со своего сиденья за конторкой Джорджия видела, как отражения в одной витрине отражаются в другой. Эта улица не была специально приукрашена для туристов. Широкая, идущая с востока на запад, по вечерам она наполнялась желтоватым светом, отраженным от бледной штукатурки зданий — не очень высоких, — незатейливых витрин, почти пустых тротуаров. Эта простота казалась Джорджии свободой после вьющихся тенистых улиц, засаженных цветами участков и обвитых плющом окон Оук-Бэй. Здесь книги могли существовать сами по себе, как никогда не смогли бы в хитроумно устроенных, зазывающих покупателя пригородных книжных лавках. Длинные ровные ряды книг в мягких переплетах. (Большинство изданий «Пингвина» тогда еще выходило с простыми оранжево-белыми или бело-синими обложками; ни картинок, ни узоров — только заглавия, без прикрас и объяснений.) Магазин был прямым проспектом, полным сокровищ, обещаний, сулящих исполнение. Некоторые книги Джорджия не читала и, скорее всего, никогда не прочтет, но их заглавия, торжественные или загадочные, были для нее очень важны. «Похвала глупости». «Корни совпадения». «Расцвет Новой Англии».

«Идеи и цельность».

Иногда она вставала и упорядочивала книги на полках. Беллетристика стояла по алфавиту, по фамилиям авторов — логично, но скучно. А вот книги по истории, философии, психологии и прочим наукам располагались согласно определенным сложным и дивным правилам, на основе хронологии и содержания. Джорджия немедленно усвоила эти правила и даже усовершенствовала их. Ей не нужно было прочитывать бóльшую часть книги, чтобы узнать о ней все. Она постигала книгу мгновенно, словно нюхом.

По временам, когда в магазине никого не было, Джорджию заливало безграничное спокойствие. Тогда ей даже книги не были важны. Она сидела на табуретке и созерцала улицу — терпеливая, выжидающая, самодостаточная, застывшая в идеальном равновесии.

Она сначала увидела отражение Майлза — призрак в шлеме, ставящий мотоцикл у тротуара, — и только потом его самого. Ей помнилось, что она заметила его смелый профиль, бледность, пыльно-рыжие волосы (он снял шлем и встряхнул волосами, прежде чем войти в магазин) и быструю, крадущуюся походку — она казалась нахальной, походкой оккупанта, даже в отражении.

Конечно, он скоро заговорил с Майей — как все покупатели. Он сказал ей, что он водолаз. Ищет затонувшие корабли, пропавшие самолеты, трупы. Сейчас его наняла одна богатая пара из Виктории — они собираются в круиз, на поиск сокровищ, и как раз занимаются организацией. Их имена и координаты точки назначения — все это тайна. Охота за сокровищами — безумное дело. Ему и раньше приходилось этим заниматься. Постоянно он живет в Сиэтле, там у него жена и маленькая дочка.

Любое его слово вполне могло быть ложью.

Он показывал ей иллюстрации в книгах — рисунки и фотографии моллюсков, медуз, португальских военных корабликов, саргассовых водорослей, карибских летучих рыб, венериных поясов. Он знал, какие рисунки сделаны с натуры, а какие — фальшивки. Потом он отошел и забыл про Джорджию, выскользнул из магазина, пока она разговаривала с другим покупателем. Даже не попрощался. Но в другой вечер опять пришел и рассказал ей про утопленника, застрявшего в каюте лодки, — он выглядывал в иллюминатор так, словно ему очень интересно, что происходит под водой. Майлз то был учтив с Джорджией, то избегал ее, то вел безличные разговоры, при-

двинувшись к ней очень близко, то, забыв о ней, прочесывал магазин, то смотрел на нее подолгу, не улыбаясь, серыми глазами, и вскоре привел ее в смятение, не лишенное, однако, приятности. Он пропал на два вечера, потом пришел и внезапно предложил подвезти ее домой на мотоцикле.

Джорджия согласилась. Она никогда в жизни не ездила на мотоцикле. Ее машина стояла на парковке возле магазина. Джорджия знала, что должно произойти.

Она сказала ему, где живет:

— Всего в нескольких кварталах от пляжа.

— Ну тогда мы поедем на пляж. Посидим там на бревнах.

Так они и сделали. Посидели на бревнах. Потом, хотя на пляже еще не совсем стемнело и еще гуляли люди, они занялись любовью под жалким прикрытием двух-трех кустов дрока. Джорджия пошла домой пешком — с новыми силами, с новой легкостью на сердце, обласканная вселенной. И ничуточки не влюбленная.

— Машина не завелась, — сказала она бебиситтерше, бабушке с их же улицы. — Пришлось всю дорогу идти пешком. Я замечательно прогулялась. Замечательно. Получила большое удовольствие.

Волосы у нее были всклокочены, губы распухли, в одежду набился песок.

Теперь ее жизнь была наполнена мелким враньем. Она ставила машину у далеких пляжей, на лесоповальных дорогах, удобно расположенных недалеко от города, на извилистых проселках Сааничского полуострова. На карту города, что хранилась у нее в голове, — с маршрутами до магазинов, работы, домов друзей — наложилась еще одна: окольных дорожек, по которым она шла, охваченная страхом (но не стыдом) и возбуждением, шатких укрытий, временных убежищ, где они с Майлзом занимались любовью, — часто в пределах слышимости проезжающего транспорта, группы туристов, семейного пикника. И сама Джорджия, наблюдая за своими детьми на карусели или осязая ладонью совершенную форму лимона в супермаркете, прятала в себе другую женщину, что лишь несколько часов назад постанывала и елозила на папоротнике, на песке, на голой земле или — в грозу — в собственной машине. Она с упоением выкидывала эту женщину из головы, уходила в отрыв, собиралась с мыслями и добиралась домой. Неужели у всех так? Джорджия исподволь разглядывала других женщин в супермаркете. Она искала признаки

— мечтательность или вызов, особую драматичность наряда, особый ритм движений.

— Сколько нас таких? — спросила она у Майи.

— Бог знает. Проведи опрос.

Все пошло не так, кажется, с момента, когда они признались друг другу в любви. Зачем они это сделали — определяя, раздувая или затмевая то, что чувствовали на самом деле? Им казалось, что это необходимо, вот и все. Точно так же, как необходимо менять, варьировать, детализировать занятия сексом. Это нужно было, чтобы развиваться, идти вперед. И вот они произнесли требуемые слова. В ту ночь Джорджия не могла заснуть. Она не сожалела о сказанном и не считала эти слова ложью, хоть и знала, что они абсурдны. Она думала о том, как Майлз старался заглядывать ей в глаза, когда они занимались любовью, — Бен этого подчеркнуто не делал — и о том, как его взгляд, сначала яркий, вызывающий, становился туманным, спокойным, хмурым. Поэтому она доверяла ему — ведь по-другому нельзя. Она представила себе, как качается на волнах глубокого, серого, враждебного, великолепного моря. Любовь.

— Я не знала, что это случится, — сказала она на следующий день у Майи на кухне, за чашкой

кофе. День был теплый, но Джорджия надела свитер в поисках уюта. Она все еще была потрясена и покорна.

— Нет. И до сих пор не знаешь, — резко сказала Майя. — А он тоже это сказал? Что любит тебя?

Да, ответила Джорджия, да, конечно.

— Тогда берегись. На следующий раз будь готова. Когда они это говорят, следующая встреча бывает сложной.

Так и вышло. На следующий раз между ними открылась трещина. Поначалу они только ощупывали края, проверяя, все ли еще она там. Можно сказать, новое развлечение. Но трещина все росла, росла. Не успели они сказать хоть слово, подтверждая, что трещина все еще на месте, она расширилась — Джорджия хладнокровно ощущала, как трещина расширяется, хотя все бы отдала, чтобы ее закрыть. Чувствовал ли он то же самое? Она не знала. Он тоже казался ей хладнокровным — бледный, решительный, сверкающий каким-то новым, злобным замыслом.

Была глубокая ночь. Они безрассудно сидели в машине Джорджии среди других таких же парочек на мысу Кловер-пойнт.

— Все, кто сидит в этих машинах, занимаются тем же, что и мы, — сказал Майлз. — Тебя это

заводит?

Он сказал это как раз в той точке сложившегося у них ритуала, где в прошлый раз они заговорили, торжественно и с запинкой, о любви.

— Ты когда-нибудь думала о таком? — спросил он. — Я хочу сказать, мы можем начать с Бена и Лоры. Ты когда-нибудь фантазировала про то, как мы с тобой и с Беном и с Лорой?

Лора была его жена — та, что осталась дома, в Сиэтле. Майлз раньше не упоминал о ней, если не считать того раза, когда он назвал Джорджии ее имя. Но он упоминал про Бена — Джорджии эти упоминания не нравились, но она пропускала их мимо ушей.

«А Бен ломает голову, как ты тут развлекаешься, пока он там рассекает синие моря?»

«А вы с Беном, наверно, особо празднуете его возвращение?»

«Интересно, Бену это твое платьице нравится так же, как мне?»

Он говорил так, словно они с Беном были в каком-то смысле друзьями — или, по крайней мере, партнерами, совладельцами.

— Ты и я и Бен и Лора, — произнес он, и его тон показался Джорджии подчеркнуто, ненатурально похабным, хитрым, презрительным. — Поделим-

ся счастьем со всеми.

Он попробовал ласкать ее, притворяясь, что не замечает ее негодования, горькой обиды. Он начал описывать щедрый обмен ласками между ними четырьмя в постели. Он спросил, возбуждает ли это Джорджию. Она с отвращением сказала, что нет. Еще как возбуждает, просто ты не хочешь признаться. Его голос, его ласки становились напористей. Что в тебе такого особенного, спросил он тихо, презрительно, до боли сжав ее груди. Что ты строишь из себя королеву?

— Ты жесток и сам это прекрасно знаешь, — ответила она, пытаясь оторвать от себя его руки. — Зачем ты так?

— Дорогая, я не жесток, — сказал Майлз скользким, фальшиво-нежным голосом. — Я похотлив. Я тебя хочу, вот и все.

Он принялся дергать Джорджию так и этак, раскладывая ее для удобства пользования. Она велела ему вылезти из машины.

— Чистюля, — сказал он тем же ненатуральным, омерзительно нежным голосом, словно фанатично облизывая что-то мерзкое. — Чистоплотная шлюшка.

Джорджия сказала, что, если он не перестанет сейчас же, она надавит на гудок. Если он немед-

ленно не вылезет из машины, она надавит на гудок. И закричит, чтобы вызвали полицию. Она и в самом деле налегла на гудок, пока они боролись. Он оттолкнул ее, выругавшись с подвыванием — ей и раньше приходилось такое слышать, но совсем с другим значением. Он вылез из машины.

Она не могла поверить в этот взрыв злобы, в такой ошеломляющий поворот событий. Потом, много лет спустя, вспоминая об этом, она думала, что, может быть, он так поступил для очистки совести — чтобы подчеркнуть разницу между ней и Лорой. Или чтобы затушевать слова, которые сказал ей накануне. Или чтобы унизить ее, потому что сам испугался. Возможно. А может, для него это было просто дальнейшее, и подлинно интересное, развитие их сексуальных отношений.

Ей хотелось бы обсудить это с Майей. Но с Майей она уже ничего не могла обсудить. Их дружба внезапно кончилась.

На следующий вечер после инцидента на Кловер-пойнт Джорджия сидела на полу в гостиной и играла с детьми в настольную игру перед сном. Зазвонил телефон. Она была уверена, что это Майлз. Она весь день ждала, что он позвонит, обязательно позвонит — объяснить свои поступ-

ки, попросить у нее прощения, сказать, что он ее испытывал в каком-то смысле или что временно сошел с ума из-за неких неизвестных ей обстоятельств. Она не сразу согласится его простить. Но трубку бросать не будет.

Это оказалась Майя.

— Слушай, случилась престранная вещь, — сказала она. — Мне позвонил Майлз. Это ничего, Рэймонда нет дома. Но откуда он вообще про меня знает?

— Понятия не имею, — ответила Джорджия.

Конечно, это она ему сказала. Предложила ему необузданную Майю в качестве развлечения или чтобы объяснить, как неопытна она сама в этой игре. Относительно непорочная добыча.

— Он сказал, что хочет прийти и поговорить со мной, — говорила Майя. — Как ты думаешь? Что с ним случилось? Вы что, поссорились? … Да? А, ну он, наверно, хочет, чтобы я тебя уговорила с ним помириться. Надо сказать, он выбрал удачный вечер. Рэймонд в больнице; у него там упрямая пациентка, у нее схватки. Возможно, он останется делать ей кесарево. Я тогда позвоню и расскажу тебе, как все прошло. Хорошо?

Через пару часов, когда дети уже уснули, Джорджия начала ждать звонка Майи. Она посмотрела

новости по телевизору, чтобы отвлечься от ожидания. Она подняла телефонную трубку, чтобы убедиться, что гудок есть. Она выключила телевизор по окончании новостей, потом опять включила. Начался фильм; она просидела до третьей рекламной паузы, не шелохнувшись, не вставая и не выходя в кухню посмотреть на часы.

В половине первого ночи она вышла из дома, села в машину и поехала к дому Майи. Она понятия не имела, что́ собирается там сделать. И ничего особенного не сделала. Она проехалась по круговой дорожке перед домом, выключив фары. В доме было темно. Дверь гаража открыта, и видно, что машины Рэймонда там нет. Мотоцикла тоже нигде не было видно.

Она оставила детей одних, дверь — незапертой. С ними ничего не случилось. Дети не проснулись и не обнаружили отсутствия матери. По возвращении ее не встретил ни грабитель, ни маньяк-убийца. Она даже не оценила это колоссальное везение. Она вышла из дома, оставив горящий свет и открытую дверь, а когда вернулась, даже не осознала всю степень своего безумия, только закрыла дверь, выключила свет кое-где и легла на диван в гостиной. Она не спала.

Она лежала неподвижно, словно малейшее движение обостряло ее страдания. Лежала, пока не заметила, что начинает светать и просыпаются птицы. Руки и ноги у нее онемели. Она встала, подошла к телефону и проверила, есть ли гудок. Потом поковыляла на кухню, поставила чайник и мысленно произнесла: «Парализована горем».

«Парализована горем». Она что, совсем с ума сошла? Нечто подобное она могла бы чувствовать, подобные слова употребить, если бы умер кто-то из ее детей. Горе — это для серьезных вещей, тяжелых потерь. Она это прекрасно знает. Она не пожертвовала бы даже одним часом жизни своих детей, чтобы вчера в десять вечера услышать телефонный звонок и голос Майи: «Джорджия, он в отчаянии. Он просит прощения; он тебя очень любит».

Нет. Но, кажется, такой звонок принес бы ей счастье, которого не сулят никакие слова и взгляды ее детей. Ничто, никогда больше не даст ей такого счастья.

Она позвонила Майе, когда не было и девяти утра. Набирая номер, она думала, что есть еще повороты дела, о которых можно молиться. У Майи был неисправен телефон. Майя внезапно заболела вчера ночью. Рэймонд попал в аварию

на пути домой из больницы.

Все эти возможности испарились при первом звуке голоса Майи, сонном (притворно сонном) и шелковом от обмана:

— Джорджия? Джорджия, это ты? О, я думала, что это Рэймонд звонит. Ему пришлось остаться в больнице на случай, если этой несчастной понадобится кесарево сечение. Он собирался мне позвонить…

— Ты мне это уже говорила вечером.

— Он собирался мне позвонить… Ох, Джорджия, да ведь я должна была тебе позвонить! Теперь я вспомнила. Да. Я должна была тебе позвонить, но подумала, что, наверно, уже поздно. Что я разбужу детей. Я подумала, лучше оставить это до утра!

— А что, было очень поздно?

— Не очень. Я просто подумала.

— Что случилось?

— Что значит «что случилось»? — Майя засмеялась, как великосветская дама в дурацкой пьесе. — Джорджия, ты что, в истерике?

— Что случилось?

— Ох, Джорджия, — сказала Майя со стоном — снисходительным, с капелькой раздражения. — Джорджия, прости меня. Ничего не случилось.

Абсолютно ничего. Я повела себя как последняя какашка, но я не хотела. Я предложила ему пива. Если к тебе приезжает человек на мотоцикле, ведь ему надо предложить пива? Но он держался очень высокомерно и сказал, что пьет только шотландский виски. И даже на виски согласился, только если я выпью вместе с ним. Я подумала, что он очень много о себе понимает. Очень высокомерно держался. Но на самом деле, Джорджия, я на это пошла только ради тебя. Я хотела выяснить, что у него на уме. Поэтому я велела ему поставить мотоцикл позади гаража, а самого его вывела в сад за домом. Чтобы, если я услышу машину Рэймонда, выставить твоего Майлза через задний двор, и он бы выкатил мотоцикл через проулок. На данной стадии наших отношений я не собираюсь наваливать на Рэймонда еще что-то. Даже что-то совершенно невинное… или что-то такое, что началось совершенно невинно.

Джорджия, лязгая зубами, повесила трубку. Она больше никогда в жизни не разговаривала с Майей. Майя, конечно, пришла к ней сама — чуть позже, — и Джорджия была вынуждена ее впустить, потому что дети играли во дворе. Майя покаянно села за стол на кухне и спросила разрешения закурить. Джорджия промолчала. Майя

сказала, что в таком случае закурит и надеется, что Джорджия не возражает. Джорджия притворилась, что Майи тут нет. Пока Майя курила, Джорджия вымыла плиту, сняв нагревательные элементы и потом вставив их опять на место. Она вытерла рабочие поверхности, начистила краны и разобрала столовые приборы в ящике. Она протерла пол, огибая ноги Майи. Она работала быстро, тщательно, ни разу не взглянув на Майю. Поначалу Джорджия была не уверена, сможет ли продержаться. Но чем дальше, тем ей было легче. Чем серьезнее становилась Майя — чем дальше она уходила от разумных увещеваний, полуиронического признания своей вины и чем больше погружалась в искреннее, испуганное сожаление, тем больше Джорджия укреплялась в своей решимости, тем сильней было мрачное удовлетворение у нее в душе. Она, однако, старалась не выглядеть мрачной. Она порхала по кухне, едва ли не напевая.

Она взяла нож, чтобы отскрести налет жира с бороздок между кафелем у плиты. Да, она совсем запустила кухню.

Майя курила одну сигарету за другой, гася их в блюдце, которое сама достала с полки. Она сказала:

— Джорджия, это ужасно глупо. Поверь мне, он этого не стоит. То, что было, ничего не значит. Просто виски и удобный момент.

Она сказала:

— Я прошу у тебя прощения. Я по-настоящему раскаиваюсь. Я знаю, что ты мне не веришь. Чтó я должна сказать, чтобы ты поверила?

И еще:

— Джорджия, послушай. Ты меня унижаешь. Ну ладно. Ладно. Может быть, я это заслужила. Да, я это заслужила. Но после того, как ты меня достаточно поунижаешь, можно мы помиримся и посмеемся над этим? Когда мы станем старухами, — я клянусь, мы будем над этим смеяться. Мы не сможем припомнить его имени. Мы будем звать его «падишах на мотоцикле». Правда.

Потом:

— Джорджия, ну что ты хочешь, чтобы я сделала? Я могу простереться перед тобой на полу. Я уже почти дошла до этого. Я пытаюсь удержаться и не развозить сопли и не могу. Я развезла сопли. Ты довольна?

Она заплакала. Джорджия надела резиновые перчатки и принялась оттирать духовку.

— Ты победила, — сказала Майя. — Я забираю сигареты и иду домой.

Она несколько раз звонила. Джорджия вешала трубку. Майлз тоже звонил, и Джорджия снова вешала трубку. Ей показалось, что его голос звучит осторожно, но самодовольно. Он опять позвонил, и голос его дрожал, словно пытаясь изобразить искренность и смирение. Только любовь, и ничего больше. Джорджия сразу бросила трубку. Она думала, что ее осквернили, что ее мир пошатнулся.

Майя прислала письмо. В нем, в частности, говорилось: «Ты, наверно, знаешь, что Майлз возвращается в Сиэтл, к домашнему очагу, так сказать. Видимо, с поисками сокровища ничего не вышло. Но ты не можешь не понимать, что рано или поздно он так или иначе уехал бы и ты бы страдала, так что можешь отстрадать сейчас и покончить с этим. Ну так, может, все к лучшему? Я не пытаюсь себя оправдать. Я знаю, что проявила слабость и повела себя как последняя вонючка. Но, может быть, все-таки давай попробуем это забыть?»

Дальше в письме говорилось, что они с Рэймондом едут в отпуск в Грецию и Турцию, как давно собирались, и она, Майя, очень надеется до отъезда получить весточку от Джорджии. Но если она ничего не получит, то поймет, что́

Джорджия хочет этим сказать, и больше не будет ей навязываться своими письмами.

Она сдержала слово. Писем от нее больше не было. Она прислала из Турции красивую полосатую ткань, большой кусок, которого хватило бы на скатерть. Джорджия сложила ее и убрала подальше. Через несколько месяцев, уезжая из дома, она оставила ткань в шкафу — пусть Бен ее найдет.

— Я счастлив, — говорит Рэймонд Джорджии. — Очень счастлив — а все потому, что меня устраивает обычная спокойная жизнь обычного среднего человека. Я не ищу каких-то глобальных откровений, масштабных драм, мессий противоположного пола. Я не иду по жизни, выискивая, как бы подбавить в нее перчику. Я могу тебе сказать откровенно: я думаю, Майя ошибалась. Я не отрицаю, что она была очень талантливая, умная, творческая и все такое, но она что-то искала — может, что-то такое, чего вовсе и не бывает. И презирала многое из того, что было у нее под рукой. Она отвергала блага, которые были ей доступны. Например, когда мы ездили в отпуск, она не хотела останавливаться в хорошем отеле. Нет. Ей нужно было обязательно отправиться в поход верхом на несчастных, забитых осликах

и пить кислое молоко на завтрак. Наверно, я говорю как обыватель. Ну что ж, наверно, я и есть обыватель. Ты знаешь, у Майи было прекрасное столовое серебро. Великолепное. Передавалось по наследству из поколения в поколение. А ей было лень его чистить или сказать уборщице, чтобы почистила. Она завернула его в пакет и убрала куда-то. Убрала — такая жалость. Как ты думаешь, кем она себя воображала? Чем-то вроде хиппи? Вольного духа? Она даже не понимала, что ее свободный полет невозможен без денег. Я тебе говорю, в этом доме перебывало много вольных духов, которые не набивались бы Майе в друзья, будь она бедной.

— Я сделал все, что мог, — говорит Рэймонд. — Я хотя бы не свалил и не бросил ее, в отличие от ее принца из страны Фантазии.

Разрыв с Майей принес Джорджии мстительное удовольствие. Джорджии самой приятно, как она хорошо держалась. Глуха к мольбам. Она была удивлена, что способна на такое самообладание, такое бескомпромиссное наказание. Она наказала Майю. Через нее она наказала Майлза, как могла. Она знала, что теперь делать: надо ободрать себя как следует, очиститься от привязанности ко всем дарам этих двух бледных

фокусников. Майлз и Майя. Оба — ускользающие, переливчатые: лгуны, соблазнители, мошенники. Следовало ожидать, что после такого бичевания она спрячется обратно в панцирь своего брака, запрет двери и будет, как никогда, ценить то, что имеет.

Но вышло не так. Она порвала с Беном. Не прошло и года, как ее и след простыл. Порвала она с ним трагично и жестоко. Она рассказала ему о Майлзе, хотя и пощадила собственную гордость, опустив историю с Майей. Она не старалась — и даже не хотела — избежать жестокости. Той ночью, когда она ждала звонка Майи, ею овладел какой-то злобный дух брожения. Она увидела, что окружена ложью и сама живет ложью. Раз она так легко изменила — значит ее брак был ложью. Раз она так быстро и так далеко вышла за его пределы — он был ложью. Теперь она страшилась такой жизни, какую вела Майя. Не меньше она страшилась той жизни, которую ранее вела сама. Она не могла не разрушать. В ней нарастала такая холодная энергия, что она должна была разрушить свой собственный дом.

Вместе с Беном, когда они оба были еще так молоды, она вошла в мир церемоний, безопасности, жестов, сокровенности. Ласковой видимости. Бо-

лее чем видимости. Ласковой хитрости. (Уходя от мужа, Джорджия думала, что хитрость ей больше никогда не понадобится.) Она бывала счастлива в этой жизни — время от времени. Она бывала мрачна, беспокойна, растерянна, счастлива. Но она упорно и мстительно отрицала это. Нет, никогда. Я никогда не была счастлива, говорила она.

Люди всегда так говорят.

Люди совершают грандиозные перевороты, но совсем не те, которые предполагают совершить.

Все равно Джорджия знает, что ее раскаяние из-за того, как она когда-то перевернула свою жизнь, — нечестное. Искреннее, но нечестное. Слушая Рэймонда, она сознает: то, что она совершила тогда, ей пришлось бы совершить снова. Ей пришлось бы проделать все это снова, если уж она была такой, какой была.

Рэймонд не хочет отпускать Джорджию. Не хочет с ней расставаться. Он предлагает подвезти ее в центр города. Когда она уедет, он не сможет больше говорить про Майю. Наверняка Анна заявила, что ни слова больше не желает слышать о Майе.

— Спасибо тебе, что приехала, — говорит он в дверях. — Ты уверена, что тебя не надо подвезти? А на ужин точно не хочешь остаться?

Джорджия снова напоминает ему про автобус и последний паром. Нет-нет, говорит она, я в самом деле хочу пройтись. Тут всего мили две. День, клонящийся к вечеру, так чудесен. Виктория так чудесна. Я и забыла, до какой степени.

— Спасибо, что приехала, — еще раз говорит Рэймонд.

— Тебе спасибо за напитки. И вообще спасибо. Мне кажется, никто из нас не верит, что когда-нибудь умрет.

— Ну-ну, не надо так, — произносит Рэймонд.

— Да нет. Я хочу сказать — мы никогда не ведем себя так, как если бы верили, что умрем.

Рэймонд улыбается все шире и кладет руку ей на плечо:

— А как же нам нужно себя вести?

— Иначе, — говорит Джорджия. Она напирает на это слово, сознательно оглупляя его — нарочно показывая, что этот ответ настолько убог, что его можно дать только в шутку.

Рэймонд обнимает ее, потом втягивает в длинный холодный поцелуй. Он присасывается к ней с аппетитом, весьма прискорбным, но неубедительным. Пародия на страсть, смысла которой никто из них двоих, конечно, не попытается постигнуть.

Джорджия не думает об этом, идя назад в город по улицам, полным осенних красок, осенних запахов, осенней тишины. Мимо Кловер-пойнта, мимо утесов, поросших дроком, мимо гор на той стороне залива. Горы Олимпийского полуострова, скомпонованные, как явный сценический задник, аппликация из радужной папиросной бумаги. Джорджия не думает ни о Рэймонде, ни о Майлзе, ни о Майе, ни даже о Бене.

Она вспоминает, как сидела в магазине по вечерам. Свет уличных фонарей, сложные отражения в витринах. Случайная ясность.

Пора париков

Когда мать Аниты умирала в городской больнице Уэлли, Анита вернулась домой, чтобы за ней ухаживать, хотя уже не работала медсестрой. Однажды в коридоре больницы ее остановила невысокая широкоплечая широкобедрая женщина со стрижеными седеющими каштановыми волосами.

— Анита, я слышала, что ты вернулась, — сказала женщина и засмеялась, напористо и в то же время смущенно. — Чего ты глазами хлопаешь!

Это была Марго. Анита не видалась с ней уже лет тридцать.

— Я хочу, чтобы ты нас навестила, — сказала Марго. — Устрой себе перерыв. Приезжай поскорее.

Анита взяла день отдыха и поехала к Марго. Марго с мужем построили новый дом на берегу залива — на месте, где раньше ничего не было, кроме чахлых кустов и детских тайных троп. Длинный, низкий, из серого кирпича. Но при этом достаточно высокий, подумала Анита, чтобы уязвить жителей противоположной стороны

улицы — владельцев красивых столетних домов с дорогими видами из окон.

— И черт с ними, — сказала Марго. — Они подали петицию против нас. В комиссию по застройке.

Но муж Марго быстро разобрался с комиссией.

Муж Марго преуспел в делах. Анита об этом уже слышала. Он владел парком автобусов, которые возили детей в школу, а пожилых людей — любоваться цветущей вишней на Ниагаре и разноцветьем осени в Хэлибертоне. Иногда клубы одиночек и другие группы туристов арендовали его автобусы для поездок поинтереснее — в Нэшвилл или Лас-Вегас.

Марго провела Аниту по дому. Интерьер кухни был решен в миндальном цвете — Анита ошиблась, назвав его кремовым, — с отделкой цвета сливочного масла и морской волны. Марго сказала, что декор под натуральное дерево уже вышел из моды. В гостиную — с розовым ковром, креслами полосатого шелка и бесконечными складчатыми занавесками, бледно-зелеными, фигурными, — они заходить не стали. Полюбовались ею — такой изысканной, тенистой, нетронутой — от двери. Главная спальня и ванная комната при ней были отделаны белым, золотым

и маково-алым. Там были джакузи и сауна.

— Сама бы я, пожалуй, выбрала цвета поспокойней, — сказала Марго. — Но нельзя же загонять мужчину в пастельную гамму.

Анита спросила Марго, не думала ли она когда-нибудь устроиться на работу.

Марго запрокинула голову и фыркнула от смеха:

— Ты что, издеваешься? И вообще, у меня уже есть работа. Погоди, увидишь здоровенных лбов, которых мне приходится кормить. И между прочим, этот дом вести — тоже не фея палочкой взмахнула.

Она достала из холодильника кувшин сангрии, поставила на поднос, добавила два стакана, явно купленные в комплекте с кувшином.

— Любишь сангрию? Хорошо. Пойдем сядем снаружи и будем пить.

На Марго были зеленые шорты в цветочек и подходящий по цвету топ. Ноги у нее были толстые, с разбухшими темными венами, плечи — рыхлые, неровные, кожа — загорелая, испещренная родинками, выдубленная солнцем.

— Как ты умудрилась не растолстеть? — весело спросила она. Взъерошила волосы Аниты. — И не поседеть? Волшебные коробочки из аптеки?

Выглядишь красавицей.

Она сказала это без зависти, словно обращалась к молодой женщине, еще не битой жизнью.

Похоже было, что вся ее забота, все ее тщеславие ушли на дом.

Марго и Анита выросли на фермах в тауншипе[18] Эшфилд. Анита жила в щелястой кирпичной коробке, где гуляли сквозняки. Линолеум и обои в доме не менялись лет двадцать, но в гостиной стояла чугунная печь, ее можно было растопить, сесть рядом и спокойно делать уроки в тишине. Марго часто делала уроки, сидя на кровати, которую вынужденно делила с двумя младшими сестрами. Анита редко ходила в гости к Марго: там было ужасно тесно и суматошно, и к тому же отец Марго отличался необузданным нравом. Однажды Анита пришла, когда семья готовила уток на продажу, на рынок. Перья летали повсюду. Перья плавали в кувшине с молоком, горелыми перьями отвратительно воняло от печки. Кровь собралась лужей на столе, покрытом клеенкой, и капала на пол.

Марго редко ходила в гости к Аните, потому что

[18] Примечания: 18

В восточной Канаде — административная единица, объединение нескольких расположенных рядом поселков или ферм.

мать Аниты не одобряла их дружбу, хотя вслух ничего не говорила. Глядя на Марго, мать Аниты, казалось, мысленно подытоживала все подряд: кровь, перья, трубу буржуйки, торчащую из крыши кухни, вопли отца Марго, сулящего выдубить кому-то шкуру.

Но девочки встречались каждое утро: вместе пробивались, опустив голову, сквозь метель с озера Гурон или поспешали, как могли, по предрассветному миру заснеженных полей, ледяных болот, розовеющего неба, меркнущих звезд и убийственного холода. Вдали, за полосой льда на озере виднелась полоса открытой воды — чернильно-синяя или голубая, как яйцо малиновки, смотря насколько уже рассвело. Девочки прижимали к груди тетради, учебники, домашние задания. Девочки были одеты в юбки, блузки и свитера, нелегко доставшиеся (Марго, например, приходилось идти на хитрости и переносить побои) и с огромным трудом поддерживаемые в приличном виде. На девочках словно стояла печать школы Уэлли, куда обе направлялись, и они приветствовали друг друга с облегчением. Обе вставали в темноте, в холодных комнатах с заиндевевшими окнами, натягивали белье, не снимая ночных рубашек, пока на кухнях грохо-

тали печные заслонки, захлопывались вьюшки и младшие братья и сестры бежали одеваться на первый этаж. Марго с матерью по очереди ходили в хлев — подоить коров и накидать им сена. Отец гонял их, как надсмотрщик — рабов; как говорила Марго, если он не вломил кому-нибудь еще до завтрака — значит заболел. Анита считала, что ей везет: у нее были братья, которые взяли на себя уход за скотом, и отец, который, как правило, никого не бил. Но и ей в эти утра казалось, что она медленно всплывает сквозь глубокую темную воду.

«Думай про кофе», — говорили они друг другу, пробиваясь к магазинчику на шоссе — развалюхе, что была для них раем. У обеих дома пили только чай, настоянный по-деревенски, дочерна.

Тереза Голт отпирала магазин еще до восьми, чтобы впустить девочек. Прижимаясь к стеклу двери, они видели, как оживают лампы дневного света: голубые молнии пробегают по трубкам, виляя, словно в нерешительности, и наконец вся трубка вспыхивает белым огнем. Выходила Тереза с любезной улыбкой хозяйки — она протискивалась из-за кассы, придерживая у шеи плотно запахнутый вишнево-красный стеганый атласный халат, словно он защитит ее от мороза,

когда она откроет дверь. Брови у нее были как два черных крыла, нарисованные карандашом, а другим карандашом — красным — она обводила рот. Лук верхней губы смотрелся четко, словно вырезанный ножницами.

Каким облегчением, каким счастьем было оказаться внутри, где светло, вдохнуть запах керосиновой печки, положить книги на прилавок, стащить варежки и растереть окоченевшие до боли руки. Потом девочки наклонялись и растирали ноги — полоску кожи шириной около дюйма, совсем онемелую, почти обмороженную. Чулок они не носили — носить чулки считалось не шикарно. Сапоги надевали на коротенькие носочки, а сменку — двухцветные туфли на низком каблуке — держали в школе. Юбки были длинные — шла зима 1948/49 года, — но все же значительная часть икр оставалась незащищенной. Некоторые девочки надевали чулки, а сверху — носки. Некоторые даже поддевали под низ лыжные штаны, подтягивая их кверху, так что они сбивались комом под юбкой. Но Марго и Анита никогда в жизни не опустились бы до такого. Лучше рискнуть обморожением, чем выглядеть как деревенское чучело и стать посмешищем.

Тереза приносила им кофе — черный, горячий,

очень сладкий и крепкий. Она дивилась их храбрости. Она касалась пальцем их щек или рук и слегка взвизгивала и вздрагивала: «Как лед! Как лед!» Ей было удивительно, что кто-то вообще готов выходить наружу канадской зимой, а тем более — пройти целую милю по морозу. То, что девочки ежедневно переносили такие лишения на пути в школу, казалось Терезе героическим и странным поступком, даже отчасти диким.

В особенности — потому что они девочки. Она поинтересовалась, не нарушается ли у них месячный цикл от холода. Но у нее вышло: «А у вас от этого яйца не замерзают?» Марго и Анита поняли, что она хотела сказать, но с тех пор все время напоминали друг другу о необходимости быть осторожнее, чтобы не отморозить яйца. Тереза не хотела сказать ничего похабного — просто английский язык у нее был не родной. Руэл встретил ее и женился на ней в Европе, в Эльзас-Лотарингии. Потом он вернулся домой, а она последовала за ним на корабле вместе с другими военными невестами. В тот год, когда Марго и Аните было по семнадцать лет и они ходили в двенадцатый класс, Руэл как раз водил школьный автобус. Маршрут автобуса начинался здесь, у магазина и заправки, купленных четой Голт, — на Кинкар-

динском шоссе, с видом на озеро.

Тереза рассказывала им о своих двух выкидышах. Первый произошел в Уэлли, когда они с мужем еще не переехали сюда и у них еще не было машины. Руэл подхватил ее на руки и донес до больницы. (Анита представила себе, как Руэл несет ее на руках, и это вызвало у нее в теле такой приятный трепет, что она почти готова была взамен вытерпеть ужасные муки, описанные Терезой.) Второй выкидыш случился прямо тут, в магазине. Руэл работал в гараже и не слышал слабых криков Терезы, лежащей на полу в луже крови. Ее увидел зашедший в магазин покупатель. Слава богу, говорила Тереза — даже не столько из-за себя, сколько из-за Руэла. Он бы себе этого не простил. Веки у нее трепетали, глаза благоговейно опускались, когда она говорила о Руэле и их супружеской жизни.

Пока Тереза болтала, Руэл то появлялся в магазине, то исчезал. Он выходил наружу, заводил мотор автобуса, оставлял его прогреваться и возвращался в жилую часть дома. Он игнорировал девочек и словно не слышал Терезу, которая прерывала свой рассказ вопросами: не забыл ли он сигареты, не хочет ли еще кофе, не дать ли ему перчатки потеплее. Он топал, сбивая снег с са-

пог, — не столько охраняя чистоту полов, сколько объявляя о своем присутствии. За высоким, широко шагающим телом в магазин врывался веер холодного воздуха, а пола расстегнутой парки обычно сбивала что-нибудь на пол: то коробки с порошковым желе, то затейливо расставленные Терезой банки консервированной кукурузы. Он даже не оборачивался.

Тереза говорила, что ей двадцать восемь, как и Руэлу. Но все считали, что она старше на несколько лет — может, даже на десять. Марго и Анита, разглядев ее вблизи, решили, что она выглядит какой-то подгоревшей. Ее кожа — особенно на лбу у границы волос, а также вокруг рта и глаз — чем-то напоминала пирог, передержанный в духовке: не обугленный, но темно-коричневый по краям. Волосы — редкие, словно пострадали от той же лихорадки или засухи, и слишком черные — девочки не сомневались, что она их красит. Она была маленькая, тонкокостная, с крохотными ступнями и узкими запястьями, но тело ниже талии как-то раздулось, словно так и не оправившись от кратких, злополучных беременностей. Пахло от нее, будто что-то сладкое кипит на плите — пряное варенье со специями.

Она могла спросить что угодно и сама расска-

зывала что угодно. Она спросила Марго и Аниту, гуляют ли они уже с мальчиками.

— Ах, почему же нет? Вам отцы не позволяют? Я была привлекательна для мальчиков уже к четырнадцати годам, но мой отец мне не позволял. Они приходят и свистят у меня под окнами, он их прогоняет. Тебе надо выщипывать брови. Вам обеим надо. Тогда у вас будет более приятный вид. Мальчики любят девочку, которая делает себе приятный вид. Об этом я все время помню. Когда я была на корабле, плыла сюда через Атлантический океан со всеми другими женами, я все свое время провожу, готовя себя для мужа. Некоторые жены, они только сидели и играли в карты. Но не я! Я мыла голову, мазалась прекрасным маслом для смягчения кожи, и терла и терла камнем, чтобы убрать грубые места с ног. Я забыла, как это называется — грубые места на коже, на ногах? И еще я красила ногти, и выщипывала брови, и на всю себя наводила красоту, чтобы стать как приз! Для моего мужа, который встречал меня в Галифаксе. Пока все остальные только и делают, что играют в карты и сплетничают, сплетничают друг с другом.

Девочки слышали другую историю — про второй выкидыш Терезы. Якобы Руэл сказал Терезе,

что она ему надоела и лучше бы она вернулась назад, в Европу. И она в отчаянии ударилась с разбегу о стол и навредила ребенку.

Руэл останавливал автобус на перекрестках и у ворот ферм, подбирая школьников, которые уже ждали — стояли, топая ногами от холода, или возились в сугробе. В том году Марго и Анита были в автобусе единственными девочками их возраста. Большинство составляли мальчики из девятого и десятого классов. С ними нелегко было справиться, но Руэл укрощал их сразу на входе в автобус:

— А ну, хватит. Поторапливайтесь. Если едете, так заходите и садитесь.

А если в автобусе начинался какой-нибудь непорядок — вопли, кто-то кого-то схватил или двинул, или просто пересел с одного места на другое, или хохот и разговоры слишком громкие, — Руэл кричал: «А ну, к порядку, а то пешком пойдете! Да-да, я именно тебе!» Однажды он высадил одного мальчика за курение — в нескольких милях от Уэлли. Сам Руэл курил не переставая. Вместо пепельницы у него была крышка от майонезной банки на приборной доске. Но никто не призывал его к ответу за это или что угодно другое. Его грозный нрав был известен всем. Счи-

талось, что при рыжих волосах вспыльчивость естественна.

Руэла называли рыжим, но Марго и Анита заметили, что рыжие у него только усы и еще волосы над самыми ушами. Остальная шевелюра — редеющая с висков, но в целом густая, волнистая, особенно на затылке, который девочки видели чаще всего, — была песочного цвета, рыжевато-коричневатого, как мех лисы, которая как-то утром переходила заснеженную дорогу. Тяжелые брови, волоски на руках и кистях выцвели еще сильнее, хотя блестели в любом свете. Как это усы у него остались такими огненными? Девочки говорили о нем между собой. Они подробно, отстраненно обсуждали в деталях его внешность. Красивый он или нет? У него была типичная для рыжих легко краснеющая кожа, прыщики, высокий лоснящийся лоб, светлые глаза — яростные и в то же время равнодушные. Они решили, что он совсем не красивый. Даже странный с виду.

Но стоило Аните оказаться рядом с ним, и ей начинало казаться, что к поверхности кожи подступает контролируемое отчаяние. Что-то похожее бывает, когда собираешься чихнуть, но не прямо сейчас. Ощущение достигало пика, если Аните надо было сходить с автобуса, когда Руэл

стоял внизу у двери. Анита миновала его, и напряжение перемещалось — с груди и лица на спину. Анита никогда не говорила об этом с Марго — ей казалось, что презрение подруги к мужчинам гораздо упорнее, чем у нее самой. Мать Марго страшилась похоти своего мужа так же сильно, как дети — его пинков и тычков. Чтобы спастись от него, она однажды провела всю ночь в амбаре, заложив дверь засовом. Для секса у Марго было слово «заниматься». Она презрительно отзывалась о том, чем Тереза «занимается» с Руэлом. Но Анита догадывалась: именно то, что Марго гнушается сексом, ее мрачность, ее презрение могут притягивать мужчин. Марго может быть привлекательной для мужчин в каком-то смысле, в каком сама Анита для них непривлекательна. И красота тут ни при чем. Анита считала себя красивее подруги, хотя ясно было, что Тереза их обеих оценивает невысоко в смысле внешности. Важны были: смелая небрежность движений, иногда заметная у Марго, ее широкие бедра, зрелая выпуклость живота и взгляд больших карих глаз — они порой смотрели вызывающе и беспомощно, и это совсем не вязалось ни с какими речами Марго.

Ко времени, когда автобус въезжал в Уэлли,

день уже начинался. На небе ни звезды, ни розовинки. Город — здания, улицы, заведенный распорядок — был как баррикада для защиты от охваченного метелью или скованного морозом внешнего мира, в котором девочки проснулись утром. Конечно, и их дома были баррикадами, и магазин тоже, но по сравнению с городом они ничего не значили. Автобус проезжал один квартал — и мир за пределами города словно прекращал свое существование. Огромные сугробы по обочинам шоссе, ветер, ревущий и рвущий кроны деревьев, — ничего этого больше не было. В городе следовало вести себя так, словно ты его никогда не покидала. Городские ученики, уже наводняющие улицы вокруг школы, жили беззаботно и легко. Они просыпались в восемь утра в теплых спальнях и бежали в теплый туалет. (На самом деле не все городские жили в таких условиях, но Анита и Марго считали, что все.) Городские ученики, как правило, не знали деревенских по именам. Но от деревенских ожидалось, что они будут знать городских, и они их знали.

Школа была как крепость: узкие окна, декоративные бастионы красного кирпича, высокие лестничные пролеты, устрашающие двери, высеченный в камне латинский девиз: *Scientia Atque*

Probitas[19]. Девочки входили в эти двери примерно без четверти девять каждое утро, завершая путешествие из дома в школу, и им уже казалось, что дом никогда не существовал и никакого путешествия не было. Эффект кофе к тому времени выветривался. Девочки нервно зевали в резком свете ламп. Впереди громоздились испытания этого дня: латынь, английский язык, геометрия, химия, история, французский, география, физкультура. Звонок звонил без десяти минут каждый час, даруя краткую свободу. Девочки пугливо бежали вверх или вниз по лестнице, прижимая к груди учебники и чернильницы, под висячими лампами и портретами членов королевской семьи и давно покойных деятелей образования. Деревянные панели, заново лакируемые каждое лето, сверкали так же безжалостно, как очки директора. Унижение было неминуемо. Животы у девочек болели и грозили опозорить их урчанием. Девочки боялись, что пот проступит под мышками или менструальная кровь — сквозь юбку. Они трепетали, входя в кабинет английского или математики, — не потому, что плохо учились (на самом деле обе успевали хорошо), но

---

[19] Примечания: 19
Знание и добродетель *(лат.)*.

потому, что учитель мог приказать любой из них встать и прочесть что-нибудь, например стихи наизусть, или написать решение задачи на доске перед всем классом. «Перед всем классом» — эти слова вселяли ужас.

Три раза в неделю у девочек была физкультура — особая проблема для Марго, поскольку отец упорно не давал ей денег на покупку физкультурной формы. Приходилось врать, что забыла форму дома, или брать ее взаймы у одной из девочек, получивших освобождение. Но, заполучив форму, Марго тут же расслаблялась и с упоением носилась по залу во время игры в баскетбол, вопя, чтобы мяч пасовали ей. Анита же так зажималась от застенчивости, что мяч часто попадал ей в голову.

Но бывали и приятные моменты. В полдень девочки шли в центр города и разглядывали витрины роскошного, устланного ковролином магазина, торговавшего исключительно свадебными и вечерними нарядами. Анита собиралась играть свою свадьбу весной. Подружки невесты будут в розово-зеленых шелках и в верхних юбках из белой органзы. Марго хотела венчаться осенью, а подружек одеть в абрикосовый бархат. В «Вулвортсе» девочки разглядывали губную

помаду и серьги. Они заскакивали в аптечно-косметический магазин и брызгались духами из пробников. Если у девочек были деньги от матерей на что-то необходимое, на сдачу они покупали вишневую кока-колу или сладости. Анита и Марго не бывали глубоко несчастны: они верили, что с ними непременно случится что-то замечательное. Они могут стать героинями; вне всякого сомнения, их ожидают любовь и могущество, пусть пока не очень определенные.

Когда они возвращались, Тереза встречала их кофе или какао со взбитыми сливками. Она вскрывала фабричную упаковку печенья и угощала девочек «ньютонами» с инжирной начинкой или маршмеллоу на песочной подложке, припорошенным разноцветной кокосовой стружкой. Она разглядывала учебники девочек и спрашивала, что задали на дом. Стоило упомянуть любой школьный предмет, как выяснялось, что Тереза тоже его изучала. И по всем предметам была отличницей.

— Английский! Всегда отличные оценки за английский! Но тогда я не знала, что влюблюсь и поеду в Канаду. Тогда я думаю, только белые медведи живут в Канаде!

Руэл по возвращении не заходил в магазин.

Он начинал заниматься автобусом или возиться с чем-нибудь в гараже. Обычно, когда девочки садились в автобус, Руэл бывал в хорошем настроении. «Прошу занимать места согласно купленным билетам! — провозглашал он. — Пристегните ремни! Поправьте кислородные маски! Прочитайте молитвы! Мы выезжаем на шоссе!» На выезде из города он принимался напевать себе под нос, под шум автобуса. Ближе к дому он снова впадал в утреннее настроение — отчужденное, презрительное непонятно к чему. Когда девочки выходили из автобуса, он мог сказать: «Вот мы и приехали! Окончился прекрасный день!» А иногда ничего не говорил. Зато Тереза в магазине трещала без умолку. Ее рассказы о собственных школьных днях переходили в рассказы о военных приключениях: о том, как немецкий солдат прятался у них в саду и она вынесла ему немножко супа из капусты; о первых виденных ею американцах — чернокожих, они приехали на танках, создавая безумное и восхитительное впечатление, что люди и механизмы каким-то образом соединены между собой. И о ее маленьком свадебном платье — была война, и платье пришлось шить из кружевной скатерти. В волосах у невесты были розовые розы. К сожалению,

Руэл изорвал платье на ветошь для гаража. Ну конечно, откуда ему было знать?

Иногда Тереза оказывалась поглощена разговором с покупателем. Тогда девочкам не доставалось угощения — она лишь взмахивала рукой, словно королева, которую провозят мимо в торжественной процессии. Девочки слышали обрывки тех же историй: немецкие солдаты, чернокожие американцы, еще один немец — его разорвало на куски, и ногу в сапоге отбросило к церковным дверям, и там она лежала, а все идущие мимо на нее смотрели. Невесты на корабле. Изумление Терезы — как долго, оказывается, надо ехать из Галифакса сюда на поезде. Выкидыши.

Они слышали, как она говорит, что Руэл, опасаясь за нее, не хочет еще одного ребенка.

«Поэтому он теперь всегда использует защиту».

Кое-кто из жителей в округе говорил, что больше не заходит в этот магазин — никогда не знаешь, что придется выслушивать или на сколько времени там застрянешь.

Как правило (если погода не была уж совсем ужасная), Марго и Анита долго стояли на том месте, где им предстояло разойтись. Они чуть-чуть продлевали истекший день разговорами. Все

равно о чем. Как лучше учителю географии — с усами или без усов? Правду ли говорит Тереза, намекая, что они с мужем до сих пор «занимаются»? Девочки говорили бесконечно и откровенно. Казалось, у них нет секретов друг от друга. Но это было не так.

Анита скрывала свои жизненные устремления. Первое — стать археологом — было слишком странным, а второе — стать манекенщицей — слишком тщеславным. Марго открыла подруге, что хочет быть медсестрой. Для этого не нужно платить за учебу, как в университете. А закончив учиться, можно уехать куда угодно и там устроиться на работу. От Нью-Йорка до Гавайев — в любую даль.

Анита подозревала, что Марго тоже кое-что скрывает — то, как на самом деле у нее обстоят дела с отцом. Она описывала свою домашнюю жизнь, словно пересказывая кинокомедию. Отец вне себя от ярости — комик, на которого валятся все шишки; он бегает кругами, тщетно преследуя Марго (стремительную, полную издевки), бьется о запертые двери (амбара), выкрикивает чудовищные угрозы и потрясает первым попавшимся под руку оружием (стулом, поленом, топором). Он спотыкается на ровном месте и путается в обви-

нениях. И что бы он ни делал, Марго хохочет. Она хохочет, презирает его, видит насквозь его уловки. Никогда, никогда она не проливает ни единой слезы и не вскрикивает от ужаса. Она вовсе не такая, как ее мать. Так рассказывала Марго.

Закончив учиться на медсестру, Анита уехала работать на Юкон. Там она познакомилась с врачом и вышла за него замуж. Это должно было стать концом ее истории — причем хорошим концом, по мнению жителей Уэлли. Однако Анита развелась и продолжала жить. Она снова устроилась на работу, накопила денег и поступила в Университет Британской Колумбии на факультет антропологии. Ко времени, когда Анита приехала домой ухаживать за матерью, она как раз защитила диссертацию. Детей у нее не было.

— Так чем ты теперь будешь заниматься? — спросила Марго.

Люди, которые одобряли выбранный Анитой жизненный курс, обычно сообщали ей об этом. Иногда какая-нибудь женщина постарше говорила: «Молодец!» или «Жаль, у меня не хватило смелости, когда я была моложе и еще могла что-то изменить». Иногда Аниту одобряли люди, от которых она этого совсем не ожидала. Конечно не все. Мать Аниты не одобряла — именно поэто-

му Анита много лет не приезжала домой. Даже сейчас мать узнала ее — из своего сумеречного состояния, из галлюцинаций, — собралась с силами и пробормотала:

— Под хвост.

Анита нагнулась поближе.

— Жизнь… псу под хвост…

Но в другой раз, когда Анита обмыла и перевязала пролежни матери, та проговорила:

— Так хорошо… так хорошо, что у меня есть… дочь.

Марго, по-видимому, не собиралась давать оценку подруге. Она вроде бы удивлялась выбору Аниты, но как-то равнодушно. Анита начала рассказывать о том, что собирается делать дальше, но их все время прерывали. Пришли сыновья Марго, привели друзей. Сыновья были высокие, с рыжими волосами различных оттенков. Двое учились в старших классах, а один — в университете и приехал домой погостить. Один, еще старше, был женат и жил на западе Канады. Марго уже стала бабушкой. Сыновья вопили ей с другого конца дома, выясняя, где тот или иной предмет их одежды, сколько осталось еды, пива и безалкогольных напитков, какая машина куда поедет и в какое время. Потом все побежали во

двор купаться в бассейне, и Марго крикнула:

— Кто намазался кремом от загара, не смейте лезть в воду!

— Никто не мазался, — крикнул в ответ один из сыновей с показным долготерпением.

— Ну вчера точно кто-то намазался и залез в бассейн, — ответила Марго. — Думаешь, это отдыхающие с пляжа протырились?

Дебби, дочь Марго, вернулась с занятий танцами и показала костюм, в котором собиралась выступать вместе со школой танцев в ближайшем торговом центре. Дебби должна была изображать стрекозу. Ей было десять лет — волосы каштановые, плотная, как Марго.

— Тяжеловата ты для стрекозы. — Марго легла на шезлонг. Дочь, в отличие от сыновей, не пробуждала в ней воинственного духа. Дебби попыталась отхлебнуть сангрии, Марго отогнала ее. — Иди возьми себе что-нибудь в холодильнике. Послушай. У меня гостья. Понятно? Иди позвони Розали.

Дебби ушла, жалуясь на ходу:

— Я не хочу розовый лимонад. Почему у нас всегда только розовый?

Марго встала и захлопнула скользящие двери на кухню:

— Покой и тишина. Пей. Чуть погодя я сделаю нам бутербродов.

Весна в этой части Онтарио торопливая. Лед вскрывается, и льдины идут, толкаясь и обдирая бока, по рекам и у берегов озера; в пруду лед уходит под воду, и она кажется зеленой. Снег тает, ручейки разбухают; кажется, день-два — и уже идешь расстегнув пальто, рассовав перчатки и шарф по карманам. В лесах еще лежит снег, когда появляется мошка и всходят яровые.

По мнению Терезы, весна была ничуть не лучше зимы. Озеро слишком большое, поля слишком просторные, транспорт на шоссе идет слишком быстро. Теперь, когда по утрам стало тепло, Марго и Анита больше не спешили укрыться в магазине. Тереза им надоела. Анита прочитала в журнале, что кофе портит цвет лица. Девочки обсуждали, правда ли, что от выкидыша меняется химический состав мозга. Они стояли у магазина, не зная, войти ли — чисто из вежливости. Тереза подошла к двери и помахала им, словно играя в прятки. Они ответили — коротким движением руки, как махал Руэл каждое утро, едва приподнимая ладонь от руля в последний миг перед выездом на шоссе.

Как-то днем, уже высадив всех остальных пас-

сажиров, Руэл запел за рулем:

— Плыл по морю клипер, на клипере был шкипер, у шкипера был кхм-кхм…

Последнее слово он пел так тихо, что девочки не могли его разобрать. Он это нарочно делал — дразнил их. Потом спел опять, громко и отчетливо, так что ошибиться было невозможно:

— Плыл по морю клипер, на клипере был шкипер, у шкипера был триппер!

Девочки не смотрели друг на друга и не говорили ни слова. Лишь когда они вышли из автобуса и уже шагали домой, Марго сказала:

— Ничего себе наглость, петь такое при нас. Ничего себе наглость!

Но уже назавтра, когда автобус вот-вот должен был подъехать к магазину, Марго замурлыкала мотивчик. Она ткнула Аниту в бок, выразительно округлив глаза, чтобы та тоже подпевала. Они вдвоем принялись мурлыкать мотив песни Руэла; потом стали вплетать в мурлыканье слова: одно слово произносили отчетливо, другое — приглушенно, и так до самого конца. И снова, и снова, и наконец набрались храбрости и спели последнюю строку отчетливо — безмятежно и сладостно, будто церковный гимн.

Руэл не сказал ни слова. Он не смотрел на де-

вочек. Он вышел из автобуса раньше их и не стал ждать у двери. Однако лишь часом прежде, на площадке у школы, он был чрезвычайно заботлив. Другой водитель посмотрел на Марго и Аниту и сказал: «Ничего так у тебя пассажиры». — «Не заглядывайся, Бастер», — отрезал Руэл и встал так, чтобы тот водитель не мог глазеть на девочек, пока они поднимаются в автобус.

На следующее утро, прежде чем отъехать от магазина, Руэл прочитал им лекцию:

— Я надеюсь, сегодня у меня в автобусе будут две воспитанные леди, а не то что было вчера. Есть такие вещи, которые можно произносить мужчине, но когда их произносит девушка — это совсем другое. Так же как женщине не подобает напиваться пьяной. Если девушка напивается или говорит грязные слова, она скоро попадет в беду, к бабке не ходи. Советую вам об этом подумать.

Анита задумалась о том, не сглупили ли они. Может, хватили через край? Они рассердили Руэла — вдруг теперь он будет питать к ним отвращение, неприязнь, совсем как к Терезе? Аните было стыдно, она раскаивалась — и в то же время думала, что Руэл несправедлив. Она скорчила рожу, опустив углы рта, чтобы поделиться своими

чувствами с Марго. Но та не смотрела на нее. Она постукивала кончиками пальцев друг о друга, застенчиво и цинично глядя в затылок Руэлу.

Анита проснулась ночью от удивительной боли. Сначала она подумала, что ее разбудила какая-то катастрофа — дерево упало на дом или языки пожара прорвались через настил пола. Учебный год уже подходил к концу. Аните было нехорошо вчера вечером, но вся семья жаловалась на плохое самочувствие, объясняя его запахом краски и скипидара. Мать Аниты перекрашивала линолеум, как делала каждый год примерно в это время.

Анита так вскрикнула от боли, еще не полностью проснувшись, что разбудила всю семью. Отец сказал, что не стоит звонить доктору в такую рань, но мать все равно позвонила. Доктор велел везти Аниту в Уэлли, в больницу. Он сделал операцию и удалил прорвавшийся воспаленный аппендикс — еще несколько часов, и Аниту уже не спасли бы. Несколько дней после операции ей было очень плохо, и она провела в больнице почти три недели. К ней пускали только мать, и лишь в последние несколько дней разрешили приходить другим людям.

Вышла драма с участием всей семьи. Отцу

Аниты было нечем заплатить за операцию и пребывание дочери в больнице, и ему пришлось продать надел земли с рощей сахарных кленов. Мать приписала себе (по праву) заслугу спасения жизни дочери и с тех пор рассказывала об этом до конца жизни, часто добавляя, что пошла против приказа мужа. (На самом деле это был не приказ, а просто мнение.) Она так себя зауважала, что ее охватила тяга к независимости и она начала водить машину, чего не делала уже многие годы. Она приезжала в больницу каждый день после обеда и приносила Аните семейные новости. Она закончила красить линолеум, сделала губкой бело-желтый узор на темно-зеленом фоне. Новую окраску похвалил санинспектор по молоку, приглашенный на ужин. Корова родила позднего теленка на том берегу ручья, и никто не может понять, как она туда забралась. В живой изгороди зацвела жимолость, и мать привезла букет и затребовала у медсестер вазу. Анита никогда не видела мать такой общительной и не помнила, чтобы она так заботилась о ком-то еще из семьи.

Анита была счастлива, хотя еще не оправилась от слабости и боли. Такая суматоха поднялась, чтобы не дать ей умереть. Даже то, что отец продал клены, радовало Аниту, убеждало в соб-

ственной неповторимости и ценности. Люди были добры и ничего от нее не требовали, и она взяла эту доброту и распространила вокруг себя. Она простила всех, кого только припомнила: от директора школы, сверкающего очками, до вонючих мальчишек в автобусе, несправедливого Руэла, болтливой Терезы, девчонок-богачек в свитерах из натуральной шерсти, своих родных и отца Марго, который, наверно, тоже страдает от собственных приступов гнева. Аните не надоедало весь день смотреть на тонкие желтоватые занавески и ствол дерева за окном. Это был ясень — с суровыми полосками на коре, напоминающими вельвет, тонкими листочками, похожими на лепестки; их весенняя хрупкость, острая нежная зелень сменялись летней зрелостью, они темнели и крепчали. Аните казалось, что все растущее и все сделанное руками в этом мире заслуживает похвалы.

Позже она объясняла свой настрой тем, что ей давали обезболивающие. Но, возможно, он объяснялся не только этим.

Ее положили в отдельную палату, потому что она была в тяжелом состоянии. (Отец велел матери спросить, сколько это стоит, но мать думала, что с них не возьмут денег, и не спроси-

ла.) Медсестры приносили ей журналы, и Анита просматривала их, но не могла читать: буквы мелькали перед глазами, и в голове был приятный туман. Она не могла бы сказать, идет время быстро или медленно, и ей было все равно. Иногда ей снилось или грезилось, что ее навещает Руэл. Он проявлял меланхоличную нежность, приглушенную страсть. Он любил ее, но отрекался от нее. Он гладил ее волосы.

За пару дней до выписки пришла мать — с лоснящимся лицом, потным от жары уже наступившего лета и, возможно, от возбуждения по поводу чего-то. Она встала у изножья кровати и произнесла:

— Я знаю, ты всегда считала, что я к ней несправедлива.

К этому времени пузырь счастья, в котором плавала Анита, уже прокололи в нескольких местах. Ее навестили братья, которые с разбегу колотились о ее койку, отец, удивленный тем, что Анита ждала от него поцелуя, и тетка, заявившая, что после такой операции люди всегда толстеют. Но теперь лицо и голос матери врезались в нее, словно кулак через марлю.

Мать говорила о Марго. Анита сразу это поняла по тому, как у нее подергивались губы.

— Ты всегда считала, что я несправедлива к твоей подруге. Я была от нее не в восторге, а ты считала, что я к ней несправедлива. Я знаю, что ты так считала. И вот теперь оказалось. Оказалось, я все-таки была права. Я это в ней всегда видела, с малолетства. Видела то, что тебе было не видно. Что она проныра и у нее зудит в одном месте.

Мать произносила каждое предложение по отдельности — самозабвенно и громко. Анита не смотрела ей в глаза. Она смотрела на маленькую коричневую родинку под ноздрей. Родинка становилась все отвратительней.

Мать немного успокоилась и сказала, что в последний день перед каникулами Руэл повез Марго в Кинкардин на школьном автобусе, когда все остальные пассажиры сошли. Конечно, с тех пор как Анита заболела, Руэл и Марго каждый день были в автобусе одни в самом начале и самом конце маршрута. По их словам, в Кинкардине они только ели картошку фри и больше ничего. Какая наглость! Использовать школьный автобус для собственных выходок и бесчинства. Они приехали назад тем же вечером, но Марго не вернулась домой. Она и до сих пор туда не вернулась. Ее отец явился к магазину и побил все

колонки на заправке — стекла аж до шоссе долетели. Он позвонил в полицию насчет Марго, а Руэл позвонил в полицию насчет разбитых колонок. Полицейские оказались приятелями Руэла, и отцу Марго велели не нарушать общественный порядок. Марго осталась в магазине — вероятно, чтобы избежать кулаков отца.

— И всего-то, — сказала Анита. — Дурацкие сплетни, и больше ничего, черт возьми.

— О нет! О нет! И не смейте чертыхаться, мадам!

Мать держала Аниту в неведении. Когда все это случилось, она ничего не сказала Аните. Решила толковать сомнения в пользу Марго. Но теперь никаких сомнений уже не осталось. Все знали, что Тереза пыталась отравиться, но выжила. Магазин закрылся. Тереза все еще жила там, но Руэл увез Марго, и теперь они живут здесь, в Уэлли. Где-то в задней комнате, в доме у кого-то из его друзей. Живут вместе. Руэл каждый день ездит в свой гараж работать, так что, можно сказать, сожительствует с обеими сразу. Разрешат ли ему в будущем водить школьный автобус? Очень маловероятно. Все говорят, что Марго, должно быть, беременна. А Тереза выпила раствор хлорки, вот что она выпила.

— И еще, она даже с тобой не поделилась, — сказала мать Аниты. — Ни записки, ни какой-нибудь ерунды тебе не послала за все время, пока ты была здесь. Тоже называется подруга.

Анита подумала, что мать сердится не только из-за ее дружбы с ныне опозоренной Марго, но и по другой причине. Ей казалось, мать видит то же, что и она: ее, Аниту, сочли негодной, выбрали другую, а ее отвергли — не только Марго ее отвергла, но и сама жизнь. Возможно, мать горько разочарована, что не Анита оказалась избранной, что не она стоит в центре драмы, что не ее сделали женщиной и бросили в такой бурный водоворот событий? Но мать в этом никогда не признается. И Анита не могла признаться, что чувствует себя чудовищной неудачницей. Она была ребенком, она не знала ничего, и Марго, которая, как выяснилось, знала многое, предала ее. Анита обиженно сказала:

— Я устала, не могу больше разговаривать.

Она притворилась засыпающей — в надежде, что мать уйдет.

После этого она лежала без сна. Лежала без сна всю ночь. Медсестра, пришедшая наутро, сказала:

— Ну и вид у тебя — краше в гроб кладут! Что,

опять шов болит? Давай я попрошу доктора, чтобы тебе выписали еще таблеток?

— Я тут больше не могу, — ответила Анита.

— Правда? Ну так осталось только один день потерпеть.

— Я не про больницу. Я про вообще здесь. Я хочу уехать отсюда куда-нибудь.

Медсестра совсем не удивилась:

— Ты ведь закончила двенадцать классов? Ну вот и хорошо. Поступай учиться. Будешь медсестрой. Платить ничего не надо, только покупать все нужное. Потому что, пока учишься, работаешь забесплатно. А потом можешь поехать куда угодно и там устроиться на работу. Куда хочешь, в любое место.

То же когда-то говорила и Марго. Но теперь медсестрой должна была стать Анита, а не Марго. Она приняла решение в тот день. Но знала, что это — лишь запасной вариант. Она предпочла бы быть избранной. Она предпочла бы, чтобы ее пригвоздил к месту мужчина, его желание, судьба, которую он ей уготовил. Она предпочла бы оказаться в центре скандала.

— Ты хочешь знать? — спросила Марго. — Хочешь знать, как я на самом деле заполучила этот дом? Ну да, я стала требовать дом, только когда мы

уже могли себе это позволить. Но ты же знаешь, как бывает у мужчин — всегда находится что-то поважней. Я уже по горло была сыта житьем в трущобах. В одном месте, где мы жили, там, на полу, была только эта штука, ну знаешь, такая, которую кладут под ковролин? Коричневая, волосатая, похожа на шкуру какого-то зверя? На нее только посмотришь — и сразу чувствуешь, как по тебе что-то ползет. Причем меня и так тогда все время тошнило. Я была беременна Джо. Мы жили позади автосалона «Тойоты», только тогда салона там не было. Руэл знал владельца дома. Разумеется. Поэтому мы снимали по дешевке.

Но однажды, продолжала Марго. Лет пять назад. Дебби еще не ходила в школу. Это было в июне. Руэл собирался уехать на выходные — на рыбалку на север Онтарио. Куда-то на Френч-ривер, в северном Онтарио. А Марго позвонили по телефону — и она никому не рассказала об этом звонке.

— Это миссис Голт?

Да, сказала Марго.

— Миссис Руэл Голт?

Да, сказала Марго, и голос — женский, а может, девичий, приглушенный, хихикающий — спросил, не желает ли она знать, где будет ее муж в следующие выходные.

— Ну, скажите, — ответила Марго.

— Вам стоит заглянуть в мотель «Сосны Джорджиан-Бэй».

— Хорошо, а это где?

— О, это кемпинг, — ответили в трубке. — Очень милое местечко. Вы его не знаете? На берегу возле Васага-Бич. Обязательно съездите туда.

Ехать предстояло около сотни миль. Марго договорилась на воскресенье. Ей нужно было найти кого-нибудь посидеть с Дебби. Она не могла воспользоваться услугами своей постоянной бебиситтерши, Ланы, — та собралась в Торонто на выходные, поразвлечься, вместе с другими участниками школьного оркестра. Марго нашла подругу Ланы, которая в оркестре не состояла. Марго была рада, что дело обернулось именно так, поскольку ожидала застать с Руэлом мать Ланы, Дороти Шлут. Дороти вела бухгалтерию Руэла. Она была разведена и прославилась в Уэлли своими любовными похождениями — до такой степени, что мальчишки-подростки иногда кричали ей из машин: «Дороти Шлут, где поймают — там и прут!» Иногда ее называли «Дороти Шлюх». Марго жалела младшую Шлут и именно потому стала приглашать ее посидеть с Дебби. Лана явно не унаследовала красоту матери, была

застенчива и не слишком сообразительна. На каждое Рождество Марго дарила ей какую-нибудь мелочь.

После обеда в субботу Марго поехала в Кинкардин. Ее не было только часа два, так что она попросила Джо и его подружку захватить Дебби с собой на пляж. В Кинкардине Марго взяла напрокат другую машину — ей подвернулось старое синее ведро с гайками, фургон наподобие тех, в которых ездили хиппи. Еще она купила дешевых тряпок и дорогой, очень натурально выглядящий парик. Все это она бросила в прокатном фургоне и оставила его на ночь на стоянке у супермаркета. В воскресенье утром Марго приехала туда на своей машине, припарковала ее, пересела в фургон, переоделась, напялила парик и накрасилась. И двинулась на север.

Парик был красивый, светло-каштановый, с кудряшками сверху и длинными прямыми волосами сзади. Одежда — розовые джинсы в обтяжку и бело-розовый полосатый топ. Тогда Марго была не такая толстая, как сейчас, хотя и не худая. Плюс к этому — босоножки на танкетке, висячие серьги, большие розовые очки от солнца. Все дела.

— Я ничего не упустила, — рассказывала Марго. — Накрасила глаза под Клеопатру. Наверно,

меня и собственные дети не узнали бы. Только я ошиблась со штанами: они оказались тесноваты, и в них было ужасно жарко. Я чуть не умерла в этих штанах и парике. Потому что жарило как в пекле. И еще я не очень ловко парковалась в этом фургоне, я раньше никогда не водила фургон. А так все шло отлично.

Она ехала по шоссе 21, по направлению к городку Блюуотер, опустив окно, чтобы ветерок обдувал и длинные волосы развевались по ветру, а радио играло рок — она специально поймала эту станцию, чтобы войти в нужный настрой. Настрой на что? Она понятия не имела. Она курила сигареты одну за другой, пытаясь успокоиться. Мужчины-водители сигналили ей. Конечно, на шоссе оказалась пробка, а на пляже яблоку негде было упасть — еще бы, в такой солнечный жаркий июньский день. На подступах к пляжу машины еле ползли. Запахи жареной картошки и полуденного барбекю давили, как тяжелое одеяло. Марго не сразу нашла кемпинг, но все-таки нашла, купила однодневный пропуск и въехала на территорию. И принялась ездить кругами по стоянке, высматривая машину Руэла. Но той нигде не было. Потом ее осенило: эта стоянка только для дневных посетителей. Марго нашла место и

припарковалась.

Теперь ей предстояло обследовать весь кемпинг пешком. Сначала она обошла ту часть, где стояли жилые прицепы и палатки. Снаружи у прицепов и палаток сидели люди, пили пиво и жарили мясо на жаровнях, то есть занимались примерно тем же, чем занимались бы и дома. Посредине была игровая площадка: дети качались на качелях, скатывались с горок, дети постарше кидали тарелку, а помладше — копошились в песочнице. Рядом стоял передвижной ларек, и Марго взяла себе кока-колу. Есть не хотелось — от нервов. Она очень странно чувствовала себя одна в окружении всех этих семей.

Никто не свистел ей вслед, не выкрикивал похабных словечек. Кругом кишели длинноволосые девушки, одетые гораздо откровенней, чем она, и притом в куда лучшей кондиции, если честно.

Марго пошла по песчаной тропинке под соснами, удаляясь от палаток. Тропинка привела ее в другую часть кемпинга — судя по всему, более старую, существовавшую еще до того, как люди изобрели жилые прицепы к машинам. Здесь росли высокие сосны — Марго с облегчением нырнула в их тень. Земля под ногами была коричневой от опавших игл — утоптанная глина

сменилась мягкой, пушистой пылью. Здесь были домики для отдыхающих, двойные и одиночные, выкрашенные в темно-зеленый цвет. Рядом с домиками — столы для пикников. Обложенные камнем ямы для костров. Кадки с цветами. Очень мило.

У некоторых домиков стояли машины, но ни одна из них не принадлежала Руэлу. Марго не видела ни души, — видимо, здешние постояльцы все дни проводили на пляже. Через дорогу была небольшая площадка со скамейкой, фонтанчиком питьевой воды и урной для мусора. Марго села на скамейку отдохнуть.

И тут он вышел. Руэл. Вышел из домика прямо напротив того места, где сидела Марго. Прямо у нее под носом. В плавках, через плечо перекинуты два полотенца. Он шагал лениво, сутулясь. Над поясом плавок навис валик белого жира. Марго хотелось заорать: «Пузо втяни!» Интересно, почему он так сутулится — понимает, что обманывает, и ему стыдно? Или утомлен приятным времяпрепровождением? Или он давно уже сутулится, просто Марго не замечала? Большое сильное тело дрябнет и превращается в кисель.

Он полез в машину, стоящую возле домика, — Марго знала, что лезет он за сигаретами. Знала,

поскольку сама как раз полезла в сумку за своими. Будь это в кино, подумала она, будь это в кино, он бы сейчас ринулся через дорогу с зажигалкой — оказать услугу прелестной незнакомке. Так и не узнав ее (зрители затаивают дыхание). Потом постепенное узнавание, ужас — неверие и ужас. Пока она, жена, сидит себе, хладнокровная и довольная, глубоко затягиваясь сигаретой. Но этого не случилось, — конечно, ничего такого не случилось, он даже не взглянул в ее сторону. Марго сидела, потея в плотных джинсах, и руки у нее тряслись так, что сигарету пришлось убрать.

Машина не его. На чем ездит Дороти Шлут?

А может, он с кем-то еще — с совершенно незнакомой женщиной. С незнакомкой, решившей, что она знает его не хуже его собственной жены.

Нет. Нет. Это не какая-то неизвестная женщина. Не незнакомка. Никоим образом. Дверь домика снова открылась, и появилась Лана Шлут. Та самая, которая сейчас должна была развлекаться в Торонто вместе с оркестром. И поэтому не могла посидеть с Дебби. Лана, которую Марго всегда жалела и к которой была добра, думая, что девочке одиноко без друзей или просто не везет. Марго считала, это очень заметно, что Лану воспитывают в основном пожилые бабушка и

дедушка. Лана казалась старомодной, преждевременно посерьезневшей, но недостаточно умной и притом не слишком здоровой, словно ее кормили исключительно сладкой газировкой, корнфлексом в сахарной глазури и прочим мусором вроде консервов, жареной картошки и лапшевника с сыром, или что там старики готовили на ужин. Девочка страдала постоянными простудами с астматическим компонентом. Цвет лица у нее был бледный, тусклый. Но фигура — крепенькая, приятная, хорошо развитая спереди и сзади, щеки при улыбке топырились, как у хомяка, а волосы — шелковистые, прямые, светлые от природы. Лана была такая робкая и забитая, что даже Дебби ею помыкала, а мальчики просто считали ее каким-то недоразумением.

Лана была в купальном костюме — вероятно, купленном бабушкой по своему вкусу. Сборчатый верх, прикрывающий бугорки грудей, и юбка в цветочек. Бледные коренастые ноги. Лана стояла на пороге, словно боясь выйти — боясь показаться на люди в купальном костюме или вообще показаться на люди. Руэлу пришлось подойти и ласковым шлепком сдвинуть ее с места. Он задрапировал ее плечи полотенцем и нежно огладил ладонями, задерживаясь кое-где. Он коснулся ще-

кой ее плоской белесой макушки, зарылся носом в волосы — конечно, вдыхая младенческий запах. Марго смотрела.

Они пошли прочь — по дороге, ведущей вниз, к пляжу, на подобающем расстоянии друг от друга. Отец и дочь.

Теперь Марго заметила, что машина — прокатная. Взята в Уокертоне. Вот забавно было бы, подумала она, если бы он взял машину в Кинкардине, в том же месте, что и она, Марго. Ей захотелось подложить записку под дворник, но писать было не на чем. У Марго была с собой ручка, но не было бумаги. Однако на траве рядом с мусорной урной она заметила бумажный пакет с логотипом KFC. Почти без жирных пятен. Она разорвала его на куски и стала писать на них печатными буквами:

ПООСТОРОЖНЕЙ, А ТО КАК БЫ НЕ СЕСТЬ

БЕРЕГИТЕСЬ,
ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ НЕ ДРЕМЛЕТ

ИЗВРАЩЕНЦАМ СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ

ЭТУ РЫБКУ РАНО ЖАРИТЬ, ОНА ЕЩЕ НЕ

ПОДРОСЛА

ПОЗОР!

ПОЗОР!

Марго написала еще одну записку: «Жирный распустеха и дура с детским личиком», но изорвала — ей не понравилось, как это звучит. Истерично. Она рассовала записки по местам, где их обязательно должны были заметить, — под дворники, в щели дверок, придавила камнями на столе для пикника. И с колотящимся сердцем поспешила прочь. Сначала она так ужасно вела машину, что, выезжая со стоянки, чуть не задавила собаку. Она решила не соваться на шоссе и поехала проселками, в обход, все время напоминая себе, что нельзя превышать скорость. Ей хотелось дать газу. Рвануть с места. Ей казалось, что она сейчас взорвется и разлетится на мелкие кусочки. Что это было за чувство — ужасное или восхитительное? Она сама не знала. Ей казалось, что якорь обрублен, уже ничто не важно и она легкая, как травинка.

Но она все же добралась до Кинкардина. Переоделась, сняла парик и стерла макияж. Одежду и парик сунула в мусорную урну у супермаркета, мимоходом подумав: «Какая жалость». Вернула

фургон в прокатную контору. Хотелось зайти в бар при гостинице и выпить, но Марго боялась после этого садиться за руль. И еще она боялась слететь с катушек, если какой-нибудь мужчина подойдет к ней в баре и что-нибудь скажет, все равно что, хоть «Жаркий денек сегодня». Она боялась, что завизжит и вцепится когтями ему в лицо.

Дома. Дети. Заплатить бебиситтерше. Подруга Ланы. Может, это она звонила? На ужин заказать что-нибудь с доставкой. Пиццу. Не KFC — этот логотип теперь до конца жизни будет напоминанием. Она не ложилась спать — сидела и ждала. Выпила. Слова бились у нее в голове. «Адвокат». «Развод». «Наказать». Они гремели, как удары гонга, и затухали, никак не помогая понять, что делать дальше. Что сначала, что потом, как теперь жить? Дети записаны к разным врачам, мальчики устроились на работу на лето, Дебби предстоит небольшая операция на ухе. Марго не могла взять и увезти детей — тогда придется их тянуть в одиночку посреди вихря сплетен и пересудов. Она уже хлебнула этого однажды, с нее хватит. И еще они с Руэлом на следующей неделе приглашены на большой прием по случаю юбилея; она должна купить подарок. И водопро-

водчик придет проверить канализацию.

Руэл так долго не возвращался, что Марго забеспокоилась — не в аварию ли попал. Ему пришлось сделать крюк, чтобы завезти Лану в Оранжвилль, где жила ее тетя. Перед тетей он прикинулся учителем из школы, развозящим оркестрантов по домам. (Настоящему же учителю сказали, что у Ланы заболела тетя и Лана поехала в Оранжвилль за ней ухаживать.) Конечно, от записок у Руэла разыгралась изжога. Он сидел на кухне, жевал таблетки и запивал их молоком. Марго сварила себе кофе, чтобы протрезветь перед битвой.

Руэл сказал, что все это было совершенно невинно. Он решил свозить девочку подышать воздухом. Он, как и Марго, жалеет Лану. Все невинно.

Марго, услышав это, расхохоталась. Она и сейчас хохотала, рассказывая:

— Я ему сказала: «Невинно! Ты с кем, по-твоему, разговариваешь? С Терезой?» А он такой: «С кем?!» Нет, честно. И после этого смотрел на меня пустыми глазами с минуту, пока не вспомнил. Так и сказал: «С кем?!»

И тогда Марго подумала: какое наказание? Кого я этим накажу? Он женится на ней, наверняка пойдут дети, и денег скоро перестанет хватать

на всех.

До того как они легли в постель — чудовищно поздно, уже под утро, — она взяла с него обещание, что у нее будет дом.

— Потому что у мужчин в жизни наступает пора, когда им уже не хочется лишний раз шевелиться. Они предпочитают выкрутиться. Я торговалась с ним до посинения за каждую мелочь и выторговала практически все, что хотела. Позже, стоило ему заартачиться из-за чего-нибудь, мне достаточно было сказать: «Пора париков!» Я ему все рассказала — про парик, про фургон, где я сидела, и все остальное. Я могла сказать это при детях и вообще при ком угодно, и никто не понял бы. Но Руэл-то понимал! Он-то понимал. «Пора париков!» Я это до сих пор говорю иногда, при удобном случае.

Она выудила из стакана ломтик апельсина, пососала и принялась жевать:

— Я еще кое-что добавляю, кроме вина. Немножко водки. Заметила?

Она вытянула ноги и руки, подставляя их солнцу.

— При удобном случае…

Анита подумала, что Марго, может, и махнула рукой на свою внешность, но от секса, вероятно,

не отказалась. Видимо, она способна рассматривать секс в отрыве от красивых тел и нежных чувств. Гимнастика для здоровья.

А как же Руэл — от чего пришлось отказаться ему? Успех любого торга, задуманного Марго, зависел от одной вещи — от того, готов Руэл или нет.

Торг. Торговля, расчеты, дома и деньги. Аните все это было глубоко чуждо. Как обратить любовь и предательство в материальные блага? Она предпочла этому встречи и расставания, накал эмоций, верность одному чувству, которая часто означает измену всему остальному.

— А теперь ты, — произнесла довольная Марго. — Я тебе кое-что рассказала. Теперь твоя очередь. Ну, давай — как ты решилась уйти от мужа.

Анита рассказала ей о том, что случилось в ресторане в Британской Колумбии. Анита с мужем ехали в отпуск и остановились пообедать по дороге. Один из посетителей ресторана напомнил ей мужчину, в которого она была влюблена — точнее, к которому питала роковую страсть — много лет назад. У человека в ресторане было бледное тяжелое лицо с презрительным и уклончивым выражением, будто плохая копия с лица

ее давнего возлюбленного, и тело — копия его тела, только пораженного летаргией. Анита не могла оторваться от него, когда уже надо было ехать дальше. Она отрывалась в буквальном смысле, отдиралась клочьями, лохмотьями. Все время, пока они ехали по Островному шоссе сквозь строй темных высоких елей и потом на пароме, идущем в Принс-Руперт, она ощущала абсурдную боль разлуки. Она решила, что если способна ощущать такую боль — если ее чувства к призраку сильнее всего, что она когда-либо испытывала в браке, — то надо уходить.

Так она рассказала Марго. Конечно, все было гораздо сложнее и запутаннее.

— И потом ты поехала и нашла того человека? — спросила Марго.

— Нет. Это было одностороннее чувство. Я не могла.

— Ну тогда кого-нибудь другого?

— И третьего, и четвертого, — сказала Анита, улыбаясь. Прошлой ночью, сидя у больничной койки матери в ожидании времени, когда надо будет сделать ей укол, Анита вспоминала своих мужчин — называла имена одно за другим, чтобы скоротать время, как вспоминают крупнейшие реки мира, или столицы разных стран,

или детей королевы Виктории. Некоторые имена пробуждали в ней сожаление. Но не раскаяние. Наоборот, у нее стало тепло на сердце после того, как она всех аккуратненько выстроила. Растущее удовлетворение.

— Ну что ж, можно и так, — не сдавалась Марго. — Но мне это кажется странно. Правда. Ну то есть… я не пойму, какой в этом смысл, если за них не выходить?

Она помолчала.

— Ты знаешь, что я иногда делаю?

Она быстро встала и подошла к раздвижным дверям. Прислушалась, потом открыла дверь и сунула голову внутрь. Вернулась и села на место.

— Проверила, не подслушивает ли Дебби, — объяснила она. — При мальчишках можно что хочешь рассказывать, хоть наизнанку выворачивайся, они все равно не слушают — как будто на хинди говоришь. А вот девочки слушают. Дебби слушает… Я тебе скажу, что я делаю. Я хожу навещать Терезу.

— Как, она все еще там? В том магазине? — Анита страшно удивилась.

— В каком магазине? А, нет! Конечно нет. Магазин уже давно снесли. И заправку тоже. Тереза в окружном доме престарелых. Там теперь есть

отделение психиатрии. Забавно, что она там работала много лет, разносила подносы с едой, прибиралась и все такое. Потом она сама начала съезжать с катушек. Так что теперь она временами там работает, а временами она просто… там, ну ты понимаешь. Она совершенно безобидна, даже когда у нее крыша едет. Просто у нее все путается. И она говорит-говорит-говорит. Ну как она всегда болтала, только еще больше. Говорит-говорит-говорит и наводит красоту, больше ничего не делает. И когда ее навещаешь, она всегда просит какое-нибудь масло для ванны, или духи, или косметику. Последний раз, когда я к ней ходила, я взяла такую штуку для осветления волос, знаешь, перышки делать. Я думала, это рискованно, там инструкции сложные. Но она их прочитала и прекрасно справилась. Ничего не испортила. А у нее все путается вот в каком смысле: ей кажется, что она на корабле. На том, с военными невестами. Плывет в Канаду.

— Военные невесты, — повторила Анита. Ей представились девушки в венцах из белых перьев — неукротимые, незапятнанные. Конечно, это было навеяно мыслью о военных головных уборах индейцев.

Она вовсе не хотела его видеть. Много лет у

нее не было ни малейшего желания его увидеть. Мужчина превращает твою жизнь в хаос на неподконтрольное тебе время, а потом, в один прекрасный день, не остается ничего — лишь пустое место там, где он когда-то был. Это необъяснимо.

— Ты знаешь, что у меня сейчас мелькнуло перед глазами? — спросила Марго. — Магазин по утрам. И как мы заходили с холода, заледеневшие. У нас была тяжелая жизнь, но мы этого не знали.

Мы были могущественны, подумала Анита. Так могуществен человек, способный к преображению, — полный страха и готовности. Тогда любая мелочь судьбоносна. Никогда не думаешь, что можешь утратить это могущество, — ведь ты не знаешь, что оно у тебя есть.

— Она приходила и колотила в дверь, — продолжала Марго упавшим голосом, словно сама себе не веря. — Там, тогда. Когда мы с Руэлом были вдвоем в комнате. Это было ужасно. Я не знаю. Я не знаю… Как ты думаешь, это была любовь?

Отсюда два длинных рукава волнолома кажутся плавающими в воде спичками. Башни, пирамиды и транспортер соляной шахты — огромными игрушками для купания. Озеро сверкает, как фольга. Все кажется блестящим,

четким, безобидным. Зачарованным.

— Мы все на корабле, — говорит Марго. — Она думает, что мы все на корабле. Но ее в Галифаксе встретит Руэл. Счастливая.

Марго и Анита добрались до этого момента в своем диалоге. Они пока не готовы прекратить разговор. Они вполне счастливы.